

Министерство культуры Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Иван Никульшин

Нюра-дура

Повесть. Рассказы



Русское эхо
2011

ББК 84 (2 Роч=Рус) 6
Н 62

*Проект «Издание двухтомника
«Два крыла Самарской литературы:
проза и поэзия»
реализован при грантовой поддержке
Губернатора Самарской области*

Никульшин И.Е.

Н 62 Нюра-дура: Повесть. Рассказы. — Русское эхо: Самара, 2011. — 240 с.

ISBN 978-5-904319-48-9

Эта книга приурочена к 75-летию поэта и прозаика Ивана Ефимовича Никульшина. Более чем за сорокалетнюю литературную деятельность Иваном Никульшиным написано более десятка повестей, множество рассказов, издано семь сборников стихов.

Его произведения печатались в журналах «Наш современник», «Волга», «Всерусский собор». «Родная Ладога», «Роман-журнал XXI век», «Русское эхо», в болгарском журнале «Хоризонт», в «Литературной газете», «Литературной России», в российском альманахе «Поэзия» и других изданиях.

Произведения Ивана Никульшина отмечены рядом литературных премий, шолоховской юбилейной медалью. Он является заслуженным работником культуры России.

«Нюра-дура» — его одиннадцатая книга прозы.

ISBN 978-5-904319-48-9

© Никульшин И.Е., 2011.

© Русское эхо, 2011.

Были
родной околицы

НЮРА-ДУРА

1

Со смертью своего приживальщика в Нюре переменилось всё и далеко не к лучшему. Глаза погрустнели, сама она поугрюмела. Стала чаще сбиваться с мысли, говорить невпопад, больше заикаться. Даже бывлая мужицкая шаговитость поумерилась в ней. И думы потянулись холодные, тягучие, словно осенние унылые тучи. Какое-то пустое равнодушие овладело ею.

Казалось бы, с чего убиваться? Ни сват, ни брат, кто он для неё, этот случайный человек с нищенской сумой? В жизни бывали и покруче горести. И ничего, Бог миловал, оборачивалась, отряхивалась, как курочка, выкупавшись в золе, и всё пролетало летучим пылом. И снова в делах, в привычных заботах, в ладу сама с собой.

А здесь как будто что-то надломилось. Тяжесть сковала грудь, словно железный обруч накиннули. Избяная пустота невыносимой стала. Так и щерится изо всех углов и щелей. Кошка и та вон тоскует. Ходит, как неприкаянная. Бессловесная тварь, а тоже понимает.

Самой хоть в избу не входи. Всё он мерещится в своём закутке.

Нюра выходит во двор, ищет, чем бы заняться. Хворост сохнет в куче. Но и он не идёт на ум. Всё забросила со смертью этого мужика. Плетешки бы хлева поправить, да руки ни к чему не лежат. И огород запустила, картошку просянкой забило.

Люди стали обижаться, корят да спрашивают: «Чего, Нюра, в голову себе вбила? Помер и помер. Господь дал, Господь и прибрал. Радуйся, руки тебе развязал... Бродяжничал много, вот и помер. Больно тебе это надо... Тут вон сено гниёт, в стог бы помогла собрать, а ты всё убиваешься...».

Но ей не до чужого сена. Своя полоска стоит некошеной. Взялась было за косу, а она не слушается. Бросила в траву и пошла на кладбище.

Присела возле свежей могилки и загоревала среди мёртвой кладбищенской тишины. Плакать не плачет, а сухими слезами давится. И всё вокруг вместе с ней, кажется, налилось горькой скорбью: и зелёная трава в низине, и деревья вдалеке, и юркие птахи в краснотале, и даже крохотная букашка на лазоревом цветке.

Заспанный суслик вылез из своей норы, встал чурбачком на пригорке и долго смотрел на неё, пока не спугнула пролетавшая мимо ворона.

Раз сходила на кладбище, два сходила, в привычку вошло. Отведёт с утра пораньше козочек на привязь и бежит за село к печальному хол-

мику с грубо отёсанным дубовым крестом. Бабы от калиток смотрят вслед, головами качают. Вот дура! Пра, дура!.. Надо же так ополоуметь!

А её будто за руку кто ведёт. И завтракать не станет. Кусок стрянет в глотке.

Тётка Анисья, покойной матушки родная сестра, до того взъелась из-за этого мужика, впору её двор стороной обходи. Обязательно укараулит среди дороги и давай отчитывать:

— Это куда опять натрапилась? Ты чего это зачастила, шельга полоумная? Покойных родителей так не почитала, а этого бродяжку взялась...

— Дык, к нему некому идти, — оправдывается Нюра. — Дык, он один.

— Видать, хороший был хлюст, коли один.

Тётка зло повернётся и так хлопнет щеколдой калитки, что глина с угла избы валится.

Нюра виновато потопчется среди дороги, беспокойно повертит головой и всё-таки идёт на кладбище..

На днях тётка с утра пришла. Подступила пора кизяки лепить. А кто их будет делать, кроме Нюры? Станок на четыре постава не каждый мужик допрёт. А уж про тётку Анисию и говорить нечего. С молодости не таскала, а теперь сам Бог не велел.

Так-то она ещё крепкая старуха; высокая, костлявая, чёрная, как жук, без единой сединки в голове, хотя уже за восемьдесят бабе.

Тётка застала Нюру возле сенцев, та запирала избу. Анисья встала, придерживая рукой калитку, прямая, как жердь, и грозно пошевелила бровями.

Они у неё тоже чёрные и подвижные на её сухом вытянутом лице.

— Что, опять за своё? — строго спросила она, не закрывая калитки.

— Да вот проведать собралась, — стушевалась Нюра, слегка заикаясь и от волнения не попадая ключом в скважину висячего замка.

Тут тётка и понесла:

— Эх, шалава ты эдакая! Никак успокоиться не можешь. Ты чё, совсем, девка, из ума вышла? Ты погляди, до чего опустилась! И без того дура дурой, а тут ещё на себя безумие напустила. Кто он тебе, это лоскут безродный? Ты чего родню-то позоришь?

Нюра, потупившись, хлопала глазами и виновато шмыгала носом.

— В последний раз предупреждаю, чтоб никаких кладбищ больше! — И строго приказала: — Давай облачайся во что похуже и дуй ко мне кизяки чалить! И чтоб пулей у меня. Хватит дурью маяться. Это и есть мой последний сказ.

Повернулась и пошла, оставив калитку распахнутой, строгая и неприступная, как солдат на параде.

Нюра с детства боялась её крутого нрава; с тех самых пор, как расти начала в тёткином доме после смерти матери.

Отца к тому времени тоже схоронили. Помер он от детской болезни, дифтерита. Вот и осталась на попечении тётки с дядькой Фёдором.

Они и замуж её выдавали. И подходящего жениха сами же подыскали, глуповатого Алёшу-подпаска.

Было это уже после войны. Когда их сводили, им с женихом едва по семнадцать исполнилось. Стали они самостоятельно жить. Крыша над головой была. Общими силами поправляли завалившийся родительский домик. Покойный дядька Фёдор покрыл его камышом.

Это уже много позже избу под шифер загнали. А тогда не то что шифер, спичек не на что было купить. Вот и мыкали нужду: ходила по дворам, добрым людям по хозяйству помогали, кому за кусок хлеба, кому за котелок картошки. Одним словом, кормились, кто что даст.

Со временем жизнь наладилась. Алёшу в бригаду доростроя взяли к мужикам на подхват разрушенные мосты чинить. Половодье было сильным, много бед натворило.

Из бригады его в колхозные пастухи определили.

И хотя всё сладилось у них, долго пожить в замужестве ей не привелось. Той же осенью мирской бык Алёшу до смерти на выгоне закатал.

И осталась, как слеза на стекле. Опять не к кому стало голову приклонить, лишь к тётке с дядькой.

2

Нюра покорно вернулась в избу, быстро переоделась и прямо босиком бросилась догонять тётку. О предстоящей работе она не думала. Не было места для таких дум. Кипела досада, что тётка не дала сходить на кладбище. Никогда не роптала, а тут ропотно стало. Вот чужеспинница, только и ищет, на кого бы верхом сесть. Сама-то не больно на работу раскатится. Покуда был жив дядька Фёдор, на нём всё каталась. Ходила, охала да стонала, какая она больная. Как подкатит важное дело, так, глядишь, она и захворает.

Один случай особенно запомнился. Участникам войны тогда ко дню Победы власти благодарствие оказали: бесплатно лес выписали в делянке. Надо пилить, а некому. Анисья тут же в постель слегла. И до того расхворалась, что вот-вот смерти предаться готова.

Стала просить священника, исповедоваться захотела. Позабыла, что в молодости вытворяла. Ни в Бога, ни в чёрта не верила, а тут вдруг уверовала.

Делать нечего, при смерти человек, соборовать надо. Привезли батюшку из соседнего села.

Пособоровали, а она того и гляди последний дух испустит: есть, пить отказывается, лишь сливки тайком с горшков снимает.

Так и пришлось Нюре с дядей Фёдором делянку валить. Повалили лес, тётка сразу на поправку пошла, на ноги встала. А тут по случаю окончания посевной колхоз маёвку устроил. Прямо возле речки на зе-

лёмом лужку накрыли столы. Анисья, конечно, первой собралась. И такой справной себя показала, что рюмку за рюмкой хлобыстает. Опрокинет стаканчик да ещё для форсу на пальчике повертит. Вот, мол, как пить надо.

Дядьку Фёдора той же осенью смерть накрыла. По деревне болтали, на валке леса, дескать, надорвался. Какое там, на валке!.. Чать, одной пилой с ним пилили. Не надорвалась же она... Подошли сроки, вот и помер.

Про молодую тёткину жизнь много чего порассказывали. Бесшабашной она у них была с дядькой Фёдором. Охальники ещё те! Почудили, посмешили народ, поохальничали вместе с кумовьями Кашкиными, Тимофеем и Пашкой.

Сама Нюра того времени не помнила. Её и на свете-то ещё не было. С чужих слов знает.

Было это ещё до колхозов, молодые головы не остыли от революционной бесшабашности и дружно гнали самогон. Не из сахара, как теперь, а из хлеба.

Властью это не одобрялось. Но чужая власть была далеко, а своей не боялись. В председателях сельсовета ходил Лёшка Брыкалов, сам первый самогонщик на селе. Ловить односельчан ему было не с руки. Возьмут да и подпустят красного петуха, а то и отбुздякают в тёмном углу.

Гнали, в основном, в лесу по глухому оврагу, заросшему ежевикой, калинником, бирючиной и частым липняком. Каждый уважающий себя хозяин и держал здесь собственную винокурню: печку с котлом да кадку вёдер на двадцать. В ней и квасили брагу.

Была такая своя винокурня и у тётки с дядькой Фёдором. Соседей с ними в лесу всё те же кумовья Кашкины, тоже тогда ещё молодые. Вот с ними и закатывали пиры до песняков на весь лес. Бывало, до такой непристойности напьются, что жёнами не совестились меняться.

Потом сами же и расписывали свои «художества». А народу что? Потеха.

Так, наверное, и жили бы, погрязши в содомном грехе, да сельский сход окоротил. А вскоре район угнал дядю Фёдора вместе с кумом Тимофеем на принудительные работы в Коми АССР, лес валить для колхозов. А там и война подкатила. Она и остепенила дружков. Тимофей-то где-то под Брянском свою непутёвую голову сложил. А дядька Фёдор выжил, пришёл с войны сильно переменившимся, постаревшим и каким-то молчаливым, кротким. Всё на желудок жаловался. Скрипел, словно берёзовый костыль, но работал до последнего.

Это Нюра уже хорошо помнила, всё было у неё на глазах. Тётка целыми днями по дворищам шалберит, празднохлыстничает, а дядька Фёдор в огороде с мотыгой парится.

А помер, все его дела на неё, на Нюру, перешли. Она и на тётку работала, колхозную нужду справляла, и свой двор держала в опло-

те, и односельчанам помогала всем, кто попросит. Никому не было отказа. А уж на тётку и горбатиться устала. И всё не в честь. Всё: «Нюра-дура».

Дурочкой, правда, её ещё в школе прозвали. На учёбу была туга. Три класса с грехом пополам одолела. Не идёт учёба, хоть лоб расшиби. Так и бросила. Чуть окрепла, сразу в постоянную работу впряглась, пошла свиñarить в колхоз.

Теперь вот который год на пенсии. Оно, может, и дальше бы свиñarила, насколько сил хватило, да колхоз развалился. Свиной за долги забрали, свиñarник по кирпичику растащили. На том месте теперь пустырь шумит дикой коноплей.

Пока работала, свет видела. А как бросила, сердцу тесно стало. одиночество заело. И тут этот убогий мужик будто с неба свалился.

И чего ей в душу влез? Ни фамилии, ни имени настоящего не узнала, а вот в душу запал. Бывало, лупает глазами, как филин. Станешь спрашивать, прошамкает что-то невнятное, то ли Шашка, то ли Пашка. И опять молчит.

В последнее время всё куда-то бежать порывался. Да ноги, как ременные, подсекаются.

Помер, и живого духа в избе не осталось.

3

С этим мужиком чудно получилось.

Надумала она плетнёвый хлев в зиму поправить. Подхватила коляску и полетела за деревню в талы. Летит, как обычно, со всех ног, торопится, одной рукой душный воздух рассекает, другой коляску за собой везёт. Немазаные колёса скрипят да железными спицами под солнцем мелькает.

Юбка на ней толстая, шуршит, как свежескошенное ржанище. Хоть и тяжёлое, жаркое полотно, зато крепкое, не скоро износится.

За село уже ушла, глядит, возле самого раздорожья под ветёлкой чужой человек сидит. Заросший, словно леший. Спиной к ветле приткнулся, голова откинута, глаза закрыты. Уж не мёртвый ли, сохрани Господь! Даже оторопь взяла.

И одет бедно. Брезентовый драный плащ. Малахай такой, что не всякая сорока на гнездо облюбует. Кирзовые сапоги и те набок сбиты. Рядом суковатая палка лежит и холщовый узелок в ногах.

Нищий и нищий, откуда только взяться ему? Это после войны по сёлам их много христарадничало. С тех пор и не было. Лишь одни сборщики металлолома, как черти, сокрушили. Рыщут на машинах, прощелыги, смотрят, где бы чего сбандить, окаянные.

Нюра замерла, желая хорошенько разглядеть незнакомца, затем окликнула:

— Эй!

Мужик хотя и не пошевелился, но глаза открыл.

— Сидишь? — спросила Нюра, делая вид, что поправляет на голове платок.

— Угу, — безразлично промычал мужик и опять закрыл глаза.

— И долго будешь сидеть? — не унималась Нюра.

Мужик хлопает глазами и молчит, как бы в задумчивость впал.

— Куда идёшь-то?

Мужик пошуршал плащом, почесал бороду и тяжело выдохнул:

— Не знай.

— Как Это, не знаешь? — удивилась Нюра и даже коляску от удивления отставила. — Это что за новости такие? Нет, милый, мы всё про себя должны знать. Я вот знаю, куда я иду. А ты не знаешь. Это нисколько неправильно. Человек всё про себя должен знать.

Отчитывая незнакомца своим басовитым голосом, она как бы заикалась, хотя и не была заикой. Лишь спотыкалась в разговоре на каждом трудном слове, с силой выталкивая его из себя.

Странник смиренно слушал её и болезненно кривил губы в подобие жалкой улыбки.

— Ну, молчи, молчи, — обиделась Нюра. — Вон, моя тётка тоже мне говорит: «Ты больше молчи, Нюрка. Есть у тебя две дырки, вот и посапливай в них, а дело своё знай». А моя тётка зряшного слова не скажет. Потому что не зряшная. Это я не умею молчать. Язык-то, его не привяжешь. Чать, не тряпка.

И Нюра со вздохом налегла на ручку коляски, покотив её дальше по сыпучей песчаной дороге.

Эту коляску сколотил для неё покойный дядька Фёдор. Вместительной получилась, с гладко отшлифованными берёзовыми грядушками, с подвижным передком, прямо не коляска, а настоящий колхозный рыдван, только небольшой и на железном ходу.

— Ты девка у нас ломовая, — напутствовал её дядя Фёдор, передавая своё изделие. — Как раз по тебе! До самой смерти не износишь.

4

С хворостом Нюра обернулась быстро. Выбирая ровные ветушки, со всего маха рубила их, крикая и для верности ногой пригиная к земле, чтобы не пружинили, не дрыгали под топором.

Накрячила коляску с верхом, туго увязала поклажу, тронулась в обратный путь. Дотянула до ветёлки, а мужик всё ещё сидит под ветлой. Даже прежнего положения не переменил. И глаза всё так же закрыты. Что за напасть такая?

Встала, тяжело дыша.

— Сидишь? — крикнула с грубоватым вызовом. — Это чего же ты раскурынился?

Но тут же смягчилась в нехорошей догадке.

— Уж не захворал ли?

— Ослаб что-то, — проскрипело в ответ. — Ноги не идут. Мочи не стало.

— Вот беда-то! — расстроилась Нюра и с надеждой огляделась, как бы ища поддержки.

Но вокруг было пусто. Лишь кусты черёмухи зеленели вдоль села по оврагу, примолкшие дворы дремали в объятиях клёнов. Редкие пуховые облака стояли в сухом небе да жиденький перестук работающего моторчика доносился с бывшей колхозной фермы.

Солнце помаленьку клонилось к ночлегу, жара, однако, не сдавалась. И густые слепни кружили злей и прилипчивей.

На Нюре во всю спину взмокла сорочка. Лицо в редких оспинах с прядью седых волос на покато лбу покрылось горячей испариной. На кончике округло-напёрсточного носа со множеством мелких чёрных точек повисли прозрачные солёные горошины.

— Чё же делать-то с тобой? — растерянно вертела она головой. — Куда же тебя?.. Тут ведь страшно в ночь оставлять. Ну-кась кабаны придут на кукурузное поле. Съедят до костей.

Странник горько улыбался и ничего не отвечал.

— Мы вот что сделаем, парень, — запинаясь, догадалась она. — Мы тебя с собой возьмём. Не бросать же живого человека среди дороги.

Нюра решительно подошла к страннику, подхватила под плечи и стала поднимать, а он не поднимается. Ноги разъезжались под ним и подламывались, как у новорождённого телка. Мужик с брезентовым шелестом скользил спиной по дереву и безвольно оседал.

И тогда Нюра сгребла его в охапку и поволокла, держа перед собой, как когда-то таскала затаренные зерном мешки на колхозном току.

Возле коляски, ловко подсев и слегка крикнув, она подкинула мужика на самый верх и плотно усадила на хворост.

— Держись крепче за верёвку, счас мы с тобой полетим. Только крепче держись, — предупредила она.

Сумку нищего Нюра приладила на грядущку, сама влезла в оглобельки, навалилась всем телом на их поперечину и медленно покатила коляску с найдёнышем домой.

Везла, отфыркиваясь и тревожно оглядываясь. Как он там, её седок? Не упал бы. Расшибётся, греха не оберёшься.

Но мужик сидел, как вкопанный, покачиваясь, клевал носом.

У себя во дворе она усадила его на завалинку, кинулась топить баню. Отмыла, достала из сундука мужское пропахшее нафталином белье, взяла ножницы, немного образила лицо. На человека стал похож. Потом покормила с ложечки молочным кулешом.

Вот так он и остался у неё, этот странный мужичок. Уж как старалась, как обихаживала его!словно на больной пальчик дула. Разве только что не пестовала. Питала всем свежим, с пылу к жару.

Пойдёт огород полоть и его с собой на закорках тащит. Слава Богу, не богатырь. Высох, как прошлогодний лист на ветке.

Усадит свою ношу на меже, тюлей накроет, чтоб мухи не досаждали. Полет грядки, а сама одним глазом косит. Как он там, её приёмыш?

В лес поедет по дрова и его сажает в коляску. Сено ли собирает, он рядом в траве дремлет, как сурок.

Вся Репьёвка потехой изошла: дура, она и есть дура, сама на себя петаньё повесила!

Нюра молча принимала людские насмешки и укоры, лишь обиженно носом шмыгала.

Приезжие тоже дивились на неё: это что, мол, за цирк такой? Баба мужика на себе таскает.

Как-то везла она из комка мешок муки, а на нём — постояльца своего.

Увидели её Клавка Стенькина со своим новым сватом. Они как раз на изгородь мокрую сеть развешивали.

Он, Клавкин сынок-то, её Коленька, в десятой раз, наверное, женится. Ему, буслаю, пятый десяток валит, а он всё невест выбирает.

Новый тесть сам, пожалуй, не на много постарше Кольки будет. Видный из себя. В белых штанах, в соломенной шляпе, в блестящих очках. Вылитый профессор. Порывачить приехал да свежим воздухом подышать.

Только она поравнялась с Клавкой, а та уже кричит:

— Нюр, смотри, своего дролю-то растрясёшь! Ишь, как приладил-ся. Почище барина. Куски-то, небось, потрудней было собирать? А тут что ему, в такой рай угодил.

Нюра нахмурилась и, не останавливаясь, ещё упористей потащила коляску.

А Клавкин сват, слышно, спрашивает:

— Это что за паук такой? Он что, безногий у неё?

— Какой там безногий! — на всю улицу возмущается Клавка. — Подобрала какого-то бездомного шалопута, вот и тешится с ним. Дура она и есть дура. Вот и чудит. Дуракам-то закон не писан.

Что ответил Клавкин сват, Нюра не расслышала, но обида на соседку крепко ожгла её. Всего лишь два дня тому назад помогала этой Клавке прошлогоднюю грязь выгребать из её избы да стены белить к приезду свата. Клавка тогда бисером перед ней рассыпалась. Бегала по избе да всё лобызала: «Ой, Нюра, тебе заживо памятник надо ставить. Столько человеческого сострадания имеешь. Разве мог бы кто другой принять на себя такую обузу, инвалида обихаживать? Да хоть и принял бы, деньги требовать бы стал. А ты так, задарма стелешься. Широкая душа у тебя, Нюра».

Все они так: Нюра, Нюра, пока нужна.

«Ну и Бог с ними, — думала она. — Не мне их судить».

Оно всё бы ничего, да одна беда: постоялец уж больно плох: отнялись ноги, не слушался язык. И ел опричь своего желания. Козье моло-

ко и то из ложечки принимал. Истаял, бедный, в чём только душа держалась. Понимала страдает человек, а виду не показывает. Ни вздоха, ни стона не слышала от него. Зиму всё на печи валялся, а по теплу взял и помер. Даже не слышала, как помирал.

Утром собралась горячим молоком его поить, тронула, а он уже холодный. Вот ведь беда какая.

Ну, а коли помер, хоронить надо. Гроб у неё на чердаке стоял — сухой, крепкий, для себя берегла. Ещё покойный дядя Фёдор смастерил. Готовил для тётки Анисьи, да она не очень умирать торопилась. До сих пор рысью лётает.

Вот он тогда и отдал гроб. «Спрячь потихонечку, — сказал, — от греха подальше, не то моя ворона увидит, разорётся, сам живым в могилу закопаешься».

Нюра не отказалась, в хозяйстве всё сгодится. Вечерком задворками на тележке и увезла к себе гроб. Вот и понадобился теперь.

Покойника она честь по чести обрядила сама, никого не стала просить. Купила у Клавки три бутылки самогона, позвала мужиков.

Четверо пришло, молодые, как на подбор, но уже испытые: рожи мягие, красные, горячим похмельным соком налиты.

От всех четверых в разное время отреклись жёны и теперь каждый бобылём жил сам по себе. Пропавшие, одним словом.

За старшего был Вовá Умная Голова, как его звали в Репьёвке, делая упор на последний слог. Получалось складно.

Он хоть и непросыхающий пьяница, этот Вовá, но почитал себя за человека изрядного, развитого, очень даже искусного по части умственного соображения. Любил загадывать загадки собственного изготовления. Вот и Нюру спросил.

— Нюр, отгадай, — сказал Вовá, лукаво играя большими, в склеротических паутинках глазами. — Ушами не машет, на чужого дядю пашет.

— Дык, чё тут отгадывать? Лошадь, — простодушно отвечала она.

— А вот и нет. А вот и не лошадь. Это ты, Нюр.

И Вовá зашёлся сирым утробным смехом, который невозможно было ни с каким другим перепутать.

Мужики в ожидании скорого угощения, не мешкая, тотчас принялись за дело. Выкатили старый дубок из дровяного бунта, наскоро отесали его, сколотили крест.

Вовá собрался было на дубовой крестовине надпись вырубить долотом. Спросил:

— Как звать-то твоего ухажёра?

Нюра лишь похлопала глазами и в расстройстве потёрла свои заскорузлые руки.

— Понятно, — догадался Вовá и решил: — Коли так, пусть без имени лежит. Там разберутся, кто он и зачем.

Его помощники поставили гроб на коляску, нахлобучили крышку,

взвалили крест и повезли усопшего на кладбище. Да так быстро, что Нюра едва поспевала за ними.

Могилу мужики выкопали глубокую, по самую макушку Вовё. Наскоро похоронили покойника и здесь же, на луговине с молодое пробившейся травой, нетерпеливо выпили.

Предложили Нюре принять стаканчик в честь почившего жильца, она отказалась. У неё и без того кружилась голова, и она всё повторяла:

— Как же так? Господи, как же недоглядела?

И жалостливо морщилась.

Мужики быстро запьянели. Бросили коляску, оставили лопаты, дружно обнялись и направились в деревню, мотаясь во всю ширину дороги и весело горлая:

Выйду на улицу,

Гляну за село:

Девки гуляют,

И мне весело.

Вовё пел сипло, но стройно, остальные голосили невпопад и приплясывали на ходу. Илюшка Зверков, маленький, юркий, как зверок, был в глубоких галошах на босу ногу. Галоши отскакивали, шлёпая об асфальт, Илюшкины голые пятки мелькали, как две немытые картошины.

Нюра тащилась следом, катила коляску с лопатами и чувствовала, как огромная пустота всё теснее обволакивает её душу. И сама себе она показалась всеми покинутой, а потому и несчастной, как и этот умерший её постоялец, которого только что предали земле и вместе с которым что-то ушло, отгорела какая-то важная её доля.

5

К осени Нюра потихоньку успокоилась и жизнь её вошла в своё привычное русло. Сама она опять куда-то спешила, кому-то помогала, не забывая собственные хозяйственные нужды. Починила хлев, обмала толстым слоем глины. Теперь её козочкам не страшно будет зиму встречать.

До глубокого ненастья собрала тыквы с огорода, разделалась с картошкой, засыпала в погреб. Помогала тётке Анисье.

Дни стояли всё ещё тёплые, хотя утрами трава покрывалась морозной извостью.

Последним субботним днём сентября неожиданно приехала её городская племянница Нина, дочка двоюродной сестры Арины. Приехала без мужа и не как-нибудь, а на «Газели» с кузовом, крытым брезентом. Привезла Нюре гостинцев: пакет с яблоками — крупными, сочными, «Спартак» называются.

Они обнялись, поцеловались. На Нюру пахло облаком тонких духов. Она от удовольствия зажмурилась, глубоко задышала и радостно подумала: «Господи, в каких приятных запахах Ниночка живёт!».

Сама она знала только одни запахи, свинарские, и свыклась с ними.

Племянница у Нюры вылитая мать-покойница, настоящая красавица: стройная, голубоглазая, щёчки нежные, как маков цвет, так и хочется поцеловать.

К бабке Анисьи Нина не пошла, сославшись на неотложность своего дела. А дело у неё было самое житейское — приехала за картошкой. Она об этом сразу и сказала Нюре, как только они расцеловались

— Я ведь знаешь, что приехала, тётя Аня, картошка нужна. — ласково призналась Нина и улыбнулась своей мягкой поощряющей улыбкой.

Вот за эту улыбку, а ещё за то, что она для неё «тётя Аня», Нюра и любила свою племянницу. Все к ней «Нюра» да «Нюра», а Нина — нет. Ниночка тётей Аней зовёт.

— Ой, сладкая ты моя! — радостно встрепенулась Нюра. — Картошки-то море у меня! Сто двадцать ведер накопала. Куды столько одной? За зиму не поесть...Тебе-то скоко надо?

Нина помялась, пожеманилась и ответила:

— Мешков десять надо бы, тётя Ань.

И застеснялась, устремив в небо глаза.

— Семья-то вон какая! Жрут, как сволочи! Сами-то никуда, всё им мама подай... Да и шофёру придётся мешок кинуть. Куда же от него? Машину нанимать стала, не больно едет без картошки. И мне, говорит, надо.

Нюра глубоко вздохнула, сочувствуя племяннице. Трудно девке. Семья большая. Три мужика за столом: сам Борис да два парня. Им о-го-го сколько надо! Каждому по кило на день и то три кило выходит. А всё с базара. Нынче цены-то вон кусаются, не очень разбежишься. Это ей одной хорошо. Всё своё. Залезла в погреб и бери, сколько хочешь...

— Ну, что ж, — пошмыгала носом Нюра. — Айда в погреб спускаться, раз такое дело.

Нина принесла пустые мешки. Пока шли к погребу, племянница вдруг вспомнила:

— У тебя же вроде бы постоялец был, тётя Ань?

Нюра остановилась, нагнула голову и часто-часто заморгала.

— Нету больше, — с усилием выдавила она, концом платка вытирая слезы. — Помер он.

Нина слегка растерялась, но быстро нашлась.

— А ты не переживай, — утешила она. — Много чести за них переживать. Подумаешь, звезда какая. Тут вон народные артисты помирают, и то никакого горя.

— Да я ничё, я ничё, — оправдываясь, пробормотала Нюра и полезла в погреб.

Нина подала ей пустые мешки, большие, толстые, крапивные. Где только и взяла такие?

Нюра долго пыхла, затаривая их. А Нина в творило молча наблюдала за её работой.

Стали поднимать картошку. Нюра ставила мешок на лестницу, Нина сверху брала его за узел, тянула, помогая тётке. Нюра поддевала мешок плечом и с силой выталкивала наверх.

Обе запарились, пока вытащили мешки. Теперь нужно было носить их к машине. А Нина в тужильках на шпильках, в белой поролоновой курточке. Стоит и растерянно смотрит на тётю. Нюра спохватилась: «Господи, чего же это я? Девка во всём прибранном, замазается ведь».

— Нинк, ты уж прости меня, дуру! Вот глупая, столбом стою, — воскликнула Нюра. — Давай, подсобляй мне.

И, присев на корточки, привычно подставила свой горб под мешок. Нина сзади подкинула его, и Нюра поволокла, пригнув голову и выпучив глаза.

Так все десять мешков и перетаскала. Водитель, молодой, гладкий, коротко стриженный, в курточке из цветных клиньев, не вылез из кабины. Сидел с карандашом в руке и сосредоточенно разгадывал кроссворд.

Пришла пора прощаться. Нина торопливо поцеловала тётку в щёчку и ласточкой вспорхнула в кабину. Шофёр вздрогнул, приветливо ей улыбнулся, отложил карандаш, запустил мотор и машина тронулась, обдав Нюру сизым вонючим газом.

Нина из окошка помахала тётке своей белой аккуратной ладошкой и послала воздушный поцелуй.

Машина выехала на дорогу и стремительно унеслась за село.

«Вот и хорошо, — решила Нюра, стоя возле калитки. — Нинка теперь с картошкой будет зиму. И самой осталось за глаза... Половина ещё...»

Она посмотрела на солнце и всплеснула руками. Матушки мои! Солнце-то как быстро засыпать стало. Бывало, идёт, идёт по небу, да и провалится. А тут не успеешь с делами обернуться, глядь, а день уже на излёте. И осенняя свежесть накатывается откуда-то сверху. Пора и своим ногам покой дать, а у неё козочки всё ещё на приколе. Блеют, окаянные, тоже на отдых просятся...

Над дальним увалом в рыжеющем воздухе закатного дня летели, мелькая, молчаливые птицы. Наверное, в тёплые края торопились, туда, где нас нет, и где всегда зелено и жарко.

И Нюра подумала: «И ночь голубушек не держит. Тоже в заботах. Тоже чуют холода. Жить-то надо...».

ПЕРЕЛЮБСКИЕ ВОЛКИ

Рассказ старого человека

Дёрнуло меня в праздник поехать к друзьям на дачу. На маршрут-ке выехал за город. Дальше надо было ждать автобуса.

День выдался светлым, радостным, до каждой молодой травинки внешним солнцем осиянный.

На остановке загородного кольца, кроме одиноко томившейся старушки с белым узелком, не было ни души. Подошёл, спросил, не проходил ли автобус двадцать восьмого маршрута.

— Нет, сынок, — безнадёжно ответила она. — Не проходил. Сама извелась, ожидаючи.

— Далеко ли собрались?

— И не скажу, что близко. В Дубовый Перелюб. Слыхал, наверное?

— Слыхал, как же... Выходит, попутчики.

Насчёт попутчиков было, конечно, небольшим преувеличением с моей стороны. Мне и проехать-то предстояло каких-то пятнадцать километров, а до этого её Перелюба вёрст, наверное, сто будет.

Как и случается между людьми, ожидающими одного транспорта, мы помаленьку разговорились. Старушка оказалась живой и словоохотливой. Маленькая, сухонькая, с тёмным накатом мелких морщин, пугливо разлетающихся по сухому остроносому личику, с серыми, нетронутыми старческим бесцветьем глазами, она, казалось, вышла из поры моего бесконечно дорогого детства. И одета была по старой моде: пуховая кофта домашней вязки, широкая шерстяная юбка до колен, тёмный коленкоровый платок в белую горошину, тупоносые туфли на толстом каблуке. Это опять же всё оттуда, из деревенского далека, из немудрёных гардеробов наших когда-то совсем молодых матерей.

Возраст моей попутчицы показался просто аховым для наших дней.

— Восемьдесят девятый с Евдокии пошло, — не без похвальбы сказала она.

— Ну, это немного, — с веселой бесшабашностью заметил я, лишь бы поддержать разговор.

Она ловким движением поправила платок, убрала седую прядь со лба и весело объяснила:

— Немного-то, немного, да как посмотреть на это, сынок. Ежели сказать, восемьдесят девять, вроде бы и не много. А вот ежели по-другому: без году девяносто — это уже большая шарышка!

Она уже дважды назвала меня «сынком». Это было непривычно. Внуки на выросте, а тут «сынко».

Когда прояснилось, что оба выходцы из деревни, заговорили раскованнее и обстоятельнее.

Удручало одно — отсутствие автобуса. По расписанию, давно бы должен прибыть, а его всё не было. И неизвестно, придёт ли он?

Не сговариваясь, решили ловить попутку. Решение казалось самым верным в нашем положении. Легковых машин было море. Они сплошной лавой текли мимо нас. А на транспортной развязке гудели на разные голоса, теснясь и норовя обойти одна другую. Вырвавшись на простор, они с ликующим шиком уносились в дорожную даль утренней автомагистрали.

Машин-то много, да вот беда, свободных наперечёт. Ехали с детьми, целыми семьями, кто-то живых родителей навестить, другие — поклониться «отеческим гробам». Праздник же! День Победы!

Нас не только никто не подобрал, но и головы не повернул в нашу сторону. Водители будто аршин проглотили, сидели в позах каменных идолов.

Поворчали, повздыхали, вернулись на место, на обшарпанную скамейку придорожного павильона.

Лицо моей попутчицы порозовело от недовольства.

— Вот ведь какие богатеи пошли, и заработать не хотят! — возмущалась она. — Прежде-то, бывало, и глазом не успеешь моргнуть, как тебя тут же и подхватят. Сами летели услужить.

— Молоды были, вот и летели к вам, — не без иронии заметил я.

— И то верно, — согласилась попутчица. — На старуху-то и плюнуть неохота. Но и другое верно, сынок. Зажравшихся много. Задницу лень поднять. — И она повернула разговор, принявшись корить себя: — Вот старая дура! И какая лихоманка понесла меня в праздник? Знала же, народ будет! Нет, подхватила, будто бес понёс!.. Правда, от них, родимцев, в будни-то не больно вырвешься! Норовят всё умыкнуть куда-то, а ты нянчись с их ребятыньком, прабабка! Тряси его, отматывай руки! Эх, Господи, Господи, жизнь наша!..

И старушка сердито замолчала. Я тоже молчал. Однако наше молчание было недолгим. Первой не выдержала опять же она и сразу ударилась в воспоминания. Вспомнилось и мне кое-что из деревенской поры. И потёк у нас разговор.

О чём только ни переговаривали! О юных днях, о друзьях-товарищах, о переменах в стране, о житье-бытье нашем. Она вспомнила, как мужа провожала на фронт. Погоревала, что и повоевать ему, горемычному, не довелось. В эшелоне под бомбёжкой убило.

Вспомнила, как вдовой жила, как дочь растила, внуков поднимала. А теперь вот и праправнуки пошли.

Татьяна Семёновна, так назвала себя моя попутчица, оказывается,

смолоду была женщиной боевой и, как теперь сказали бы, «продвинутой». Ещё до войны в колхозе так прославилась со своим молодежным семеноводческим звеном, что орден заработала.

Заведовала и молочнотоварной фермой, и депутатом райсовета избиралась.

Прошла, как она выразилась, все ступени общественно-колхозной жизни. К ученью большую тягу имела, да не пришлось долго учиться. Экзамен за семилетку экстерном сдавала. Уже с дочкой на руках, грудью кормила, а всё училась. Интересно, говорит, было, вот и училась. Книги любила. А теперь редко приходится читать. Зрение ослабло.

Рассказчицей она оказалась необыкновенной. Можно сказать, от Бога. Всё-то у неё ручейком лилось, стёжка к стёжке ложилась, пословица прибауткой пересыпалась. Не хочешь, а заслушаешься.

И слова-то были простые да яркие, естественные, словно сам воздух, небо над головой и земля вокруг. Слушая её, хотелось думать, до чего же оскудели мы, обнищала сама речь! И почему всё то, чем выражает себя народ, иные представители нашего канцелярско-академического скудословия в своих толковых словарях подвёрстывают под безглаголитость презрительные мины: «просторечие»: «устаревшее», «церковно-славянское»? Как будто всё это не язык великого народа, а свалка бракованных товаров.

Заговорили о сегодняшнем дне. Как и водится, отвели душу ворчаньем на недочёты жизни: дичаем, мол, много нечисти вокруг, от воровства и казнокрадства стало не продохнуть.

Татьяна Семёновна сначала горячо повозмущалась, затем слегка призадумалась и стала возражать.

— Может, оно и так, сынок, — говорила она с кроткой смирностью, — только ведь это всё в нас самих сидело. Оно ведь и прежде, гнильцо-то, водилось. И прежде чертополох дуриком пёр по неухоженным пустошам и неудобью. Да вот ему головы не давали поднять. А нынешним богачам, так скажу, не завидуй. Они живут, сами не зная, зачем и как кончат. Ровно слепцы над бездной. Топчутся по краю обрыва и не знают, когда свалятся. Живут-то вроде бы по-царски, но больно горячо. Неправедно нажитое руки жжёт. А кто плохо живёт, сынок, тот плохо и кончит! — решительно предрекла она.

И, что-то важное ухватив в своей памяти, внезапно оживилась.

— Вот одну историю тебе расскажу, — решила вдруг, сухими пальцами бессмысленно теребя свой узелок. — А ты уж сам сообрази, что хорошо, что плохо.

И, выдержав паузу, заговорила тихо и просто, как будто для себя стала говорить. Помнится, вот так же когда-то наша бабушка Прасковья начинала свои сказки для нас, ребятишек. Тут уж сразу забывалось и жуткое завывание ветра в трубе, и злые взвизги метели под окнами.

— Жили два мужика у нас на селе, — вскинув голову и, словно бы прислушиваясь к себе, повела она рассказ. — Оба были такими отпетыми, что не приведи Господь! Весь наш Перелюб остерегался их.

Одного звали Тимоха Косой, другой был Митька Прокуда. Он и был прокуда. Прозвище зря ведь не дают. Было с чего, вот и прилипло.

Митька с детства упорным рос, настоящим острожником. В шабрах мы жили. И всё на глазах было. Покойный родитель его Илья Лукич, помню, всё вожжами учил Митьку. Зажмёт голову между коленей и давай пороть. Порет да приговаривает: «Не прокудничай! Не прокудничай, паскуда!».

А Митька хоть бы звук из себя выдавил. Слезы не уронит, стиснет зубы и молчит. Отдерёт его отец, он поддёрнет штаны, зыркнет, как зверок по сторонам, и убежит за дворы.

Так ничему и не выучил родитель. Тут уж как пойдёт. Ежели дерево смолоду в корявину пошло, не больно его выправишь. Кривулей так и вырастет.

Тимофей, тот иного склада был человек. Мрака больше в нём. Да и старше он был, опытней Митьки. Ему шестьдесят стукнуло к самому началу войны. Будто бес специально подгадал. А выглядел свежо. Как отава с тёплых августовских ненастий. Сам коренастый из себя, краснощёкий, как помидор, ни единого седого волоса в бороде.

Был он не то чтобы раскосым, но правый глаз всегда держал вприщурку, как бы прицеливался в кого-то. Хоть щас записывай в ворошиловские стрелки. Тогда модно это было.

А ещё он имел привычку с самим собой разговаривать. Лежит на печи и бубнит, тёмные планы, значит, наводит, да ржёт, как стоялый жеребец.

Жена его Пашка, сухая, жилистая, будто из корней свитая, и в суждениях была жёсткой и резкой. Ты ей хоть лоб расшиби, а в кулак шептать не станет.

Вот она послушает, послушает своего лешего да и кликнет внучку:

— Слышь, Костик, опять нашу анчутку черти разжигают! Не иначе какое-то коварство замыслил... Господи, Господи, вот бог привёл жить с такой омёлой.

Тимошка примолкнет, да и цыкнет с печи:

— Молчи, ворона! Больно много глупых рассуждений имеешь.

Он не только цыкал, но и поколачивал супругу. Это у него было в порядке вещей и даже считалось делом святым, в хозяйстве необходимым.

В войну оба они, и Митька, и Тимоха, в деревне остались. Всех мужиков забрали, а их оставили.

Тимошка по возрасту не прошёл, а Митька, теперь уже Дмитрий Ильич, по здоровью не был взят. А ведь крепкий был, как сатана! Си-

лица, словно у вепря. Кольке Сидоркину ребро сломал. И ведь сломал-то как дивно! Сидел Колька с мужиками за домино возле тракторной будки, а Митька сзади подоиди да возьми и обхвати его в объятья. Сти-снул так, что у парня ребро и хрустнуло. Целое лето ходил затынутый, как соляной куль, пока кость срослась.

Вот так у нас: где не надо, сильный, а для фронта негодный, как старый ошмёток. У моего мужика левый глаз в кузне окалиной был повреждён, и ничего, взяли. А этого борова оставили.

Голос Татьяны Семёновны дрогнул и она концом платка приня-лась вытирать глаза.

Я не успел и утешительного слова сказать, как она продолжила.

— В сенокос Митьку угораздило с омёта упасть, — заговорила, словно бы и слёз не теряла. — Был под хмельком, шалопай, вот и сва-лился. Да ведь упал-то как чудно! Лытка хрустнула. К врачу не стал ходить. Как же, гордый: сами с усами! Хотя у нас в деревне никто не любил по врачам шляться. Разве уж когда ухватом припрёт, при смер-ти когда.

Вот и Митька решил, поболит-поболит да перестанет. Она пере-стать-то перестала, да сама ступня подвигиваться начала. Сухожилие, что ль, повредил. Вот она и ходила, как на шарнирах. Особенно, когда спешить начинал.

Но всё равно не урод же, не улогий какой, мог бы и повоевать. У нас ведь, почитай, тогда вся деревня на фронт ушла. Из мужского населения остался один председатель Семён Шухов, астматик, да вот они, два буслая, Тимоха да Митька. Ну, ещё с пяток стариков. Их и считать нечего. Древние, как замшелые пни. Тенётами обросли.

Как только не стало мужиков, Тимофея сразу к лошадям опреде-ли. Прежде-то ему их не больно доверяли. Знали, и овёс ополовинит, и коней обескормит. А их у нас пуще глаза берегли. Как же, основная тяговая сила. Тракторов-то с кукиш всего.

Нужда припёрла, деваться некуда, вот и поставили Тимоху. Нель-зя лошадам без крепкой мужской руки. Из бабы какой конюх? Баба, она и есть баба. А лошадь — умный зверь, слабину нутром чует и сразу видит, кто ею командует.

Митьку и вовсе в руководители вознесли, бригадиром назначили. Бросили, как говорится, щуку в озеро. Он теперь и царь, и бог, и воин-ский начальник над нашим бабьим воинством.

Тогда к нам в Перелюб много эвакуированных женщин приехало. Одна из Харькова была. Вот уж птишка! — И Татьяна Семёновна ле-гонько засмеялась, прикрывая ладошкой рот. — Лялькой звали. Моло-дая, пригожая из себя, а к работе совсем не способная. На болезни всё ссылалась. А сама гладкая, того гляди, юбка на ней лопнет.

Говорили, будто ейный муж лётчиком где-то на Кавказе воюет. Он-то воюет, а она хвостом вертит, молодость прожигает.

Случалось и такое средь наших сестёр. Редко, но бывало. Это теперь они почти сплошь. Не успеешь телевизор включить, а там вот она, очередная «лялька» звёзды зажигает.

Какие, к чёрту, звёзды! Измызганная, словно моя старая галоша. Вертится, как обезьянка, смотрит, на ком бы повыгодней гирей повишнут. А наши деревенские бабы, шалишь, крепко тогда держались женской чести, блюли себя, на золотые побрякушки не покупались.

Но Лялька из тех, кому и своя честь — копейка, а мужнина и полушки не стоит.

Вот Митька и подольстился к ней, под своё крыло взял.

Поселили Ляльку в пустующей избе покойной старухи Лузгиной. Изба не ахти какая, но удобная для свиданок, за оврагом на отшибе стоит. И стала эта изба настоящим вертепом разбойников. По всем ночам в ней дым коромыслом, пьяный гул, визги да пляски со свистом.

В селе из дворов скот начал пропадать. У Ляльки жареное и пареное, булки с маком, а у бедных солдаток голодных ребятишек изба да колодезная водица с таким.

Скажите, отчего же мер не принимали?

И она подняла на меня свои вопрошающие глаза. Но, не дожидаясь ответа, тотчас и объяснила:

— А кому их принимать-то? И до мер ли тут, когда враг у самых московских стен, полстраны своим сапогом топчет?

Она сделала глотательное движение, набирая воздуха, и продолжила:

— Поджогов пуще смерти боялись. Вор-то, он хотя бы голые стены оставляет, а пожар подчистую подметёт. И куда тогда с детьми?.. Вот и помалкивали. А наши волки и пользовались этим.

На Лялькины ночные сходки собирались самые что ни есть сорви-головы, прожжённые да отпетые. Тогда километрах в четырёх от нас палаточным лагерем трудармия встала, лес для фронта валила. Разный в ней подобрался народ. Были такие ухари, что лучше на узкой дорожке не встречаться.

Вот и куролесили одной компанией с нашим Прокудой. Пили до звона в ушах, до похабных скандалов, до поножовщины. Однажды убийством их пьянка кончилась. И опять всё шито-крыто. И опять, как с гуся вода. Отговорились тем, что покойный сам-де на дубовый коштыш напоролся в лесу. Пришёл, мол, с выпущенными кишками.

Никто и разбираться не стал, — махнула она ладошкой. — Оно никому и не нужно было. Подумаешь, человека не стало. Их тысячи гибли на передовой. Война всё спишет. Малая кровь не в счет у неё.

Порядок у нас тогда держался на Ольге Степановне Тепляковой. Она представляла советскую власть в Перелюбе, председателем сельсовета была.

Статная из себя женщина, высокая, с прокуренным голосом, в та-

рантасе на стальных рессорах всё ездила. И ходила непременно в красной косынке. Это у неё ещё с комсомола. В возраст вышла, заматерела, замужем успела дважды побывать, а красную косынку так и не бросала. Получит из района материал на флаг или, там, на скатерть для разных торжеств, обязательно себе на косынку выкроет кусок. Её так и звали — Красная Косынка.

На людях держалась строго, по справедливости старалась дела решать, но не без слабостей баба. На Лёлькины сборища частенько ныряла. И больно уж упивалась, грешница. Иной раз до такого безобразия упьётся, что подол себе вымочит.

Очухается под утро, выскочит наружу и летит, как ошпаренная. Не баба, а лось с рогами. Улицей-то совестно, так она задами бежит. Пригнётся и летит, только красная косынка мелькает за плетнями.

Но от наших баб не очень-то укроешься! Они уже давно видят её, стоят у колодца и рядят меж собой: опять, дескать, советская власть сама себя подмочила...

Ты вот скажи мне, как после этого она станет в район докладывать? — И Татьяна Семеновна и посмотрела мне в лицо.

Я пожал плечами, а она и не думала ждать ответа. Потрогала висок и заговорила, упершись руками в колени:

— А эти два наши волка, Прокуда с Косым, каждый по-своему блудит. Разбойный ум, что у одного, что у другого. Живут, куда там! Во дворах скотина мычит и телится. И на столе не пусто. Не как у других.

Тимофей одно время прилачился дрова возить вдовам. Не за здорово живёшь, конечно. Не задаром. И деньгами собирал, и отрезами на мужские костюмы из вдовьих сундуков, и самогоном, и на мороженными маслеными кружками. От детей отрывали, а деваться некуда. В лесу что баба сделает одна? Да и боязно, штрафы большие. А топиться надо. Зимы стояли снежные, лютые. Углы избы до того, бывало, промёрзнут, что брёвна лопаются, порой так жажнет, будто из пушки саданули. Стены так и загудят!

Местный лесник Косому кумом доводился. Ну и закрывал глаза на Тимохино воровство. Встретил как-то одна в сельмаге, урекать стал: мол, жирно живёшь, кум. Как бы на штраф не наехать. А Тимоха ему намёк даёт: «У тебя, кум, двор-то до чего просторный. Скотины полно, и солома, как на току, натерина. Опасно ведь, не боишься красного петуха? Не ждёшь его, а он, глядишь, из трубы и выскочил».

Сказал так и громко рассмеялся.

С той поры лесник и вовсе язык прикусил. А Тимошке того и надо. Он только одного лесного сена на две зимы наваживал. А что не наваживать? Лошадь в руках, горб не ломать, коси «дугой». Оно, готовое сено, в рядах да копнах лежит. Подъезжай и наваливай.

Вот и собирал он чужой труд в рыдван. Поедет ранёхонько, найдёт чужие ряды да и соберёт их.

Как-то за воровством лесхозовские бабы его застукали. Выскочили из кустов с вилами наперевес, бегут, кричат в голос:

— Ты чего паскудничаешь, зверь непутёвый? Мы на покосе все жилочки порвали, а ты, неумытая харя, вдовий пот да наши слёзы собираешь!

А Тимофей хохочет и кричит в ответ:

— Больно дрыхнете долго!

Вдарил лошадь, присвистнул, как соловей-разбойник, и понёсся, гремя колёсами да прыгая на кочках. Попытай, догони его! Лови ветра в поле...

Однажды в селе устроил такое, что и ныне, как вспомню, сердце щемить начинает.

И Татьяна Семёновна взялась рукой за грудь.

— В подпасках у нашего коровьего пастуха ходил Васька, большак многолетней вдовы Верки Селкиной, — вздохнув, продолжила она после короткой паузы, — лет тринадцати паренёк.

Как-то в конце лета гнал Васька стадо вдоль огородов. Дело под вечер было, домой направлял скотину. Увидел на Тимошкиной меже подсолнухов гурьбу. Подошёл и скрутил шляпку себе на забаву.

Тимоха всё это видел со двора. Встретил Ваську против своего дома, сгрёб в охапку и давай буцкать. И ведь бил как! Будто по мокрому белью вальком бухал. Остервенел до того, что бабы, выскочившие из дворов, долго отнять не могли. В кровь измолотил мальчишку.

С этого раза и зачах наш подпасок, а осенью его схоронили. Вроде бы внутренности ему отбил Косой.

Вот какой зверь!

Она пожевала губами и шмыгнула носом.

— Митька же, пока бригадирствовал, хлебом разжился от души. За ним мерин был закреплён по кличке Воронок. Этого Воронка Прокуда на ночь ставил к себе во двор. Тут был свой хитрый расчёт. Лошадь колхозная, на неё корма полагаются. Этим и пользовался хозяин.

Зерно из-под комбайна тогда не успевали возить на ток. Ссыпали в вороха прямо по межам.

Митька подъедет к такому вороху, зачерпнёт челяк да и опрокинет себе в телегу. Воронку, мол, на ночь. А в том челяке добрый пуд полновесного зерна. Мерину хорошо, если достанется пригоршня, всё остальное — себе. Ну-ка посчитай, сколько за неделю навозит, — обратила она ко мне лицо. — Оттого и полны были его сусеки. И сам не обманывался, и полюбовниц не забывал, да ещё на сторону продавал.

Жёнка против него и пикнуть не смела. Забитая до смерти, запуганная, как мышь, жила, трясясь над детьми. Сама маленькая, словно рукавица, Митька её и за человека не считал. На холод выгонял, как собаку. А ей, бедной, и голову некуда прислонить. Не нашенская была,

из соседней Пахомовки замуж взята. Сколько раз прятать её приходилось от пьяного Митьки!..

Вот так и жили. Кому блины с пирогами, кому тумачи с кулаками. Вся жизнь тогда на нас, бабах, держалась. И детей растили, и работали до упада. Мало колхозной работы, тебя ещё и на железку занарядят. Караул, бабы, у железнодорожников стрелки занесло! Лопаты в зубы — и ать-два, отправляйтесь снег кидать, поездам дорогу на фронт открывать.

Выйдешь на простор, а она, матушка, крутит и вертит, на разные голоса поёт и воет. Одежонку насквозь продувает. А ничего, работали. Только ей, милой, и согрелись. Сутками, бывало, не уходили, борясь с заносами.

Осенью, глядишь, опять гонят щиты против снега ставить, весной — канавы копать, как бы рельсы не затопило.

А там свои мосты половодьем, как грибы, сносило. Зимы снежные были, а таль дружная, вода морем катилась. Разнесёт, разметет брёвна, а ты корячься, баба, собирай их, нови мосты.

Ну, и войну как-никак, а пережили, победы дождались. Эвакуированные тут же подхватились и, словно гуси-лебеди, к своим гнёздам потянулись. Упорхнула и Лялька. Кончились её пиры.

Не знай, как там у них на разорённых территориях было, а у нас будто Мамай прошёл: запустенье и разруха, что в полях, что на фермах. Правда, помаленьку мужики стали приходить, поправлять дело. Я фермой тогда заведовала, тоже сладко не приходилось. Кормов нет, коров нечем кормить, глядеть на них страшно. Душа, того гляди, разорвётся.

Года три уже минуло с начала замирения, а жизнь по-хорошему не налаживается. У районного начальства одна песнь: хлеб подчистую отдай государству, займы, налоги. И лозунг один: все силы на восстановление разрушенного народного хозяйства. А какие там силы? Война подточила, земля исхудала. Мы уж и золу по дворам собираем, и навоз лошадьми возим. А всё не родит.

Ну, нет-нет, на третье лето, наверное, уродилось кое-что, по двести граммов зерна на трудодень выдали. Кому пуд, кому два, кому больше пришлось. С огорода кое-что собрали. Зерно есть, молоть его надо. А своей мельницы нет. В Пахомовке она.

Председателем Игнашин был, с фронта без руки пришёл. Семён к тому времени умер, вот он его и сменил.

Игнашин даёт команду: пусть Дмитрий Ильич на мельницу везёт. Это Прокуда, значит. Пусть, говорит, готовит парный фургон, соберёт хлеб по дворам, у кого сколько есть, и едет.

Оно, пожалуй, дельно рассудил. Прокуда молодой, сильный мужик, с характером. В обиду себя не даст.

До Пахомовки хотя и не ахти какие вёрсты, а с хлебом ехать тоже небезопасно. Голод не тётка, и тихого человека в разбойники

произведёт. А время было ещё не тихое, тёмные личности по стране шатались, лихие люди прятались по лесам и на дорогах баловали. Какая-то «чёрная кошка» объявилась. Разные слухи ходили. Там, услышишь, тётку с базара встретили, там кооператора с товаром растрясли. А прошлой осенью по чернотропью семёновский мужик с хлебом был убит.

Одним словом, разбой, как и бывает во времена разора.

Мы, бабы, в надежде на Прокуду: этот так просто наш хлеб не отдаст. Сам, кому хочешь, башку проломит и глотку зубами вырвет.

Я тоже два пуда ржи послала. Уехал Прокуда. По вечер ждём его.

А он тем временем намолотил муки, домой возвращается. Свежеть стало. Солнце за лесок отдыхать опустилось.

Лошади настоялись за день, бегут весело и резво. Да и дорога под уклон. Уже осиновый колок завиднелся. Километра четыре осталось до Перелюба.

Смотрит Прокуда, впереди из осинника человек на дорогу выходит. В высоком картузе, в рубашке навывпуск, за поясом топор.

«Что за чёрт? — насторожился Прокуда. Подъезжает ближе: — Ба, да это же Тимошка Косой! Чего ему тут надо?»

Поравнялись, поздоровались.

— Ты как сюда забрёл? — спрашивает Прокуда.

— Да вот лыко собрался драть, а липы не нашёл.

— Какая тут липа? Давай подсаживайся, подвезу, — приглашает Прокуда и место рядом уступает.

А у самого сомнение: какое может быть лыко в чистом осиннике? Да его здесь сроду не драли.

Едут так, о пустяках болтают. Тимофей закурить попросил. Прокуда передал ему вожжи, в карман за кисетом полез. Тут Тимошка и накинул на него вожжу петлёй. Упёрся ногами в стойку передка и ну давить, даже зубы ощерил. У Прокуды глаза на лоб полезли, жилы вздулись на висках. Хватает Тимошкины руки, оторвать от вожжей не может. И тогда всем своим туловом двинул Тимошку в бок. Тот взмахнул руками и кувыркнулся с облучка.

Лошади испугались и понесли.

Митька снял с себя удавку и крикнул Тимошке, грозя кулаком:

— Ну, Косой, смотри у меня, задрыга, уж я тебя умою!

Тимошка в отчаянии топор вслед запустил. Но далеко уже было, не достал.

И тогда он встал посреди дороги и рассмеялся, как только умел он, по-жеребьячи громко и раскатисто. И кричать стал:

— Куда же ты, Митрий? Постой! Чего бросаешь старика? И пошутить с тобой нельзя!

— Я тебе пошучу! Я тебе пошучу! Погоди, уж так защучу тебя, воющий хорёк, ты у меня по-другому захрапишь!

Кричит Прокуда, а сам погоняет лошадей...

Слух о том, что Косой пытался Прокуду удавить, никого и не удивил. Но и всерьёз это известие не приняли. Народ посмеивался, говоря, что ворон ворону глаз не выклюет; где две собаки грызутся, третья не вступает.

Митька же помалкивал, наверное, своего часа ждал. А у Тимошки одна отговорка: «Вот ведь как бывает между своими людьми. Не захотел пожилого человека подвезти. Раскричался, скандал устроил. Не из чего повздорили...».

Не знаю, сломи им голову, чем бы кончилась их вражда, но ссепиться не выпало им случая. На мясоед у Тимошка умерла жена, его терпеливая Пашка. Не успел её похоронить, как начал хозяйство распродавать. Продал дом, скотину и сразу переехал в райцентр. Там у него племянница жила. Она и присмотрела ему не только домик с просторным двором и палисадом, но и вдовствующую молодую.

Вот и стали они жить. С год, наверное, прожили. И вроде бы ладилось у них. А на майские праздники гуляли в знакомой компании, Тимошка возьми да приревнуй молодую жену к какому-то мужику. Вернулись домой, Косой упрекать начал бабёнку, не так на чужого мужика смотрела. Та не стерпела, сказала, раз такой ревнивый, нечего на молодой было жениться, старый дурень. Слово за слово, скандал — пыль до потолка! Тимоха схватил топор и зарубил жену.

И ведь дальше что сотворил, зверь! На кусочки искрошил, мешком в уборную перетаскал. Голову опять же в мешке в Язёвку отнёс.

Это речка такая в райцентре. Местная ребятня пескарей в ней ловила. Вот ребятнишки и набрели, лазая по рогозу, на страшную находку. Перепугались, визг подняли, взрослым побежали сказать. А те уж в милицию сообщили.

В райотделе вспомнили, на днях приходил старик, заявление оставил о пропаже своей жены.

Стали проверять. Расспросили соседей. Те и показали: да, видели, как хозяин с какой-то ношей всё в туалет бегал. Потом крыльцо стал замывать. Вода была очень уж красной. Вишнёвым соком отливала. Вот и решили, не иначе, как банку вишнёвого варенья разгокал, старый дурень. Крыльцо замывает, чтоб жена не догадалась. А оно вон какое варенье!..

Провели обыск. Нашли топор со следами крови, человеческие останки. Тимошку забрали.

Был суд. И судили публично. Народу видимо-невидимо набилось в районный Дом культуры, яблоку негде упасть. Даже из соседних деревень приезжали послушать этот суд. На улице перед репродуктором толпились, приговора ожидали. Когда услышали, что высшая мера, бабы ахнули с радостным визгом, а мужики в ладоши захлопали.

Месяца через четыре извещение было в газетах: приговор приведён в исполнение. В Сызранской тюрьме расстреляли нашего волка.

Митьку ждал иной конец. Из бригадиров его вычистили сразу же, как только мужики вернулись с фронта. На разные работы стал ходить. Жена бросила его, с детьми к матери в Пахомовку переехала. Да и как жить с таким идиотом? Вволю поиздевался, ухо ей порвал...

Вот и остался один, как бирюк. Загуливать крепко начал. С молодыми парнями стал ватажиться. Была у нас парочка таких, что оторви да брось. Стёпка Канавный и Витька Сурок. Вместе с ним и куролесили.

Пьянство, оно никого ещё не доводило до добра. Да и водку даром не дают. На выпивку тоже деньги нужны. А где их взять? В колхозе не больно зарабатываешь. Оставалось одно: красть, где плохо что лежит. Вот и крали. Там поросёнка с фермы утащат, там амбар подломают. У Паньки Беягина рожь из ларя вычистили.

А уж сколько вдов доняли своим мелким паскудством! Последнюю курицу со двора и ту упрут.

Ох, зол был народ на Митьку, а всё сходило ему с рук. Доказать ничего не докажешь, не пойман, так и не вор. Их ныне вон сколько с миллионными кубышками! И не скажешь, что жулики. Напротив, успешные предприниматели. Как же, успешные!.. Будто первый год живём, не знаем, откуда успехи берутся. Из ничего и бывает ничего. Костёр, и тот со спички занимается.

Вон нам про одну успешную лягушку все уши прожужжали, как она масло в горшке сбила. За глупеньких, что ль, считают? Для масла, кроме этой успешной лягушки, ещё сметана и горшок нужны...

— Ну, да ладно, это так я, к слову пришлось! — легонько отмахнулась она. — Слушай, дальше-то что было.

Август подошёл. Озимые стали сеять. Митьку занарядили семена подвозить.

Целый день чалил, много навозил. Ночь опускается, а зерна и половины не высеяно. Решили мешки в поле оставить. Сложили в штабель, пологом накрыли на случай дождя, по домам разъехались.

Утром хватились: десять мешков, как корова языком слизнула.

Старший сеяльщик Колька Пестунов поехал в правление докладывать. Известили председателя сельсовета, в район позвонили, милицию вызвали.

Пока суд да дело, Теплякова, не теряя времени, заложила жеребца в тарантас, на конный двор понеслась. От дежурного конюха узнала, лошадей в ночь никто не брал. Только вот мерин Чалый с чего-то потный стоит. В работе не был, никто не запрягал, а потный.

Вчера на нём Митька работал, вечером пригнал, задали овса, больше Чалого никто не трогал.

Теплякова сразу смекнула, из какого угла сыростью тянет. Прихлестнула жеребца и погнала за село, вдоль огородов. И видит, свежий росный след с выгона прямо на межу Прокудиного огорода. Вылезла

из тарантаса наша Красная Косынка, пошла по следу. А вот она и пропажа: мешки с зерном, целехоньки среди картофеля лежат.

Тут и участковый подъехал на мотоциклетке. Пригласили понятых, подняли Митьку с постели. А он во хмелю, никак не очухается, глаза мутные, сам осоловел.

Дали время одеться, повезли в сельсовет. И сделали, как теперь по телевизору говорят, «предъяву» мужику. Отпираться Прокуда не стал, да и не отопрёшься: кража налицо. К тому же, видели его с Чалым на заре.

Был слух, не один возил, а со своими молодчиками: с тем же Витей Сурком да Стёпой Канавным. Но их Митька выдавать не стал. Оно и правильно. За коллективное-то воровство да вовлечение молодых в преступную шайку ещё крепче вздули бы.

Но и без того десять лет лагерей, как палкой сшиб. А вот отсидеть их ему не привелось.

Года, наверное, не просидел, как слух прошёл, помер наш Прокуда. А отчего, не известно. Всё гадали, чего это стряслось с нашим Митрием Ильичом? Такой крепкий хряк, а года лагерной жизни не выдержал.

Так, наверное, и не узнали бы. Но тут вернулся из лагеря пахомовский парень Серёга Чихирь. С нашим Прокудой в одном месте на отсидке был, только он — за драку. Серёга и рассказал, будто захотел высоко взлететь Прокуда. Решил над ворами верх взять. Задирать начал, показывать, кто я, болотная свинья. А у них там, по их лагерной метке, сказал Серёга, Митька за мужика проходил. Да он и был мужик, кто же ещё, если всю жизнь в деревне? А тут, видишь, блатным захотелось стать.

Ворам это сильно не понравилось. Вот они и показали, кто в лагере хозяин. Зарезали, как барана...

Она погладила кисти рук и замолкла.

Я не знал, что ей сказать, не было никаких слов. Только и нашёлся, что набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул.

На душе было не то чтобы печально, а как-то неловко. Даже в ушах звенело от этой неловкости. И внутри что-то чертило. Да так, что ехать куда-либо расхотелось. К тому же, нашего автобуса всё ещё не было.

Я решительно шлёпнул себя по коленям, поднялся стремительным рывком и глупо пробормотал:

— Занятно всё это... Горько и занято.

— А ничего занятого нет, — просто ответила старушка. — Прожили, как в дупле прогнили. И доброго слова нет, чтоб помянуть. Вот всё думаю о наших мужиках. Может, и никакого геройства у них не было там, на фронте, но ведь за родину души положили, за нас с тобой. А эти — за что?..

И она низко опустила голову. Я не стал ей мешать и объявил, не глядя:

— Знаете, я, пожалуй, вернусь.

— Смотри, сынок, тебе видней, — пошевелившись, тихо сказала она. — А мне нельзя. Мне плыть да быть. Не знаю, сколь жизни осталось. А пока жива, поклониться надо...

Она подобрала под скамью свои старомодные туфли и удобнее уложила на коленях узелок.

Я подождал, пока схлынет очередной автомобильный поток, трус-цей пересёк дорожное полотно и вышел на противоположную сторону кольца.

Вскоре подошла моя маршрутка, я влез в неё и сел возле окна. И, пока машина обегала дорожный круг, всё смотрел на оставленную мною старушку. Она сидела, подобравшись в живой комочек, и походила на маленькую сиротливую птичку, задумавшуюся о своём вольном житье.

До самого дома я думал о её рассказе, а приехав, сразу же записал его, как запомнил сам.

ШЕРШНИ

Если кто-то обижал бабушку Анну, она долго не успокаивалась и всё ворчала:

— Вот шершень проклятый! Никакого житья!.. Так и глядит, кого бы ужалить...

При этом её старческий голос дребезжал, словно обрезок рельсы, подвешенный на углу конюховки.

По утрам, созывая деревенский люд на колхозную работу, наш бригадир колотил по этой рельсе стальным шкворнем. И звуки, издаваемые ею, вызывали особую неприязнь далеко не у меня одного.

О шершне же я думал, что он непременно должен быть шершавым, лохматым и злобным, вроде дезертира, одичавшего в нашем лесу и пойманного осенней облавой в самом конце войны.

Это уже потом, когда стал взрослым, узнал, что шершень всего-навсего оса. Правда, довольно крупная и довольно хищная. Свой расплод она выкармливает пчёлами, мухами, гусеницами и прочей насекомой живностью.

Особо не любят шершней пасечники и нещадно их уничтожают. Оно и правильно. Эти крылатые волки наводят настоящий ужас на пчёл, подкарауливая и хватая свои жертвы прямо у летков. И, если шершней много, пчёлы начинают прятаться и даже прекращают работу.

У нас их было предостаточно в лесу. Селились они не только в дуплах, но и в заброшенных сараях. Только мы не знали, что это шершни. В деревнях ведь как: осы, да и только. А кто они там, шершни ли, филанты — это без надобности.

Между прочим, в детстве мне однажды крепко досталось именно от шершней. А дело было так. Отправились мы ребячьей ватагой в лес якобы за грибами, а на самом деле свои новенькие луки испытать. Мы тогда в своём бедном деревенском клубе только что посмотрели «Тарзан», привезённый к нам механиком кинопередвижки, и тоже почувствовали себя тарзанами. Потому и луки мастерить взялись. Агнули их из молодого упругого дуба. На стрелы же были пущены стебли прошлогодней конопли и жёсть консервных банок. Стрела с наконечником из такой жести могла метров на двадцать пять достать свою жертву.

Вот понаделали мы этих луков и решили их опробовать. За этим и отправились в лес.

На поляне, сразу же за лесной опушкой, стояли пустующие амбары. Когда-то они принадлежали подсобному хозяйству НКВД, затем их передали колхозу. А в войну в амбарах размещались воинские скла-

ды вещевого и боевого довольствия. Ребята постарше нас в своё время достаточно потаскивали отсюда винтовочные и пулемётные патроны с фосфорной, термитной и бронебойно-разрывной начинкой. Предпочтение отдавалось последним. Ведь разрывная винтовочная пуля, удачно выпущенная из рогатки в окованную дверь Кузьмичёва амбара, шлёпалась, как орех, взрываясь и оставляя после себя комочек дыма. Было и сладко, и жутко это наблюдать.

Как только воинская часть уехала, амбары опустели. Теперь они стояли без дверей, с изъеденными гнилью брёвнами, с худыми тесовыми крышами и, кажется, только и ждали того часа, когда местные жители разнесут их на дрова. В амбарах, по зауголиям и в щелях, селились трясогузки, воробьи, сыч и даже угод. Мы их гнёзда знали и, в общем-то, не трогали. Просто иногда смотрели, кто там поселился.

На этот раз в самом дальнем амбаре обнаружили осиный клубок. Он напоминал небольшую бумажную юлу и висел под самым коньком двускатной крыши. Его можно было достать лишь шестом.

Вот тут мы и взялись за луки, принявшись расстреливать этот осиный клубок. Осы сразу же забеспокоились, завозились, загудели, как заправские бомбардировщики, и принялись пикировать на нас. Ребята разбежались, а меня успели долбануть сразу аж три осы: две в затылок, одна прямо в лоб. Ужаленные места загорелись, словно нажжённые крапивой, даже заломило в висках.

Я выскочил из амбара, схватил горсть влажного песка и принялся растирать ужаленные места. Наступило вроде бы облегчение, но оно оказалось недолгим.

На потеху друзьям, на лбу у меня вздулась и начала расти огромная шишка. Им что, а мне стало не до потех. Я почувствовал, как меня начинает знобить и потихоньку трясти: так бывало прежде лишь при малярийных приступах. Моё лицо горело и всё тело окатывало волнами жара. И ноги стали слабеть, делаться ватными.

Но самым страшным показалось то, что я начал слепнуть. Лица ребят плыли и ломались, словно бы отражённые в текучей воде.

Я бросил лук и потихоньку побрёл по дороге к дому. Кто-то из ребят спросил:

— Ты чо?

Должно, решили, что я обиделся, и больше не стали кричать.

Где-то на выходе из леса я потерял сознание и упал в дорожный песок. Здесь и нашла меня соседская девчонка Любанька Коммунарова, дочка деда Афанасия Коммунара, прозванного так за его совершенную безыдейность.

Она пыталась приподнять меня, но это оказалось ей не под силу. И тогда Любанька побежала в село, сообщить моей матери с бабкой. Те, как только услышали, что я на дороге валяюсь без памяти, подхватили тележку и отправились за мной.

В сознание я пришёл только на вторые сутки. Потом, кажется, ещё дня два отлёживался на печи, пока совсем не окреп. Всё это время меня поили молоком и липовым чаем с мёдом.

Вот такая вышла история с шершнями.

Ныне больше знаю об этих осах. Но слово «шершень», как и в детстве, по-прежнему вяжется у меня с чем-то шершавым, лохматым и злобным. И я всегда думаю, не дай Бог, чтобы чья-то бабка, как моя когда-то, сказала бы обо мне: «Вот шершень проклятый!».

КАК МУЖИК ЖЕНУ ПОТЕРЯЛ

В то утро тракторист акционерного общества «Колос» Пашка Сенькин был с большого бодуна. Вчера они всем звеном нажрались по случаю завершения жатвы. И домой Пашка приполз, как говорится, на бровях, но в своей памяти.

Тамара, его жена, ещё не утратившая женской свежести крупная брюнетка с толстыми румяными щеками, встретила мужа довольно сурово.

— Ах, ты, скотина безрогая! — вскричала она, всплёскивая руками. — Опять нажрался до зелёных сопель! Да когда же это кончится? И как только ваша утроба от неё не лопнет? И как только колом не встрянет в глотке это ваше питьё? — И заголосила по-бабьи жалостливо: — Да что же это на свете деется? Что за напасть такая? У него дочь невеста на выданье, а ему, что божья роса, ни стыда, ни совести! И как жить с таким человеком? Ведь только вчера предупредила, как путевого: «Смотри, Павел, завтра ехать». А он — на тебе! Взял и поехал. И про Аверкино забыл. Вот приедет Наташка, так и скажу ей: «Как хочешь, дочь, а жить с отцом нет больше сил моих!».

Пашка понимал, виноват, но про Аверкино он не забыл и потому забормотал, успокаивая жену:

— Томуська, ты погоди. Ты погоди горячиться-то! Остынь маленько. Послушай, что скажет тебе муж твой. Поедем, моя золотая! Обязательно поедем. Это я говорю, Пашка Сенькин! Утречком встанем и покатым на оленях быстрых по дорожке с ветерком!..

Он сгрёб с печи старую телогрейку, кинул на пол, брякнулся на неё всем животом и запел, засвистал своим руладистым носом.

Тамара постояла над ним, поохала, жалуясь непонятно кому на свою загубленную долю, и ушла, со злостью бросив напоследок:

— Ну, и дрыхни, затыка несчастный!

Вставать Пашка привык рано. С коровами поднимался. И нынче проснулся, как всегда, на заре, жена скотину только что в стадо проводила. Долго кряхтел, тряс головой, не мог очухаться. Страшно болела черепушка и внутренняя дрожь разбегалась по телу. Такого давно с ним не было, пожалуй, с той самой поры, когда дешёвым спиртом «Рояль» было хоть залейся. И Пашка решил, что это Сонька-ларёчница, белобрысая стерва, «палёнкой» их угостила. Вот, курва, ведь отравить могла!..

Жена была, как холодная стенка: ни разговаривать, ни смотреть на него не хотела. Пашка знал, что это надолго, до тех пор, пока всех дел по хозяйству не перемолотит.

Страдательно кривясь, он вышел во двор, сунул лохматую голову в кадку с водой, фыркнул, как морж, отряхнулся и прислушался к тошному звону внутри себя.

Солнце стояло уже выше дерев и ярко сверкало среди огненных прорех раскидистых облаков. Пахло предосенней грибной прелью.

На выгоне сыто мычали коровы и Пашка вспомнил про Аверкино, надо всё-таки ехать.

Голова по-прежнему была тяжёлой и в ней бродила похмельная смута. Он осторожно трогал её руками, словно бы боясь расколоть, крихтел и молча матерился. Но кряхти не кряхти, а технику готовь в дорогу.

Обливаясь потом, вывел из сарая свой изрядно потрёпанный мотоцикл с коляской, без номеров, без зеркала на руле, без защитного стекла. Рухлядь рухлядью, но в моторе можно не сомневаться, сам весной поршневую заново перебрал.

Поставил мотоцикл на ход, закрыл ворота. Вот и всё, теперь дело за женой, можно и ехать.

В Аверкино надо быть непременно обоим. К этому понуждала важная крестьянская необходимость. Их корова Комолка, большая умница и молоканница, в апреле разрешилась тринадцатым телком и снова принесла бычка. Оно хотя и жалко Комолку, а придётся избывать. И стара уже, и к приплоду негодная. А в Аверкино, по слухам, есть тёлочка. И очень даже достойная. Знакомый комбайнёр уж больно хвалил. Говорил, что тёлочка породистая, в мать. А мать у неё здоровенная, как вагон, и доится чуть ли не сливками. Не корова, а прямо-таки доильный агрегат: три раза по ведру молока надаивают за день.

Вот жена и загорелась, сдонжила своими приставаниями: поехали да поехали. И всё беспокоилась, кабы покупатели не перехватили. Надо бы опередить...

Оно и ехать ныне было в самый раз: и погода позволяет, и выходной объявлен по всему их АО. Вот только с головой беда. «Но ничего, — думал Пашка, — перетрём и это».

Он запустил мотор, прибавил обороты, погазовал, прогревая машину, и посмотрел во двор, привстав над водительским сиденьем.

Платок жены мелькал за тесовой оградой и Пашка крикнул с напускной строгостью:

— Долго ещё будем телиться? Ехать так ехать. Нечего время тянуть.

И, хотя Тамара не отозвалась, он видел: вышла за калитку, стала закрывать её на запор.

Пашка выждал, давая жене устроиться на заднем сиденье, ибо знал, в коляску теперь ни за что не сядет. Это уж так заведено у неё: коли не разговаривает, то и в коляску не сядет, сзади прилепится.

«Ну и лепись! — Не без злорадства решил Пашка. — По кочкам курдюк-то свой быстро растрясёшь».

И дал мотору такие обороты, что мотоцикл взревел, словно раненый зверь, и бешено сорвался с места.

Тамара и ахнуть не успела, как муж стремительно вылетел на дорогу и погнал машину по улице, распугивая кур и поднимая за собой вихри пыли.

— Вот похмельный охламон! — шлёпнул себя по бёдрам, в досаде воскликнула она.

И ждала: вот-вот хватится, вернётся за ней. Но Пашка так и хватился. Она постояла, посокрушалась в сердцах и вернулась в дом.

Пашка, тем временем, был уже далеко. Летел он с одной мыслью: добраться поскорей до места, посмотреть эту хренову красулю, срядиться с хозяевами да и выпить положенный магарыч.

Эта мысль горячила и подхлёстывала его.

До Аверкино было километров двадцать. Сущий пустяк по нынешним скоростям. Ехать надо было сначала асфальтом километров шесть, потом лесными буераками, затем широким логом сразу же за плотинкой через глубокий овраг, а перед самым Аверкино — опять асфальтом.

Встречный ветер свежил лицо, затекал в рукава, пузырьём вздувая куртку. Пересохшим ртом Пашка жадно хватал тугой воздух и низко клонил голову в блестящем красном шлеме, легонько шурился, увертываясь от табунящихся хлётских мошек.

Асфальт пролетел быстро, свернул в лес. Здесь заметно посвежело, но и руль держать стало трудней. Мотоцикл того и гляди запашется в песчаные наносы на дне крутых буераков.

Перед каждым опасным спуском Пашка, не отрывая от дороги глаз, лихо покрикивал голосом ломового извозчика:

— Поберегись! Ишь, она, турли-матурли, голому рубашка!..

И молча дивился: до чего же норовистая баба! Вот бог послал жену. Молчит, как разведчик. Никакой тряской не проймёшь...

Наконец лес кончился. Выехали на луговой простор. Впереди глубокий овраг с плотинкой. Внизу по трубам бежит вода с поливного участка.

Сама плотина узкая, двум телегам не разъехаться. И до того изувечена машинами и тракторами, что живого места не осталось. Того и гляди, наскочишь на гребень да и загремишь под овраг.

Мотоцикл перестал слушаться Пашку, запрыгал с подскоками, словно телок, разыгравшийся на лугу.

«Теперь уж точно растрясёт твою жменю, — не без злорадства думал Пашка, крепко держась за руль, — будешь знать, как на мужика дуться. Счас завизжишь ты у меня!»

И ждал, жена обхватит его и вцепится обеими руками.

Но не обхватила и не вцепилась.

«Ну и нервы, — мелькнуло у Пашки, — как стальной трос! Сидит и не пикнет...»

Перед самым высоким ухабом он не выдержал и громко крикнул: — Держись! Улетишь!..

И опять даже не пикнуло за его спиной, хотя мотоцикл резко взлетел в воздух и со смачным дребезжанием ударился задним колесом о кочку.

«Вот характер-то, а! Настоящий кремьень! Впору косу об неё точить», — с похмельным восхищением подумал о супруге Пашка.

Дальше дорога пошла по зелёному лугу. Мотор заработал ровнее. Пашка расслабился, стал руль держать одной рукой, другой, жестикулируя, помогал себе в своих громких рассуждениях,

— Ты вот что, Томуськ, ты на меня дуйся, а дело своё знай. Не очень-то показывай, что нам нужна эта их тёлка, — не поворачивая головы, поучал он под дробный рокот мотора. — Мы, мол, приехали просто так, исключительно из личного любопытства пожелаали взглянуть на вашу зебру... А вы что, разве продаёте её? Во-о-н оно как! А мы и не знали. И сколько, интересно, просите за эту одру? Что-о? Десять тысяч!? Да вы просто рехнулись, милушка. Таких и цен-то нынче нет... Тут главное — сразу ошарашить их, потом хоть голыми руками бери...

Хотя и бултыхалось в Пашкиной голове что-то похожее на пахтанье жениной маслобойки, однако он довольно искусно разыгрывал сцену воображаемых торгов.

Только и эта его искусность что-то не тронула сердце жены. Суровое молчание было ему в ответ.

Тогда Пашка зашёл с другого конца. Решил похвалой в адрес их будущего приобретения расшевелить женино сердце.

— А так она ничего, стоящая тёлка. На все сто, можно сказать! Санька говорил, зверь, а не скотина! Помнишь Саньку-то? Ну, с которым мы пиво пили на базаре, когда с картошкой ездили. Он врать не будет. Он мужик правильный. Молоток! По армии знаю...

И снова глухим молчанием были встречены его восклицания и восторги. Пашка обиделся и сам замолчал.

Мотоцикл выскочил на асфальт безлюдного шоссе и побежал веселее. Справа в полукилометре от дороги и замаячило это самое Аверкино. Деревня, как деревня, нисколько не хуже других. И её, кажется, не миновал разорительный ветер перемен. Об этом можно было судить по разрушенным фермам за околицей, по водонапорной башне без крыши, по ветряной мельнице со сломанным крылом. Она, как загадочная деревянная птица, дремала на взгорке.

Сами домишки, однако, с дороги, гляделись довольно опрятно под белизной шиферных крыш. У каждого домика свой скотный двор, за ним — огород внушительных размеров. Здешний народ испокон веков промышлял луком. В прежние времена его за копейки сдавали в заготконтору, теперь урожай везли на рынок. Тем и жило аверкинское население...

При виде этих огородов с убранным луком и Пашке вдруг вздумалось: а не заняться ли ему тоже луком? К хренам всё их АО! Хватит хребет ломать на разных чёрт иванычей. Пора собственным делом обзавестись.

Эта мысль показалась столь важной, что Пашка решил тотчас поделиться ею с женой.

— Слышь, Тамар, — крикнул он, притормаживая и прижимаясь к обочине с намерением остановиться, дать охладиться мотору да размять свои затёкшие члены, — как ты смотришь, если я бизнесом займусь? В предприниматели подамся, а?

Он загодя знал, что она ответит: «У тебя в носу ещё не кругло, липовый предприниматель! Сначала глотку поумерь».

Пашка медленно стянул с головы свой яркий шлем, выдернул из гнезда ключ зажигания, повернулся и застыл, бессмысленно хлопая глазами. Жены-то нет...

По его спине пробежал холодок и в голове мелькнуло: «Потерял!..». Он даже предполагал, где потерялась. На плотинке. Эта догадка до самого сердца ожгла его нутро. «Да она же насмерть разбилась! Там же камни!.. Как же так?.. И не крикнула даже!..

Похмелье само вылетело из Пашкиной головы. Он даже забыл, зачем ехал сюда, за каким делом. Завёл мотор и погнал назад машину. Ехал и клял себя: «Дурак ты, дурак, нет, чтоб оглянуться?..»

Картины одна ужаснее другой рисовались в его смутном мозгу. Вот Тамара беспамятно лежит под плотинкой на острых камнях, раскинув белые руки, вся в крови. Вот она очнулась, зовёт его слабым голосом... «Ах, ты, мать честная, беда-то какая!.. Только бы живой застать!.. А что, если?..»

Дальше Пашка боялся думать и летел в ошалелом беспомыслии, ничего не чувствуя и не замечая вокруг.

Мотоцикл был готов разлететься на куски, гремел и дребезжал каждым винтиком, каждой клеточкой своих железных суставов. Страдая, Пашка думал: как же он будет жить-то без неё, без своей Тамары? Одному как?..

Услужливая память подсовывала ему картины, одну щемительней другой. Вспоминалось, как парнем ухаживал за Тамарой, как с гитарой стоял под её окнами, как свадьбу справляли, как в роддом ездил, когда дочку родила. И не было никого на свете сейчас дороже и родней его жены. Зверь!.. Вот зверь! Сам погубил своё солнышко!..

И такая страшная тоска и жалость сжимали Пашкино сердце, что на глазах выступали слёзы.

Опамятовался лишь на плотинке. Соскочил с мотоцикла, заглянул вниз и ничего не увидел, кроме мирно бегущей воды и груды влажного бутового камня прямо под насыпью.

Не веря себе, побежал к пологому скату, обдираясь о жёсткий чи-

лижник и бурьянные заросли, скатился на дно оврага к потоку, выбегающему из труб.

Течение было мелким и прозрачным, оно ударялось о камни и делилось на два рукава. Камни были белыми и сверкали блёстками мелких капель. Вода катилась с лёгким звоном, дробясь и переливаясь, даже в глазах рябило от её мелькающего бега.

Каких-либо признаков, что здесь мог разбиться человек, не было и в помине. Всё было, как и должно в дикой природе, тронутый человеком: дохлая мышь качалась на пучке соломы, прибитой к камням водой, размокшая коробка из-под сигарет, пустая бутылка с отколотым горлышком возле зелёного бережка, толстая пучеглазая лягушка, с тупостью сытого равнодушия взирающая из реденькой осоки.

Пашка зачерпнул горсть воды, освежил лицо и, охланув, немного успокоился. Нет, не здесь потерял жену. Значит в лесу потерял. И это хорошо. Там песок и Тамара не могла убиться насмерть. Разве что ушиблась. Но это ничего, это поправимо. Он сам будет ухаживать за ней. Она ведь тоже ухаживала за ним, когда ему сцепкой ногу придавило.

В лесу Пашка часто останавливался, подолгу кричал. Но никто так и не отозвался. И он решил, что Тамару, наверное, грибки подобрали. И она теперь уже дома ждёт его.

С этой сладкой мыслью он и подкатил к своему двору.

Отворил калитку. И вот она, его Тамара, босая, стоит на крылечке в розовом переднике, с мокрой тряпкой в руке, такая близкая и родная. И смотрит на него без всяких обид и зла.

Пашка едва не задохнулся от нахлынувшей радости.

— Тамара! Томычка! — бросаясь к ней и едва не плача, закричал он высоким ломким голосом. — Как же так? Как ты потерялась? Глянул, а тебя нет... Думал, с ума сойду!

Он подскочил к ней, обхватил её колени и уткнулся в них лицом.

Она смотрела на него с чувством лёгкой досады и нежного материнского превосходства. Потом бросила тряпку в ведро и произнесла со сдержанной строгостью:

— Глаза надо разувать, прежде чем ехать. Не затылком смотреть на жену... А то полетел и не оглянулся.

И с высоко поднятым подбородком пошла в избу, ладная и крепкая во всём.

Пашка смотрел на неё влажными глазами и ресницы его дрожали...

ЖАВОРОНКИ

Машина бежала легко и споро. И настроение у Крохина было благостным.

Было светло и утешительно от быстрой езды, от солнечного мартовского дня; оттого, что себя прокатил, развеял, так сказать, скучное однообразие будних дней, а главное, мать проведаль: исполнил сыновний долг.

И Крохин вздохнул, подумав о матери: одряхла старушка, вконец одряхла, а всё ещё не сдаётся, шлёпает по хозяйству, бегают, как заводная. Только ноги вот плохо слушаются. И хочет поторопиться, а они у неё, словно тыквенная плеть.

Эхе-хе, времечко, ты время, что только вытворяешь с людьми! Давно ли сам был зелёным мальчишкой, а теперь вот старше отца стал.

И Крохин снова вздохнул, на этот раз более глубоко. Грустная меланхолия затуманила его взор, даже глаза повлажнели.

«Это ещё чего?» — возмутился он, сердясь на себя, и стряхнул свою грусть-меланхолию. Чего горевать-то? Ноги-руки на месте, голова на плечах. Побывал в своей Епифановке, проведаль мать, помянул детство, могилу покойного родителя навестил. Всё честь по чести. О чём ещё думать?

А день-то, день-то какой разгорается! Подобные светлые дни об эту пору лишь только и случались в детстве.

Крохин мысленно похвалил себя за то, что ловко подгадал со своим приездом в родительский дом. Под самый праздник подгадал! Под самые Сороки. Ни сном, ни духом не чаял, а вот угодил!..

И он развеселился, поддразнивая себя. Какие тебе Сороки? Тоже выдумал, голова. В Епифановке их сроду Жаворонками называли. Сороками-то никто и не знал. Все только и говорили: Жаворонки. Оно и правильно, что Жаворонки...

Эх, сколько радости являл мальчишескому сердцу этот день! Бывало, они с братом ещё в постели вытягиваются, а мать уже хлопочет с самой утренней рани. И они слышат сквозь призрачный сон, нет, даже не слышат, а как бы нутром чувствуют праздничные материнские хлопоты в её запечном закутке.

Вот она раскатывает тесто на мучной доске. Вот лепит из него своих сдобных птах. Вот задвигает их на противне под кирпичный свод жарко натопленной печи и железной заслонкой плотно прикрывает печное чело.

Запахи по всей избе, одуреть можно! И сон на ум не идёт. Но они всё ещё нежатся с братом, прикидываются сонными, ждут, когда мать сама придёт за ними, тихонько склонится над их постелькой да и воркующе засмеётся:

— Дрыхните, сони эдакие! Хватит вытягиваться. Жаворонки вон заждались, все глаза проглядели, а вас всё нет. Вставайте, бегите встречать.

А сама на кухню спешит к своей стряпне, укрытой на столе белым полотенцем.

Они вскакивают и наперебой бегут следом. И вот они, её жаворонки: пышные да румяные, с тонкими клювиками, с просянными зёрнами глаз. И такие стремительные, что, кажется, прямо со стола готовы взлететь в небо. И все-то пёрышки на их во весь мах распахнутых крыльях чётко обозначены, и хвост распушен широким веером. Даже сердцу радостно оттого, что мать такое чудо сотворила!

На её чудо, бывало, приходила полюбоваться их соседка, покойная бабка Дуня. На что уж большой привередой была, а тоже дивилась:

— Ну, Маньк, ты прямо колдунья! Как живых налепила.

Они с братом накидывают на себя пальтишки, берут жаворонков, срывают шапки с гвоздя-вешалки и рысью летят за околицу на деревенский выгон.

Снег набух, просел и выгон весь, как есть, в тёмных пятнах проталин. А на нём уже вся епифановская ребятня собралась.

Облепят они весёлым выводком голый склон прогретого солнцем взгорка и, хвастаясь друг перед дружкой, поднимут к небу своих сдобных птиц и заголосят дружным ладом:

*Жаворонок, прилети,
Весну нам принесли.
Зима нам надоела,
Хлеб и сахар весь поела.*

Откуда оно взялось, это нехитрое заклятие, теперь никто уже и не скажет. Наверное, от дедов и бабок. А может, ещё и дальше откуда...

И ведь срабатывало. Прямо у них на глазах, словно по волшебству, в высокой прозрачной синеве, объятай солнцем, смотришь, вот он и замелькал, затрепетал маленький серебристый комочек, залившись своей радостной трелью на всю желанную округу.

Правда, в иные годы выпадало и ненастье в этот праздник. Разыгрывалась пурга, да такая, что глаз не поднять. Налетая с юга, она кипящей лавой несла мокрый снег, сумеречно застилая окна.

Мать посмотрит на улицу да и вздохнёт:

— Ну, поднялась! Зги божьей не видать! Не иначе как жаворонков гонит.

И точно. Только развиднеется деревенская даль, как уже слышно: прилетели, звенят вовсю. Кажется, само небо возвещает об их счастливом возвращении...

Было, было всё, да ушло безвозвратно. Сколько воды утекло с тех пор в их горестно примолкнувшей речке, а душа так ничего и не забыла из тех мальчишеских лет. Ни материнскую стряпню, ни детские вос-торги, ни саму песнь жаворонков. До чего же сладостен был этот вещий птичий звон. До сей поры сладостен.

Вроде бы и сам вырос, детьми обзавёлся, а всё равно, наезжая в деревню, как и в прежние дни, безоглядно окунаешься в детство. Всё так же готов выходить за дворы на свой заветный бугор и, напрягши слух, чутко ловить живую музыку внешнего неба. Но, увы, нет её. Не стало слышно жаворонков. Пропали. Совсем пропали. Лишь мать всё ещё печёт своих сдобных птах. Для него и для внуков. Только её стряпня и осталась светлым напоминанием о том пролетевшем времени.

Крохин затылком упёрся в подголовник сиденья, прибавил газ и стремительно выскочил на гребень Фрумкиной горы, за которой и не далее как в двух километрах открывались виды их небольшого городка, плавающего в лёгкой серости котельного дыма да мутной копоти дорожно-асфальтового производства.

Впереди замаячили две фигуры гаишников. Крохин заметил их и придержал машину.

Один из гаишников, годок ему с виду, с погонами сержанта, высокий, прямой, как палка, вышел навстречу и повелительно взмахнул жезлом, указав на обочину дороги. Крохин послушно свернул, остановился и приспустил боковое стекло.

— Что, есть проблемы, командир? — не выходя из салона, с нарочито весёлой бодростью спросил он сержанта.

Гаишник с казённой неприветливостью неспешно подошёл, встал, широко расставив ноги, хмуро представился:

— Инспектор дорожной службы сержант Лямин. Ваши документы...

Крохин, пошарив в бардачке, подал сержанту права с техпаспортом на машину. И, пока инспектор разбирался с документами, стал разглядывать обоих гаишников.

Сержант был приятен лицом, курнос, с волнистой русой прядью из-под сбитой на затылок шапки. В напарниках у него оказался смуглый степняк с хитро прищуренными глазами, низкий и округлый, как репка. Его короткие ноги в белых зимних бурках казались кривоватыми. И носил он себя вразвалочку, тяжело и косолапо.

Степняк тоже подошёл к машине и с озабоченной дотошностью принялся обследовать номера и колёса.

Сержант, проверив документы и не найдя ничего подозрительного, не спешил расстаться с ними, задумчиво похлопывал о свой жезл и всё чего-то выжидал, с любопытством поглядывая на Крохина.

— Что-то не так? — беспокойно завозился Крохин.

— Да нет, всё та-а-к, — медленно пропел сержант, легонько щурясь, — в том-то и дело, что так, — повторил он и велел показать огнетушитель.

Крохин показал.

— М-да, — иронично хмыкнул сержант, не переставая бросать на Крохина свои незамысловато-придирчивые взгляды. — Аптечка, конечно, отсутствует? — И в его глазах сверкнуло что-то, похожее на надежду.

— Отчего же? — возразил Крохин. — Вот она.

И достал аптечку.

— Пусть раскроет! Пусть раскроет! — вдруг в догадливом озарении крикнул наблюдавший за ними степняк.

— Да-да, — поддержал его сержант. — Именно так, пусть покажет. Может, там какая фига запрятана. Может, вместо препаратов самогона в этой коробке?..

Крохин обиженно посопел и подал сержанту аптечку. Инспектор внимательно проверил её, пожал плечами и с недовольством глянул на своего напарника.

Степняк и здесь не растерялся.

— Аварийки!.. Аварийного знака у него нет! — радостно воскликнул он, блеснув прижмуренными глазами.

Крохин даже обиделся: как это нет? И сердито вылез из машины. Открыл багажник, порылся в нём, извлёк из его нутра аварийный знак, который был в чёрном дерматиновом чехле и гляделся, как новенький.

— А это что?

Степняк широко раскрыл глаза, посрамлённо махнул рукой и отвернулся. Сержант тоже не обрадовался. Он отступил на шаг и в растерянности принялся похлопывать себя жезлом по стёганой штанине.

— Ну, ты даёшь! — обескураженно выдавил он, бросая недобрые взгляды в сторону своего напарника.

Тот тоже был не менее обескуражен. Его плоское ноздрястое лицо напряглось и поплыло жёлтыми пятнами, как блин, запылавший на раскалённой сковородке. Он хотел что-то сказать, но лишь виновато вздохнул и, завидев машину, мелькающую вдалеке среди солнечной ясности, коршуном бросился ей наперехват.

Сержант всё ещё топтался на месте в своём бестолковом недоумении и не знал, что предпринять. Выражение какого-то злого упрямства читалось в его глазах. Он наклонился к Крохину и тихонько спросил:

— Пил вчера?

— Ни-ни! Ни боже мой! — помотал головой Крохин. — Весь вечер с матерью за чаем...

— Жаль, — с лёгкой иронией посочувствовал сержант и предложил, доверительно улыбаясь: — Может, тебе денег дать?

— Это ещё зачем? — удивился Крохин.

— Ну, чтоб выпил, — с усмешкой объяснил сержант. — Понимаешь, план по задержанию пьяных горит... Вот и помог бы.

И сержант поощрительно усмехнулся.

— Нет уж! Спасибочко за доверие! — деланно засмеялся Крохин, укладывая аварийный знак в багажник. — Упаси боже, как говорится, от такого плана.

Сержант смотрел, как он копается среди рыбацкой одежды, многочисленных узлов, шлангов, ящичков с инструментом, и с заметной досадой поигрывал полосатым жезлом.

Крохину подвернулась сумка с материнскими гостинцами. А в ней — пакет с её жаворонками. Он достал сдобу и предложил сержанту: — Вот, могу жаворонками угостить. Хочешь?..

Инспектор перестал играть жезлом, замер с растерянным удивлением и во все глаза уставился на жаворонка. Лицо его вдруг прояснилось, словно какой-то невидимый лучик ударил сверху. И сухие обветренные губы сержанта тронула мягкая, почти мальчишеская улыбка. Глаза его наполнились радостью восторга и неподдельного ребяческого изумления.

— Ты смотри! — вытягиваясь во весь рост, с шумным выдохом воскликнул сержант. — Ты смотри! — повторил он, привставая на цыпочки. — Диво-то!.. Диво-то какое! Объявились!.. Я уж и забыл. А они вот!.. Ишь, какие румяные! Прямо настоящие!

Он высоко поднял над собой жаворонка и стал потряхивать его, как это делают завзятые голубятники, приманивая заплутавшую птицу.

— Жаворонки возвратились! Жаворонки прилетели! — как сумасшедший, закричал сержант, резко запрокидывая голову.

С него слетела шапка. Но он, кажется, не заметил этого.

И столько неподдельной радости было в его чистых, по-детски сияющих глазах, в его истошно-звонких воплях, что, казалось, ещё мгновение и он задохнётся от распирающего его восторга.

Крохин и сам невольно поддался этому его ребячьему восторгу.

Он смотрел на сержанта, снисходительно улыбался и радостно думал: «Вот сволочь, посмотри, тоже помнит!..».

ЖЕЛАННИЦА

— Мамк, где ты? Я тебя совсем потеряла.

Молодая, крупная девица с толстощёким заспанным лицом, выпятив высоко торчащие под ситцевым халатом груди и подперев руками бёдра, со двора кричала работающей в огороде пожилой женщине в красной кофте и белом платке.

— Здесь я, дочк, здесь! Никуда не потерялась. Сейчас вот добыю постать, приду и обед соберу, — не поднимая головы и не переставая орудовать мотыгой, кротко отозвалась женщина.

— Успеешь добыть. Совсем заработалась. Я даже ждать тебя устала. Даже есть захотелось.

Она постояла ещё среди двора, повертелась, отмахиваясь от мошек, и с недовольным видом вернулась в избу. За ней устремился рой кипящей мошкеры, но смешался на крыльце, столкнувшись с дубовой входной дверью.

Эти мелкие кровожадные твари густым столбом вились и над пропалывающей картофель женщиной. Они лезли ей в рот, в нос, застилали глаза, облепляли уши, шею, однако полощница, увлечённая работой, как бы не замечала их. От многочисленных укусов у неё припухли веки и мочки ушей.

Пока женщина допалывала грядки, дочка ещё дважды выходила из дома, досадливо смотрела, как мать работает, и опять торопливо пряталась в прохладу деревенской избы.

Было знойно и горячий воздух звенел от гнуса.

Выйдя в третий раз, дочка крикнула с неудовольствием:

— Мам, ты работаешь и работаешь, а в избе воды нет. Пожалела бы себя, чего так изнуряться? Время-то обед, отдохнуть пора! И мошкеры, наверное, загрызла.

В её голосе угадывались неудовольствие и досада.

— Всё, всё, бросаю, дочк, — послушно ответствовала мать и, оставив на меже мотыгу, торопливо направилась к дому.

Дочь дождалась её и они вместе поднялись по ступеням крылечка. Затем так же вместе вышли на улицу. Мать несла пустое ведро, а дочка шла следом. Возле колодца она встала позади матери, выдернула из земли кучерявый стебель лебеды и, обмахиваясь им, принялась наблюдать, как мать, опуская в колодец тяжёлую бадью, вертит деревянный ворот.

Пустая бадья громыкала, задевая о стенки сруба, дочка хмурилась и озабоченно советовала:

— Ты, мам, легче крути-то, а то и сама задохнёшься, и бадью поколотишь.

— Ничего, дочк, я привычная, — отвечала мать.

Наполнив ведро водой, она подхватила его и медленно понесла затравешней тропинкой, выгнувшись от тяжести всем своим старым высохшим телом.

Дочка тащила следом и сочувственно говорила:

— Эх, мам, совсем ты у меня заработалась! Вот если бы имела я много денег, дала бы тебе, сколько пожелаешь, и сидела бы ты на печке да семечки пощёлкивала.

— Спасибо, дочк, это не про нас разговоры!..

В этот день дочери надо было ехать в город. И мать пошла провожать её на электричку. До станции было километра два, всё время по асфальту.

Мать несла туго набитый рюкзак с деревенскими гостинцами, а дочка шла рядом и весело рассказывала о своей городской жизни.

— Комнатёнку небольшую сняла, а денег уйма уходит. Хорошо, что директор фирмы взялся оплачивать из личных средств.

— Он, что ж, неженатый у вас? — обливаясь потом, с интересом спрашивала мать.

— Какой там неженатый! Третью заводит... Секретарша окрутила... Недоволен теперь. А я ему говорю: «Федь, где у тебя глаза раньше-то были? На этой глисте и надо было тебе жениться? Она же, как сухая палочка». А он мне знаешь что, — ладошкой прикрывая рот, смущённо засмеялась дочка. — Он мне говорит: «Вот если бы тебя, Женя, взять в жёны, густой получился бы навар».

И глаза дочери возбуждённо заблестели.

— Это он, что же, надсмехается, что ль?

— Да нет, мам, просто мы шутим так... Он ласковый и приятный собой. И ко мне хорошо относится.

Лицо матери заметно посуровело, но она ничего не сказала. Лишь, приостановившись, подкинула рюкзак повыше на спину себе и расправила лямки.

— Режут, наверное? — посочувствовала дочь и предложила: — Давай, я травки подложу под лямки-то, всё не так будут впиваться в плечи.

— Ничего, дочк, мне это не внове. Вот как ты там понесёшь до трамвая-то?

— А меня Витя встретит,

— Это, что ж, жених, что ль? — с лаской в голосе спросила мать.

— Все они женихи, пока не спят! — с весёлой беззаботностью ответила дочь. — У него своя есть кляча, да только он в ней не нуждается.

— Господи, как вы там живёте? — подивилась мать. — Стыдоба одна.

И она нахмурилась.

Они поднялись на пристанционный перрон, засыпанный серым гравием. Мать свалила с себя рюкзак и стояла, тяжело отпыхиваясь. Дочь побежала в кассу покупать билет.

Подошла станционная уборщица, сухая долговязая женщина с ведром и веником под мышкой.

— Христос с тобой, Нюра! — поздоровалась уборщица.

— И тебе доброго здоровья, Дуся!

— Дочку, что ль, провожаешь? — глядя вслед девице, спросила уборщица и похвалила: — Ничего, ладная из себя. Вон какие телеса-то!

— Провожая вот! — радостно сообщила мать. — Подмогнуть приезжала. Уж такая желанница! Господи, покоя никакого нет!.. За что ни возьмусь, она тут как тут: «Давай, мам, я сама. Пожалей себя, поменьше работай. Вон как износилась!».

— Чего и говорить, завидная девка! — скорбно вздохнула уборщица и пошла по своим делам, охая и приговаривая: — Господи, господи, грехи наши...

ГЛАШИНА ОСЕНЬ

Господи, тоска-то какая!

Глаша ходит по избе, скрипя стылými половицами, и не знает, куда девать себя.

Теснило дыхание, шумело в голове, сама себе противна. Не жизнь, а ночь осенняя. А всё это Зойка, младшая дочка, разговор с ней.

Позвонила утром по мобильнику, хотела узнать, долго ли ещё собираются топить её в дырявой избе? Скоро ли заберут к себе? Холодно ведь, изба совсем перестала тепло держать. Прошлую зиму крысы вволю похозяйничали, всю завалинку источили, из подпола сквозняками несёт.

И пожаловалась Зойке: «Сколько просила зятьёв, что старшего, что твоего Серёженьку: «Поправьте, поправьте избу, завалится, прибёт, к шутам...». Ни один, ни другой не почесался.

Тонькин сразу выговаривать стал: «Пусть поправляет тот, кому машины покупали». Вроде бы как на твоего намёк. А ему, видишь ли, ничего не покупали! А кому же деньгами-то совали?... То тысячу, то две. Аль забыл про кооператив и в чьей квартире живёт...

И твой хорош. Одна отговорка: некогда ему.

Эх, дети, дети. Не жалеете матери. Застынешь, как овечий хвост, срамоты не оберетесь от людей».

Зойка дышала в трубку и томительно молчала, видно, думала, как сподручнее отбрехаться. А потом будто с цепи сорвалась. И понесла по кочкам:

— Хватит тебе ныть-то! Ну, что ты всё ноешь? Совсем из ума выжила со своим склерозом. Ну, не можем мы тебя сейчас взять. Угоришь ты у нас. Потом сами же будем виноваты. За матерью недоглядели, живую уморили.

— Это с чего же я угорю? Чать, у вас паровое отопление.

— А мы дверь покрасили. Краской у нас воняет.

— Подумаешь, дверь, чать, не казарму покрасили... День-два и высохнет ваша краска.

— А вот и не высохнет! Хорошо бы, к Новому году подсохла... Краска-то плохая.

— Зачем же такую покупали?

Молчит, сказать нечего.

И никакая краска тут не виновата. Не хотят забирать в зиму. Надоела. Жажилась на этом свете,

Когда Васенька умер, всё лишнее добро, вплоть до сепаратора,

Зойке отдала. Понадеялась на неё, меньшую, думала, до смерти будет покоить. А она напокоила! Две зимы подержала, а теперь вот краской у неё воняет... Эх, Господи, а уж рассыпалась-то как!.. Всё трещала, лобызалка чёртова: «Правильно, мама, зачем тебе это барахло? Будешь у нас, как красное яичко в гнёздышке...».

Вот тебе и яичко! Вот тебе и гнёздышко! Зима на носу, а они и не почешутся. Томись тут одна.

— Вы курей хотя бы пожалели, — напомнила Зойке. — Сарай-то решето решето. Вчера мокрая морось была, а в ночь заморозило. Они, бедные, ледышками обросли.

— Заберём, заберём, ничего им не сделается, — только и сказала, и трубку отключила.

Вот и звони ей!..

«Эх-хе-хе, подохнуть, что ль, от такой жизни?»

И с этой думой, скорбно вздыхая, как была, в фуфайке и валенках, Глаша вываливается за порог.

Встала на крылечке. Стылым воздухом ноября сразу же окатило её. И хотя он прозрачен и ядрен до самой лесной полосы, но уныл и скучен, как сама осень.

Глаша, держась за перильца, осторожно спускается по шатким ступеням, они скрипят и колеблются под ней. Она выходит за калитку, выбредает на дорогу, одетую в свежий асфальт, оглядывает сначала один конец улицы, затем — другой. Никогошеньки не видать, точно вымер народ. Оно и есть, что вымер. Кончилась их деревня, расплзлась, как порушенный муравейник. Молодые разлетелись по чужим сторонам, а стариков, почитай, всех на погост перетаскали.

Дни стояли светлые, по-осеннему скучные. Снег ещё не выпадал, хотя ночами случались морозцы довольно крепкие. А после вчерашней лёгкой мороси деревья блестели, как стеклом налитые, голая земля тоже была в льдистых изразцах и гудела, как чугу́н.

Солнце было ещё милостивым к природе. К полудню начинало пригревать и вспотевшие крыши роняли скупую капель.

На пруду по всем дням ватажились вороны. Они то беспорядочно взлетали, то шумно падали вниз к текуче журчащей протоке, с краёв обросшей тонким ледком, выхватывали из неё зазевавшуюся рыбёшку.

За прудом туманно проступали избы недалёней Белояровки. Где-то там среди этих изб затерялась и завалившаяся избёнка мужниной сестры Ольги. Но они с золовкой давно в разладе и давно чужие.

Над Белояровкой и дымов не видно. А у них из всей Куровки дымятся лишь три трубы: в дальнем конце у дачников, решивших зимовать в деревне, да у стариков Лукашёвых и Сухоруковых.

Глашина соседка Алевтина, тоже пенсионерка, прошлым летом переехавшая к ним из города на постоянное жительство по милости

сынका-дармоеда. Соседка избу пока не топик, обходится «козлом», воруя электричество. Её забудыжка только и знает, что воровать да коноплю парить.

«Вот охламон, пра, охламон!» — с долей презрительной досады подумала о нём Глаша.

По-иному о сыне соседки она и думать не могла. Не далее как в прошлое воскресенье он, можно сказать, выставил её из избы. «Ты, — говорит, — тётка Глаша, больно часто ходишь к нам!»

И при этом как-то нагло рассмеялся прямо ей в лицо.

Её тогда словно кипятком ошпарило.

«Надо же, паскудник, как с девчонкой обошёлся! Ишь, заходилась к ним! — вновь и вновь распяляла она себя. — И Алевтина хороша. Не могла укорта дать своему захребетнику. Квартиру профукали в городе. Теперь вот до деревни докатились».

С этого раза Глаша к соседям — ни ногой! А к кому ещё идти? Сухоруковы, что сам Миколай, что его бабка Марина, оба глухие, как те-тери. С ними говорить — голова заболит. Ты им про Ерёму, они тебе — про Фому.

А к Ильке Лукашёву сама не пойдёшь. Не человек, а мгла крапивная. Смотрит на тебя, как на мокрого таракана. Ни здравствуй, ни прощай, ни добрых слов, ни утешений. Надуется, точно волдырь, и водит по сторонам своими совиными буркалами. Сроду в глазах не рассветает, тьма тьмой. И как только Матрёна живёт с таким бирюком?

«А сама-то как?» — вдруг остро уколола её язвительно мелькнувшая мысль.

Она закусила губу и нахмурилась. Лицо сделалось горячим от прилива крови и в голове прибавилось шума. И этот шум отозвался дальним, давно знакомым механическим звоном. Глаша напряглась и замерла. Почудилось, вроде бы трактор шумит в конце Куровки. И вроде бы Серёжин по звуку.

Его трактор она узнавала из десятка других. Он не рявкал, не гремел, как иные при нагрузках, а словно бы металлически вздыхал и тонко позванивал. И было в этом звуке что-то живое и близкое.

И теперь, слышав его, Глаша радостно встрепенулась и устремилась навстречу. И о дочери подумала уже с ласковой теплотой: «Опомнилась всё-таки. Протурила своего Серёжу...».

Зять каждую осень приезжал за ней и непременно на тракторе с тележкой, чтоб одним рейсом забрать весь её скарб вместе с нехитрой живностью.

Они торопливо укладывались, наглухо закрывали ставни, запирали избу, заколачивали досками сенную дверь. И она, похваляясь перед зятем, по-молодому ловко влезала в кабину. Он весело трогал трактор. И пока был виден двор, Глаша нетерпеливо оглядывалась на свой дом, до весны осиротевшее гнёздышко...

Странные чувства слетались к ней. Тут была и жалость к себе, к своему дому. Была и крылатая лёгкость оттого, что не забыли старуху, не дали замёрзнуть в холодной избе. Но и зыбкая тревога шевелилась на дне её души: как встретит дочка? Какой будет на этот раз её зимовка в зятевой квартире?..

И всё-таки перевешивало то, что не забыли, не оставили одну.

И вот теперь, заслышав трактор, она едва ли не рысью бежала ему навстречу. Ей нравилось встречать зятя подальше от своего двора, где-нибудь в конце деревни, чтобы издали помахать ему рукой, а затем проехать с ним по улице у всех на виду и с приветливой горделивостью из кабины кивать головой и Матрёне Лукашёвой, и бабке Марине, и всем, кто встретится. Пусть полюбуются люди, позавидуют ей. Вот какие у неё заботливые дети и какой душевный зять. Сам приехал за своей тещей!..

Глаша минула поворот, за которым открывалась вся улица, весь её порядок до самой росстани со старой ветлой на взгорке. Однако никакого трактора, к своему удивлению, она не увидела. Глаша остановилась, переводя дыхание, и беспокойно завертела головой, не понимая, куда он подевался, трактор её зятя?

Прислушавшись к себе, она вдруг поняла, что не было никакого трактора, что сама себя по-старушечьи глупо обманула: это в голове у неё шумит проклятый склероз.

И она готова была досадовать на кого угодно, и, в первую очередь, на сельскую фельдшерицу. Тоже выдумала склероз!.. Прежде никакого склероза не знали. А теперь только и долдонят то про склероз, то про другие болезни. Хоть радио не включай. Сорок хворей найдут и лекарство припишут. Давай, лети, народ, насыщай их деньгами!..

Глаша сорвала с головы платок, крепко сдавила уши и резко потрясла головой.

Шум тотчас прекратился и в воздухе повисла тишина, такая бездонно-оглушительная, что даже не стало слышно ворон на пруду. И всё вокруг было объято этой пронзительной тишиной, оставаясь по-осеннему скучным и привычным: суетливые воробьи по голым палисадникам, чья-то серая кошка, охотящаяся за ними. А ещё худая, с ввалившимся животом собака, брошенная дачниками, неприкаянно слонялась вдоль порядка, роясь в старых помойках.

У Глаши даже ёкнуло под сердцем. Ей стало жаль собаку, захотелось взять её к себе. Но тут же горячо обожгло: «А куда я её? Сама, как воробей на ветке. Не знаешь, когда вспорхнёшь и куда полетишь. Саму бы кто пригрел...».

И всё-таки желание накормить несчастную собаку не оставила её. Она крикнула ей и позвала с собой, но животное посмотрело на неё с недоверием, повиляло хвостом и скользнуло в бурьяны заброшенного подворья.

«Вот и собака-то тебя знать не хочет», — глотая слёзы, подумала Глаша, повернувши назад.

Она шагала, крепясь и не давая себе заплакать. Во дворе собрала кур под дырявый навес, принесла зерна. Затем принялась готовить на вечер дрова и за работой потихоньку успокоилась.

Дальше не знала, чем заняться. Увидела в палисаднике беспорядочно растрёпанные кусты смородины и обрадовалась: вот ещё дело нашлось. Зять всё собирался подвязать смородину, да так и не собрался. А в зиму оставлять — снегом поломаёт.

Работа не только успокаивала её, но и увлекала. Всякому делу она отдавалась со всей своей деревенской страстностью и забывалась за ним.

Но теперь и работа не всегда была в радость. Думы, одна навалочнее другой, ворочались в голове. О чём только ни думала! Чего только ни вспоминала! О подступившей старости думала, о детях, об их чёрной неблагодарности, о своей молодости, пролетевшей, как один день.

Вспоминалось, как замуж выходила, как в замужестве жила. А выходила не по любви. Не до любви было тогда им, невестам военной поры. Их женихи, весь, как есть, деревенский призыв двадцать шестого года, полёг где-то на подступах к вражьему логову. Кинули в самый огненный омут молодых да необстрелянных, вот и полегли, как курята под топором.

Отец погиб ещё раньше, в августе сорок первого, под Ельней.

Изо всех сверстников только и повезло будущему её мужу Васеньке Брюханову. Его на Дальний Восток угнали. А там война иной была. Кто прежде на Берлин шёл, её и за войну не считал.

Васенька водителем танка был и тоже хвастался, дескать, по пятьдесят вёрст порой за день отмахивали. До самого океана гнали японца без передыха. Одной маньчжурской пыли до одури наглotalись, даже язык деревенел, в наждак превращался.

А вот Илька Лукашёв и этого не видал. По-сухому войну прошёл и ног не замочил. У него в призывной комиссии свояк сидел. Он и посодействовал родичу. Как только зачали двадцать шестой год подчищать, Илька, недолго думая, тотчас к свояку полетел. Прихватил с собой ведро топлёного масла да бочонок мёда. Вот и отмазался мёдом. Непригодным нашли к строю. Чуть ли не сифилитиком признали. А этот сифилитик, прости Господи, готов был каждой солдатке под подол залезть.

В конце войны к ней вздумал свататься. Только она сразу же и отшила его.

— По мне с колхозным хряком лучше миловаться, чем с тобой, урильник поганый! — бросила ему в лицо.

Ильку аж наизнанку вывернуло, готов был с кулаками броситься, но сдержался. Она и сама была девкой не промах, набила руку возле своего горемычного трактора, могла и сдачи дать.

Ильке только и осталось, что прошипеть, ощерившись:

— Ну и живи пустой колодой!

Он был ненавистен ей уже потому, что с такой харей отсиживался за спинами стариков и вдов, а её отец тем временем в сырой земле лежал. И жених погиб мученической смертью.

Всей страстью своего девичьего сердца любила она тогда Осипа Суханова. Уж так любила, что душа взлетала в небо. Да не судьба им быть вместе. Сгорел её Ося, в самолёте сгорел. Он стрелком-радистом был.

Как узнала о его смерти, земля ушла из-под ног. Весь белый свет помутился. В пруд топиться побежала. Мать догнала, за косы ухватила, домой приволокла. Разнагишала, одежду заперла в сундук, саму на печь загнала и давай точить:

— Ты чего это удумала, девонька? Кому чего доказать хочешь? Он погиб, отец твой голову сложил, ты утопишься, с кем останешься?.. Жизнь, девонька, ой, какая большая! В ней всякое случается: и сладкое, и горькое. И всё надо уметь перемочь. Для того и живём, чтоб свои человеческие страсти утолить. А ты чего, дурёха, вздумала?.. Его теперь не вернёшь, а себя потеряешь... Родители последние жилы тянули, растя тебя, а ты вон чего!.. Вот возьму рубель да отглажу так тебя, что ни лечь, ни встать будет! Сиди у меня на печи и не рыпайся!..

Глаша слушала её и хлюпала носом. Она тогда проплакала весь день и уснула, не помнит как.

Потом ходила, как слепая, не чувствуя себя. Время, однако, всякие горести лечит. Вот и её рану, словно живой водой, затянуло. И с ней прошло. Потихоньку стала в клуб ходить. Припевки с подружками припевать, «цыганочку» с выходом отплясывать. И трактор свой, старенький «Универсал», мучить в поле. Вместе с бригадиром дедом Никитой они без конца лазили под его замасленное брюхо, копаясь в железных потрохах. Тогда всё они, деревенские девчата, кто трактором управлял, кто на прицепе сидел.

Бывало, прибежит затемно с поля, отмоеся от керосина и грязи, и зальётся на вечёрки в колхозный клуб. Молодость, она и есть молодость. От неё никуда не спрятаться, не деться.

А тут и война кончилась «Пустой колодой», как предрекал ей Илька, она не осталась. Хоть и не по любви, а замуж вышла. Изю всех женихов в деревню тогда и вернулся один Васенька Брюханов. Вернулся возмужавшим, целым, невредимым, настоящим мужиком стал.

Вот он и начал за ней ухлёстывать. Васенька ещё со школы зарился на неё, а ей не милы были его ухаживания. Пряталась, бывало, а он всё равно не отступал, как мокрый телок, следом ходил.

Подруги роптать стали: чего, мол, парня, как ручного медведя, за собой водишь. Любить, так люби. Не хочешь, другим не мешай. А то ни себе, ни людям. Как собака на сене...

В то лето колхоз рано с хлебопоставками рассчитался. В конце августа и с основными работами в полях убрались. Свободней стало ды-

шать. Молодёжь до самой зари в клубе под гармонь отплясывала. А тут кино привезли «Свинарка и пастух».

Вышли они из клуба всей девичьей ватагой, к домам направились. Ромка Максаев, семнадцатилетний паренёк, на гармошке играет, девчата «страдания» поют.

Она слегка приотстала от подруг. Васенька рядом идёт, сапогами шлёпает, длинный, как жердь, худой и нескладный. Самокрутку за самокруткой палит, волнуется.

— Хватит чадить-то, — прикрикнула на него, — весь воздух продымил своим табачищем.

Бросил окурок, в песок втоптал. Недовольно сопит, а слушается.

Вот и двор их, обнесённый старым дощатым забором, отцом ещё ставленный. Свернула к дому, он — следом. За щеколду взялась, а Васенька вдруг объявляет:

— Сватов завтра пришлю. Пойдёшь за меня?

Её будто огнём ожгло. Аж вскрикнула:

— Ещё чего! Как придут твои сваты, так и уйдут не солоно хлебавши.

И калитку резко захлопнула. А он кричит ей вслед:

— А я к матери пришлю! К тётке Клаве!..

— Вот и сватайся к своей тётке Клаве.

И шумно вбежала в сенцы.

Долго шарила, нащупывая ручку в сенной темноте. Наконец нащупала, отворила дверь, потихоньку пробралась к своей постели, стала раздеваться, не вздувая огня. А сердце стучит, как сумасшедшее, того гляди, из груди выскочит. Тут и мать заворочалась.

— Нагулялась? — спрашивает, и заговорила с ласковым укором: — Ты чего это кочевряжишься, девонька? Чего нос от парня воротить? Смотри, догордыбачишься. Останешься, как обсевок в поле.

Оказывается, не спала, в приоткрытое окно всё слышала.

— А чё он пристал, как банный лист?.. Какой это жених? — огрызнулась она и так рванула с себя блузку, что та по шву с лёгким треском лопнула. — Нескладный, как дудак, и нос, словно у болотного комара.

Мать помолчала, собираясь с мыслями, и тихо продолжила:

— Носатый не безрукий, доченька. С лица воду нам не пить. Зато вон какой здоровенный! И работающий. Пришёл с войны, сразу машинистом на лесозащитную станцию устроился. Живые деньги получает. А мы с тобой за палочки паримся. Ты нос-то не больно задирай. Погордишься, сама ни с чем останешься. Их, женихов-то, нет теперь. А с сопляками ватажиться — пустое дело. Они тебе не ровня. У них свои невесты растут. Вон Надежда Никитична сказывала надысь, одни девки в классе. А парни в ФЗО посбежали. Не хотят в деревне-то... Ты думай, думай своей головой. И крепко думай! Прежде чем отвергать, на себя не грех бы взглянуть. Тоже, небось, не Марья-Краса. Тоже не без изъянов.

Мать ещё долго говорила по своей ворчливой привычке. В другое время и слушать бы не стала, давно спала бы непробудно. А тут не спалось, так и эдак поворачивала мозги. И выходило одно и то же: любишь, не любишь, а замуж надо. Оставаться в девках тоже не больно сладкая доля.

По осени, на Октябрьскую, и сыграли свадьбу. Накануне зарезали бычка-полуторника, свезли в город, продали мясо, справили кое-какое приданое, выстояли очередь в «керосинке», купили ящик денатурата, наварили свекольной браги.

Свадьба получилась весёлой и шумной. Было много гостей, но обошлось без драки.

Брачная ночь показалась и долгой, и тошной. Васенька лез с поцелуями, дышал керосиновым перегаром, обмуслякал всю своими мокрыми телячьими губами, вызывая лишь одну брезгливость и отвращение.

Утром пришли пировые молодых поднимать, постель смотреть. Шалые от денатурата бесцеремонно выхватили из-под них простыни, трясли ими, показывая, какая молодуха у них честная, били о пол каблуками, припевали похабные частушки:

*Как у нашей молодой
Не прикроешь сковородой.
А у нашего молодого,
Как у мерина гнедого.*

Было неловко, совестно и постыло, хотелось выскочить на улицу и бежать, куда глаза глядят. Васенька, наверное, чувствовал это её состояние и горячо держал за руку. Она тоже крепилась и не дала себе воли.

С первых же дней не заладились отношения со свекровью. Своенравная старуха, видно, самым нутром почуяла её нелюбовь к себе и сыну, и возненавидела сноху. Глаша отвечала тем же. Бранились по каждому ничтожному поводу, порой доводя друг друга до белого каления. Васенька не давал её в обиду и во всём держал её сторону. Это вызывало у свекрови ещё большую к ней ненависть. Доставалось и Васеньке.

Видя такое дело, помаленьку начали строиться и на третье лето перешли в свой дом. Их уход окончательно добил старуху. В сентябре на копке картофеля в своём огороде её разбил паралич.

Только похоронили свекровь, ещё могила не остыла, как началась тяжба с Васиной сестрой.

Ольга, старая дева, одиноко живущая в соседней Белояровке, вздумала переехать в пустующую родительскую избу. Васенька в общем-то был не против, только оставлял за собой огород. Земля больно удобная: солнечный припёк, да и навоза в неё порядком вбухали.

Так оно, наверное, и вышло бы, но тут Глаша поднялась:

— Ещё чего вздумал, избу этой старой ведьме! Не жирно ли будет? Может, и корову ей отдадим?.. Раздавай, раздавай, дуралей, а у тебя вон дочь растёт.

И показала на зыбку.

К тому времени у них уже росла большуха Тоня, а сама она на сносях Зойкой ходила...

Васенька и тут не стал перечить, только и сказал с тоской в голосе: — Пока вырастет, изба сгниёт.

Так потом оно и вышло. Пустующая изба без хозяйского догляда быстро завалилась, обрушилась, её стены обросли мхами, двор заглушили заросли клёнов, лопухов и крапивы. Деревенские ребятишки устраивали здесь свои игры и однажды, по бедокурству, спалили остатки бывшего жилища.

Золовка смертельно обиделась. С братом ещё ничего, изредка виделась, а Глашу в упор не замечала. На Васенькины похороны всё-таки приковыляла, но в дом так и не вошла. Постояла на улице при выносе гроба, поцеловала покойника в мёртвое чело, повернулась и ушла, стуча клюкой и причитая:

— Братец, ты, мой братец, всю-то жизнь, как в сырой дыре прогнил с этой стервой! Уморила, паскуда непотребная, своей злобой извела...

И чего навывдумывала, шалава? Худо-бедно, а жизнь с Васенькой они долгую прожили. Дочерей замуж выдавали. Тоньке в городе кооператив купили, Зойку в соседнее село за автомеханика выдали.

Беда с этими девками. Крутись белкой, угождай зятьям. У Тоньки вроде бы ничего, слаженная пара. А с Зойкой одни переживания. Красивый у неё Сережа, статный из себя. И хотя Зойка дочь ей, а ничего не скажешь, не стоит она его. Это даже Васенька понимал. Вот и боялись, как бы чего не вышло, как бы не бросил. Вот и стелились перед зятем, вот и угождали ему. Дом справили, машину купили, корову отдали, каждый год боровка откармливали. Натё вам, только живите, лишь бы Серёжа был доволен, другую себе не завел.

А Зойка, дура, не понимает этого, ещё и косомырдится, губы вздувает. Завела с ней разговор, да куда там! И слушать не хочет. Ещё и мать уела:

— Сама-то как с папанькой жила? Видели, не слепые...

Эх, Господи, чего они видели?! Жила, как умела. Да, хозяйкой в доме была, сама всё решала. Шею не вытягивала перед мужем. Случалось, и помыкала им, но не со зла же. С досады, что судьба не так сложилась. И бездельничать ему не давала.

Он перед пенсией на бойлере работал, воду возил по отгонным гуртам. Приедет, бывало, под вечер, умоется и вытянет ноги на диване, словно барин. Тут она и ввалит ему по первое число:

— Чего залёт? Развалился во весь диван, а у свиней клетки не чищены! Чё, всё я должна?

И давай строгать. Васенька встанет и молча пойдёт. Вернётся, она снова берёт его в оборот:

— Только и знаешь, бока пролёживать. Только бы дрыхнуть ему. А дрова готовить в зиму чёрт иваныч должен?

— Успеется. До зимы-то глаза вытаращишь.

— Вот-вот, у тебя всё успеется. Одни у тебя отговорки...

Послушает-послушает её зуденье и опять уйдёт: не любил покойный, чтобы точили его. Тише воды, ниже травы был, когда трезвый. А пьяному тут уже ничего не скажи. Кулак у него тяжёлый, будто свинцом налитый. Бывало, и босиком на мороз выскакивала. Зато на трезвом отсыпалась.

Его в деревне, как глупенького, все Васенькой звали. И она звала Васенькой. И делала это с каким-то злорадным сладострастием, будто за нелюбовь свою мстила. Бывало, и смеялась как-то счастливо, когда председатель колхоза Бабахин Андрей Палыч с руководящей насмешливостью вопрошал с правленческого крыльца:

— А где этот у нас лысый мальчик Васенька Брюханов? Что, опять в загуле?... На неделю с машины снимаю! Пусть на стоговании вилами потешится.

У неё даже какая-то тёплая волна прокатывалась по животу и весёлая мстительность гудела в голове: «Так его, так его, носатого урода!..». И вдруг спохватывалась: «Чего это я? Муж ведь...».

Было и хорошее у них. Чаше всего вспоминалось, как ездили в Уральск за рыбой. Два мешка копчёных лещей привезли. Как раз к Зойкиной свадьбе.

Порой на неё находили доброта и бабье умиление. И она начинала жалеть Васеньку. Но случалось это, как ни странно, при воспоминаниях об её погибшем Осе.

В такие минуты она и сама как-то преображалась. Её сухое, в жёстких морщинках лицо словно бы разглаживалось, и она глядела на мир по-молодому весело и зорко. Даже седая прядка волос из-под низко опущенного платка не умаляла этого её удивительного преображения. В ногах появлялась лёгкая прыть, и всё окружение становилось светлым, умиротворённым и благостным.

И чего это золовка распускает о ней сплетни, будто она вся злобой напитана? Будто Васеньку отравила? И где она увидела это зло? И как она могла отравить мужа, отца детей своих? Что любви не было, то верно. А другие-то по любви, что ли, живут?..

Всё бы ничего, но одна чёрная блёстка, одна едкая капля исподтишка точила душу: вспоминалось одно и то же — Васенькина кончина.

Умирал он трудно. Изболелся весь. Под конец и пищу перестал принимать. Всё воды просил. Это вызывало в ней досаду. И куда пьёт? Зачем? Лежал бы себе смирно. Ведь знает, что умрёт.

Она тупо смотрела на его истаявшее лицо с пересохшими губами и молча уходила, страдальчески опустив глаза.

Перед самой Васенькиной кончиной пришла с уколами фельдшерица Варька Салотопова. Он опять попросил воды в надежде, что ему не откажут при чужом человеке.

Она сделала вид, что не расслышала. Варька подсказала ей:

— Пить просит.

И тут её прорвало.

— Ещё чего!? Пить он просит! Всё не напился. Он мне всю постель спарил. Напрудонит целую лужу, а жена суши за ним пелёнки...

Варька как-то странно посмотрела на неё и промолчала.

А он с усилием откинул голову на подушке и она увидела, как по его небритой щеке поползла слеза — крупная, словно градина...

Под вечер он умер. Она ждала, что умрёт, готовилась к этому и спокойно приняла его кончину. Только его предсмертная слеза, будто живая заноза, жгла и чертила сердце.

И Глаша, испытавши острое щемление в груди, подумала: зачем, зачем вспомнила?

Она с досадой бросила работу и вышла из палисадника. Кому теперь нужна её смородина? Ради чего старается? Самой теперь ничего не надо, а на детей и без того всю жизнь положила. А вот не больно угодила. В стылой избе держат... Моешь полы, а они ледяной коркой покрываются.

Она долго прилаживала повисшую на одной петле дверцу палисадника, но так путём и не закрыла. Всё рушится без Васеньки. Всё не так пошло.

Было ещё светло, ночи стали длинными, голландку топить рано, до утра простынет. И Глаша опять вышла на дорогу. Опять смотрела во оба конца. Нет никого, не с кем перекинуться словом.

И вокруг одно и то же: примолкшие дворы. чернеющий вдали лесок, домики недалней Белояровки за прудом, грустные полосы убранных полей. Она переводит взгляд на Алевтину избу. В ближнем окне лучик закатного солнца выхватывает за стеклом лицо её сына. Глаше показалось, что он щерится своей идиотской усмешкой. Она резко отворачивается и, вскинув голову, делает вид, что поправляет узел платка.

Всё, идти больше некуда. В пустую избу — нет желания, да и целая ночь впереди. Долгая, тёмная, осенняя и глухая. Не дай Бог, кто-то опять будет скрипеть половицами, шуршать по углам, скрывать железной кружкой о ведро с водой и даже вроде бы приставывать: «Пи-и-ить!...».

Эти наваждения были особенно частыми в первую неделю после Васенькиных похорон. Спасибо Матрёне. Покропила святой водой и предупредила: «Ты, девка, меньше в голову бери, не то замучает...». И молитве научила: «Господи, расточи врагов своих».

Тем избавила на какое-то время от этих жутких наваждений. А теперь снова началось, каждую ночь наплывает...

Сгорбившись, Глаша засовывает руки в карманы фуфайки и тяжёлым мужицким шагом идёт вдоль осиротевших дворов вечерею-

щего деревенского безмолвия. Совсем недавно вот так же они гуляли с городским дачником Николаем Ивановичем. Тот имел привычку прогуливать перед сном свою кучерявую собачку. И Глаша пристрастилась гулять с ними. Разговаривали о жизни, вспоминали дни своей молодости и время протекало как-то незаметно.

Она привыкла к этим вечерним прогулкам, теперь и они кончились, Николай Иванович уехал к себе в город. Осталась лишь его пустующая изба с закрытыми окнами, с заколоченной дверью.

Глаша останавливается, долго вглядывается в затухающий закат, в чистое небо с розовыми разводами по горизонту. Невысоко над лесом выпрыгнула и засияла первая звёздочка, омытая закатной лавой затухающего света. Звёздочка блестит так ярко, что режет глаза...

Прозрачный воздух наваливается откуда-то сверху, из самого космоса, становится густым и плотным. В ночь опять, должно, ударит мороз. Пора разжигать голландку.

Глаша ёжится под тяжестью колюче затекающей за ворот свежести, кутается в фуфайку и думает: зима, наверное, ляжет на сухую землю.

Это плохо. Совсем плохо для урожая...

В ЧУЖИЕ РУКИ

Баба Тоня Кульчицкая, бывшая работница завода «Прогресс», надумала продать корову. Хотя и жалко было расставаться с ней, со своей кормилицей-поилицей, но как вспомнит, что с коровой придётся зимовать в селе: опять дважды на дню печку топить, к сараям дорожки пробивать после метельных ночей, на морозе студиться, убираясь во дворе, пойло греть, сено задавать, — так сразу же всякая жалость отпала. Оно, конечно, дети помогут: на день-два сын с зятем приедут, но потом, после их приездов, ещё противнее слушать злобное завывание ветра в ночи, сидеть одной в холодеющей избенке и ждать неведомо чего. Да и силы уже не те. В городе тёплая квартира: сходила в магазин, истратила свою пенсию на покупки — и поглядывай из окошка, как народ на улицах гуляет. И дети тут же, под боком — нет, больше ни за что не останется она на зиму в этой глухой, безлюдной деревушке. Как ни крути, а корову придётся избывать.

Ей казалось это делом простым и обыденным, а потому и лёгким. Всё так же весело и легко она разослала с оказией объявления по окрестным деревням и совсем успокоилась, поджидая покупателей.

А вскоре и покупатели нашлись. Приехали в телеге из села Печино муж с женой, старики пенсионного вида. Бабе Тоне они понравились. Люди пожившие, простые и, по всему, добрые. В такие руки не жалко было отдать свою Дочку. Очень уж не хотелось избывать её кому ни попадя. Сама, можно сказать, выпестовала корову, из тёлочек вырастила, свыклась с ней, вот и разговаривать стала как с существом близким и всё понимающим.

Покупатели — дед Иван с бабкой Ниной — не единожды обошли корову, оглядели со всех сторон, потрогали отвисшее вымя и остались довольны. Тут же предложили свою цену, хотя и не очень высокую по нынешним деньгам, но вполне сходную, и хозяйка выставила магарыч. За столом быстро освоились, разговорились и даже как бы вроде сроднились.

Однако разговоры разговорами, а надо было собираться в дорогу.

Баба Тоня взяла ведро-доёнку, накрошила хлеба, оборотала корову и вывела за двор. Корова вела себя настороженно, косилась на пришлых людей, однако не капризничала. На луговине за овражком баба Тоня передала доёнку с хлебом новой хозяйке и велела корову покормить. Дочка от хлеба не отказалась и новая хозяйка погладила её. Но едва она приняла от бабы Тони конец верёвочного поводка, как вдруг корова заволновалась и стала рваться из рук, высоко задирая голову и всхрапывая. Баба Тоня принялась подталкивать её и приговаривать:

— Дочка, Дочка! Ну, иди, иди, глупая. Не бойся, это теперь твоя хозяйка... В добрые руки передаю...

Но корова перестала слушаться. Она ещё сильнее упиралась копытами, взрывая дернину с поникшей осенней травой, металась по сторонам и тяжело дышала. Каштановая шерсть взмокла на её округлых боках и сбилась в сосульки.

На выручку старым женщинам кинулась молодая дачница Галина Михайловна. Она тоже принялась подталкивать корову, уговаривая её. Все теперь были заняты Дочкой, кроме деда Ивана, который стоял возле подводы и поглаживал морду беспокойного жеребчика.

Они ещё долго бились с коровой и, в конце концов, она вроде бы сдалась. Не упиралась копытами, лишь клонила голову и с шумом дышала, резко выталкивая из своих ноздрей горячий утробный дух.

— Доченька, Доченька, — всё так же уговаривала её баба Тоня. — Умница ты моя. Успокойся... — и потихоньку подталкивала корову к бабе Нине, к её новой хозяйке. Та накрошила ещё хлеба. Теперь уже в подол передника. Но и он не привлёк корову.

Они и с одной стороны заходили, и с другой, уламывая животное, и, уже когда казалось, что все их труды напрасны, с коровой вдруг что-то произошло. Она сама шагнула к своей новой хозяйке, мордой ткнулась ей в живот и замерла, дрожа всем телом. Из её больших агатовых глаз покатались крупные прозрачные слёзы. Баба Нина увидела их и, роняя хлеб, всплеснула руками.

— То-о-ня-а, — воскликнула нараспев, — посмотри, корова-то плачет!

Баба Тоня кинулась к Дочке, обхватила за шею и тоже принялась плакать. Вслед за ней заплакала и молодая дачница Галина Михайловна, впервые увидевшая коровьи слёзы. А там и баба Нина не выдержала.

Дед Иван, от подводы наблюдавший за этой сценой, неловко топтался возле беспокойного жеребчика и время от времени за его всклокоченной гривой прятал своё безбородое лицо. Жеребчик пританцовывал в оглоблях и беспокойно всхрапывал, позвякивая сбруей.

Дед Иван первым не выдержал и прикрикнул на женщин:

— Ну, хватит мокроту разводить! К дому пора...

Баба Тоня и баба Нина одновременно потянули корову за повод, и она покорно пошла за ними. Так же покорно дала привязать себя к телеге и, когда баба Тоня на прощанье опять обняла её и поцеловала, корова повернула к ней свою мокрую от слёз морду и лизнула в лицо шершавым коровьим языком.

Дед Иван тронул жеребчика, баба Нина с прутом зашла сбоку, корова качнулась из стороны в сторону и, тупо уставясь в землю, побрела за телегой медленным подневольным шагом. Она несколько раз оглаживалась на свою прежнюю хозяйку и при этом тягостно, призывно мычала.

Когда корова оглаживалась, баба Тоня, жалостливо морщась, вскидывала руку и махала ей. Она стояла рядом с Галиной Михайловной и обе они плакали, глядя вслед уходящей подводе.

Вскоре подвода совсем скрылась за дальним выцветшим бугром, и вокруг стало серо и пусто, как это бывает при близком осеннем ненастье.

Пустырь

Преданья наших дней

*Все, приимиши нож, ножом и погибнут.
(Мф. 26, 52)*

Клуня пошевелила ноздрями, уловила соблазнительные запахи еды и первой вылезла из сумеречного укрытия. В глаза ей ударило солнце и она зажмурилась.

Сквозь густую зелень с уличной автомагистрали тянуло удушливой автомобильной едкостью. Воздух был плотен и густо насыщен настоем прелых трав, полынной горечью. И потому ни августовская духота, ни запахи гари не казались тягостно-томительными.

Всё вокруг привычным было для Клуня: и сама полянка среди корявых деревьев, и воздух, и трава, слегка привядшая за лето.

Округлое пространство поляны с узкой полосой седой полыни вперемежку с зонтиками тысячелистника, с пушистыми куртинами болиголова с голубыми огоньками цикория, радостно томилось в горячем кипении солнечного света. Там и тут среди кустов потускневшим глянец отливала пустые пластиковые бутылки.

Лето, кажется, напоследок решило блеснуть и погожими днями, и тёплым солнцем, и чистой гладью неба. Несмотря на конец августа, пекло ещё довольно сильно.

Клуня подняла голову, наострила уши и, принюхиваясь, огляделась.

Вслед за ней тем же узким лазом из укрытия выполз вожак стаи Джек, крупный самец-боксёр с отвисшими брылами. Этими своими брылами он напоминал жирного ресторатора с ближней улицы.

Вожака тоже привлекли приманчивые запахи еды. Он шумно отряхнулся, уселся на траву, почесал лапой морду, подёргал брылами и настороженно застыл. На поляне происходила непонятная возня, доносился приглушённый говор, соблазнительно пахло едой.

На вершинку раскидистого клёна, растопырив крылья, плюхнулась старая ворона и закачалась, с трудом удерживаясь на зыбкой ветке. Ворона явно волновалась, вытягивала шею, истошно каркала. При этом ещё и мотала клювом, как бы указывая на таинственное действо, происходящее за полынной кулисой.

Именно там, в центре поляны, слабенько пофыркивал мотор работающего автомобиля, без конца что-то стучало, шмыгало, металлически шаркало и сухо рассыпалось.

И потому как собаки не видели того, что сверху было видно вороне, добавляло им и нетерпения, и тревожного любопытства. Джек замирал, напрягал зрение, нюхал воздух, нервно прядал ушами, жадно вслушиваясь в чуждые звуки. Его широкая грудь вздымалась тяжело и напряжённо.

Последним из укрытия, огромной кучи почерневшего от времени валежника, вылез спаниель по имени Грей. Это был косматый кобель рыжевато-окраса с шелковистой шерстью, с мягко обвисшими ушами, умный и осторожный.

Сытные запахи, перебивающие полынную горечь, и ему показались необыкновенно сладкими, возмутительно сдобными. Они просто с ума сводили Грея.

Сегодняшний завтрак стаи был довольно скудным. Им удалось поживиться лишь рыбными потрохами на помойке за речным вокзалом. Эта еда напомнила Грею противный запах креветок, когда-то погубивших его.

У Грея заурчало в животе, он засучил лапами с такой нервной яростью, что выдранный с корнями трава ошметками полетела из-под его когтей.

Это вызвало неудовольствие вожака. Спаниель напустил на себя притворную смиренность, виновато притих и присел рядом с Джеком.

А запахи, кажется, стали ещё гуще. Одурающе пахло копчениями, говяжьим жиром, мучной сдобой и ещё чем-то квашеным и кислым. Грей не просто обонял всё это, а прямо-таки у себя на зубах ощущал соблазнительный вкус еды. Он даже зажмурился и почувствовал, как лёгкое кружение уносит его в сладостную истому.

Джек всё ещё восседал в позе грозного собачьего воителя. Толстые поперечные складки его лба собрались в упругие вздутия и едва шевелились. Казалось, что и сами эти складки напряжённо думают.

Чёрные брови вожака были припущены. Клуня решила, что их повелитель дремлет. Но это было совсем не так. Мозг Джека без усталости работал. Вожак настойчиво искал решение, от которого могло зависеть не только благополучие стаи, но, возможно, и сама их жизнь.

Опыт скитальческой жизни давно убедил его в том, какими изобретательно-хитрыми и бесконечно коварными бывают люди в своих истребительных изощрениях. Эти прельстительные запахи могут обернуться и ядовитой приманкой, и ловчей сетью, и волчьим капканом, а то и смертельным выстрелом.

Он слишком учён для того, чтобы бездумно кинуться даже на свежий мясной запах. С ним было уже однажды: кинулся, а угодил в сеть. И, если бы не сила, не ловкость его, не быстрые ноги, ещё неизвестно, сидел бы сейчас среди своей стаи.

Тот давний случай и научил его быть вдвойне осторожным.

Клуня притворялась по-женски легкомысленной. Она подставляла солнцу грудь в щеголеватом белом галстуке и блаженно нежилась. А когда надоело, принялась жеманно прохаживаться перед мордой своего повелителя, нюхать воздух и требовательно поскуливать, виляя пушистой метёлкой хвоста. Тонкая, на длинных рыжих лапах в белых носочках, она была полна красоты и дамского изящества.

У неё скоро должны были появиться щенята. И она, живя ожиданиями, стала особенно капризна, требовательна и разборчива в пище. Далеко не всякая еда приходилась ей по вкусу; от иной, даже очень питательной, у неё случалась тошнота и приступы отвращения.

Когда ей надоело жеманиться она, как и Грей, тоже присела возле жожака.

Возня на поляне и запахи, долетавшие с неё, не просто разжигали в них аппетит, но и напомнили о былой жизни, о прежних более счастливых днях. Джек вспоминал свою короткую молодость, думал о том, каким глупым и бестолковым пёсиком был, обретаясь у богатых хозяев. У него тогда была одна забава: играть с хозяйским мальчиком, таким же, как сам, досужливым, беззаботно шаловливым и беспечным. Он никогда и в мыслях не держал, что может оказаться на улице, станет бесприютным бродягой.

Мальчику нравилось щекотать его волосатое брюхо. И Джеку нравилось. Он опрокидывался на спину, закрывал глаза и, задирая лапы, в восторге ёрзал по зелёной траве.

Мальчик угощал его пирожным с густо взбитым кремом, а Джек благодарно лизал его в губы.

При воспоминании о том добром времени, о сладких угощениях, Джек непроизвольно глотнул слюну и шевельнул кадыком.

Ах, как славно было тогда! Молодая хозяйка, длинноволосая блондинка с румяным, нежным лицом, по утрам выходила на крыльцо и на блестящем подносе выносила Джеку телячьи кости. Он выбирал самые мягкие, сахарные, хрящеватые, начинённые мозговой сладостью. И, пока хрустел ими, с вершинки сосны за ним наблюдала местная ворона, старая карга, нахальная и облезлая, с утерянными маховыми пером в щербатом крыле.

Ворона ждала, когда он покончит с едой и начнёт прятать оставшиеся кости по дворовым зауголиям.

Прежде свои запасы Джек прятал в цветочной клумбе. Но ворона быстро распознала его клад, выкопала кости и перетаскала в ближний перелесок.

Тогда он стал поступать хитрее. Рыл обманные лунки, а кости прятал за сараем и в зарослях густого терновника.

Его хитрость пришлась не по вкусу вороне. Она сердито каркала, кружа над двором, пикировала на него, норовя клюнуть в загривок. И он с тех пор страшно невзлюбил ворон.

Бывший хозяин Джека, крепкого сложения человек с широкими плечами, приятной ямочкой на твёрдом подбородке, тоже, случалось, баловал его вкусными угощениями. Подносил булочку со сливочным маслом, а иной раз — крупные коляски телячьей колбасы.

Джек нетерпеливо хватал из хозяйских рук подношения и получал за это по морде.

Хозяин шлёпал его тяжёлой пятернёй и сердито приговаривал:

— Не жадничай, не жадничай! Жадность фраера сгубила.

— Ну, что ты мучаешь собачку, Кир? — капризным голосочком выговаривала жена, хлопая большими накладными ресницами.

— Я не мучаю, я жить учу, — строго возражал хозяин. — И не лезь, пожалуйста, в мужские дела. Лучше Толиком займись. Вырастет раздолбаем и будет перед каждой шавкой спину гнуть.

— Это перед кем же?

— Перед тем! — раздражался хозяин. — Их теперь, как клопов в эковском бараке! Одни мозги парят, другие под «фанеру» гитарят. А то ещё какая-нибудь тёлка подвалится и будет бобы тянуть... Тоже мне звёзды! Задом вертеть....

— А мне нравится.

— Ещё бы! Помню, с какой ветки снял...

— Один ты у нас хороший, ничем не замаранный! Не всем же быть везунчиками, — капризно отвечала жена, заваливаясь в кресло-качалку под жёлтым парусиновым тентом.

Она блаженно вытягивала длинные ноги с блестящими икрами, натёртыми тонирующими кремами, и расслабленно замирала.

Обычно на этом препирательства и кончались.

Жили они замкнуто, нелюдимо и однообразно. Один день, как две капли воды, повторял другой. И всё вокруг томилось в привычности скучного однообразия: и широкий двор с унылыми постройками, ограниченный высокой кирпичной оградой, и даже сияние неба над головой.

В хозяине угадывался настоящий волк — сильный, уверенный в себе, не единожды травленный, а потому в меру осторожный.

Хозяйка не работала, проводя дни в томительной скуке, занималась сыном да ещё Джеком. Порой листала журналы мод, привозимые мужем, и говорила ему, показывая на иллюстрацию:

— А вот такого платья у меня нет.

— А зачем оно тебе? У тебя их столько, что и за две жизни не истрепать, — сердито отговаривался он, позёвывая.

И всё-таки привозил понравившееся ей платье. Прохаживаясь перед зеркалом, она тщательно примеряла его, охорашивалась, в течение нескольких дней гуляла в этом платье по двору, затем снимала и навсегда забывала о нём.

Ещё она любила громкую музыку. А хозяину нравилось смотреть картины со стрельбой, шумными драками, пронзительными взвизгами, с костлявым перестуком странных существ, бегающих по большому, в полстены, экрану. Джеку становилось жутковато от их гремящих перестуков и беспорядочных метаний, и он прятался за спину хозяина.

Хозяйка, заглядывая в залу, недовольно спрашивала:

— И не надоело смотреть этих скелетов?

— А тебе чего? — раздражённо отмахивался хозяин, вlepившись глазами в экран. — Ты вон свою понтовую музыку слушай!

Готовую пищу в термосах хозяин доставлял сам. Раз в неделю из соседней деревни он привозил глухонемую старушку. Она убиралась в комнатах. Стирку отправляли в прачечную.

Хозяйка берегла свои маленькие руки и Джек не видел, чтобы она когда-то стояла возле плиты. Даже цветы хозяин поливал сам. И как ей было не заскучать среди этого новосозданного рая?

Джеку хозяйка нравилась. Нравились её шелковистые волосы, распущенные по плечам, тонкие хрупкие пальцы, униженные кольцами. Эти кольца прямо-таки слепили его переливчатым сиянием. И ожерелье в виде золотых узорчатых лепестков на красиво выгнутой шее очень шло к её нежному лицу.

Он любил смотреть, как она идёт по дорожке, посыпанной сахарно-сыпучим гравием, как этот гравий мягко хрустит под маленькой изящной ножкой в лаковой туфельке. Ожерелье колыхалось на высокой груди хозяйки, расплёскивало вокруг пляшущие блики и, как живое, легонько позванивало.

Джек готов был с утра до вечера носиться вокруг неё и счастливо гавкать в её честь.

Хозяин редко сидел дома. Но, когда бывал, не переставал умиляться красотой своей жены. Клал ей на плечи свои тяжёлые грубые ладони, пристально глядел в глаза и нежно ворковал: «Куколка ты моя! До чего же прелестна!».

Она запрокидывала голову и, показывая ровный ряд ослепительно-белых зубов, смеялась ему в лицо молодым рассыпчатым смехом.

Время от времени хозяин позволял ей с сынишкой, двухгодовалым светловолосым крепышом в костюмчике малинового бархата, улетать куда-то далеко, на полудённые острова, как она говорила. Джеку становилось грустно одному. Тоскуя, он порой забывал даже о еде. Лениво слонялся по двору, сонно дремал в тенёчке, прикрыв глаза толстыми веками, и нервно подрагивал чутким телом, отпугивая привязчивых мух.

Джеку мерещились скрипы калитки, шлёпанье лёгких башмачков по гравию, он очумело вскидывал голову в надежде увидеть перед собой маленького друга и жестоко обманывался.

Но какое ликование случалось потом с возвращением мальчугана, загорелого, пахнущего нездешним воздухом, чинно шествующего рядом с мамой в белой панамке, в голубых сандаликах, с жёлтой сумочкой на ремешке через плечо. В эти минуты малыш казался необыкновенно красивым, милым, бесконечно добрым и счастливым.

Джек со всех ног подлетал к нему, резко тормозил, когтистыми лапами поднимая фонтанчики пыли. Мальчик радостно взвизгивал, горячими ручонками обвивал его шею, восторженно приплясывал и звонко смеялся. Джек норовил лизнуть его в губы и бешеными кругами принимался носиться по двору.

Хозяйка бранила обоих, но нестрого, лишь для видимости.

Глава семейства тем временем в позе борца, только что выигравшего суровую схватку, стоял на крыльце, широко расставив ноги, и с холодным спокойствием наблюдал за происходящим.

Он был скуп на слова, говорил мало и неохотно. Тем не менее, Джек слушался его, чувствуя в нём уверенную силу и неукротимость воли. Иногда ему казалось, за этой неукротимостью стоит что-то тяжёлое и угрюмое, неспроста же под сердцем хозяина томится крохотный червячок, оживающий в самые решительные минуты.

Суровость хозяина никак не влияла на дни Джекова отрочества, протекающие в пустых бавах и сытой беззаботности. Ничего лучшего потом у него не было.

Он любил наблюдать, как, взволнованно вздыхая, хозяйка рассказывает мужу о далёких островах, всплескивая руками и бесконечно восклицая: «О, какое это чудо! Тёплый океан, нежный пляж с горячим, бархатным песком, роскошные пальмы на берегу! О, это же невозможно, Кир!».

Ему было в удовольствие слышать её певучий голос. Хозяйку восторгали попугаи, летающие среди пальм. «Они же совсем ручные, — говорила она. — Болтливые, как наши сороки! А уж до чего нахальные и вороватые, представить невозможно! Прыгают по веткам, без конца лопочут на своём заморском языке, а сами так и норовят, чего-то украсть. Даже бриллиантовой серьгой не побрезговали, прямо со стола упёрли, негодяи!»

Её восторженные рассказы хозяин обычно выслушивал с мрачным неудовольствием: лениво ковырялся вилкой в тарелке с едой, презрительно кривил губы и думал о своём, бесконечно сокровенном и глубоко запрятанном.

Иной раз, словно бы очнувшись, он досадливо морщился от беззаботной болтовни супруги и хмуро ронял, глядя в сторону:

— Легко достались цацки, вот и стырили...

Жили они за городом. Их большой просторный дом из красного кирпича походил на огромный узорчатый пряник, которым угощал Джека малыш. По обе стороны крыльца с широкой парадной лестницей шумели сосны, израненные строительной техникой. В знойные дни из глубоких ран на их стволах проступала смола. Казалось, деревья плачут густыми вязкими слезами. Раны постепенно затягивались, обрастая твёрдыми янтарными натёками.

Сам двор с прудом, с чисто подстриженными газонами, с дорожками вдоль ягодников и беспорядочными терновыми зарослями в углу, увитыми диким хмелем, был необъятно велик и просторен. Но Джеку думалось, не будь вокруг по-настоящему неприступных стен, двор смотрелся бы и веселее, и просторнее.

Кирпичная крепостная ограда в той прошлой жизни была почти ненавистна Джеку. Она заслоняла от него другой мир, который был и велик, и заманчив, и притягателен своей неизведанностью.

Теперь даже об этой каменной стене он думал, как о чём-то светлом и недосыгаемом. Он мог бы и поныне счастливо жить за теми высокими стенами, сложись всё по-иному.

Джек так и не понял, что тогда произошло. Началось с того, что однажды пропал хозяин. Уехал на большой чёрной машине и не вернулся.

Его исчезновение страшно напугало хозяйку. Она ходила с бледным лицом, выбегала за ворота и возвращалась обратно. Пыталась звонить, но трубка не отвечала. Хозяйка бросала её и сама со всего маху валилась на тахту.

Вечерами они подолгу не ложились спать, Хозяйка молчаливо бродила по комнатам, нервно хрустела пальцами, тупо смотрела в темнеющие окна и, не выключая света, прямо в одежде забиралась в кровать.

Она жила какими-то недобрыми предчувствиями и не обманулась в них.

В один из дней под вечер к ним ворвались незнакомые люди, а с ними — гололобый кряжистый мужик в красном пиджаке с холодным, точно замороженным взглядом больших бычьих глаз. Из всей компании он один и был известен Джеку. Этот человек бывал у них и прежде.

Последний раз Гололобый был перед тем, как пропасть хозяину. Они уединились на берегу пруда, принесли большое блюдо мяса, разожгли мангал и стали жарить шашлыки.

Было тихо, солнечно, сладко пахло дымом, дремлющей прохладой пруда. Хозяин с гостем уселись за белый пластиковый столик под тенотом и заговорили о каком-то Хисэне, который «заныкал партию дури и развёл их на бабки». Гость уговаривал хозяина быть решительнее и призывал, выкатывая глаза: «Пора мочить этого Хисэна! Вся братва готова подписаться».

Хозяин вяло возражал: «Ну, замочим, а дальше что? Зелень-то где?.. И потом, не надо забывать, в активе у Хисэна пять стволов. А это тебе не баран чихнул! Без большой крови не разойтись». — «Нет, Кир, ты чо, в натуре? Вроде бы как мазу держишь за этого позорного волка? Уроем падлу и дело с концом». — «Не за него, за братву держу! Не думаете же вы, что я с Хисэном в доле?» — «Я-то что, мы с тобой корефаны, а вот братва... За них не отвечаю». — «Пусть заглохнут и не шевелятся. Всё будет путем, — убеждал хозяин. — Перекроем Хисэну кислород, сам падёт в ножки с кейсом в клюве...».

Гололобый недовольно отводил в сторону глаза и больше не решался спорить.

Оба ели шашлыки, зубами снимая мясо с шампура, громко жевали и упорно избегали встречаться взглядами.

Хозяйка в их разговорах участия не принимала. Она вообще не вникала в мужские дела. Обычно уводила сынишку в дальний угол двора под коряжистую столетнюю ветлу и они качались с ним на скрипучих качелях.

Джек оставался с хозяином. Он укладывался на траву газона и терпеливо наблюдал, как оба, хозяин и гость, смачно поедают шашлыки, запивая их хмельным коктейлем из жестяных баночек.

Ему тоже хотелось шашлыка. Он вываливал язык, жарко дышал горячей пастью, пускал слюну и ждал угощения. Время от времени ему бросали куски баранины, самые жирные, сильно подгоревшие. Клацая зубами, он ловил их на лету и проглатывал, не жуя.

Гололобый однажды даже играл с ним: далеко в пруд запускал резиновый мяч. Стремительным броском Джек выхватывал его из воды и, бултыхая лапами, выбирался на берег, шумно отряхивался, образуя вокруг себя целое облако холодных радужных брызг.

Гость с хозяином вскакивали с места, дурашливо хохотали и, размахивая руками, кричали:

— Прочь, прочь, бестолочь! Как из пушки окатил...

И потому появление Гололобого в их дворе не только не удивило, но даже обрадовало Джека.

Не удивило и то, как гости проникли к ним.

Молодой парень, забросивши верёвку с железным крюком зацепился им за стену, ловко влез на неё, по-кошачьи мягко спрыгнул вниз, распахнул калитку и компания угрюмых чужаков, суетясь и толкаясь, гурьбой ввалилась во двор.

Впереди шёл Гололобый. Джек сразу узнал его и, радостно повизгивая, ринулся навстречу. Но Гололобый, должно, не признал его. Быстрой раскачивающейся походкой сразу же направился к хозяйке, растерянно стоявшей на крыльце. При виде разношёрстной компании во главе с Гололобым она слегка побледнела и её широко раскрытые глаза застыли в немом удивлении.

Джек тоже остановился, глядя на развевающиеся полы красного пиджака Гололобого, виновато повилял обрубок хвоста и сконфуженно поплёлся следом.

Глаза Гололобого были недобро сощурены и выглядели мутно. Так обычно выглядит пруд в ненастную погоду. И ещё Джеку показалось, будто под расстёгнутым воротом малиновой рубахи гостя мелькнуло что-то похожее на маленького хищного уродца.

Дышал Гололобый и шумно, и яростно. Ещё не поднявшись на крыльцо, он стал кричать на хозяйку, а поднявшись, дважды ударил её по лицу. И рывкнул при этом:

— Где бабло, падлы?

Хозяйка сдавленно пискнула, как пойманная мышка, тонко взвыла, закрылась руками, подогнула колени и медленно сползла спиной по стене, забившись в угол и сжавшись в комок.

Джек озадаченно поморгал, слегка удивившись, но тут же забылся в своём беспечном легкомыслии. И, радуясь новым людям, принялся носиться по двору.

Дружки Гололобого тем временем заскочили в помещение и, хозяйничали внутри дома: с топотом носились по комнатам, гремели ящиками столов, опрокидывали стулья, распахивали дверки шкафов, перетряхивали вещи, срывали со стен ковры и гобелены.

Это были молодые крепкие ребята, ухватистые и неутомимые в своём яростном задоре. Они что-то искали, но, видимо, не нашли и страшно обозлились.

Их было семеро. Вывалившись на крыльцо, они требовательно усталились на Гололобого. Он молча кивнул и вся компания с грязными ругательствами набросилась на хозяйку.

Сорвали ожерелье, содрали с пальцев кольца, заломили за спину руки, замотали голову занавеской, снятой с двери, и по-муравьиному ловко, словно поверженную стрекозу, вчетвером поволокли к машине.

Ещё трое тем временем из детской комнаты вытащили отбивающегося от них мальчика, бледного, насмерть перепуганного, с затравленно сверкающими глазёнками. Здоровенный малый с оловянно-тяжелым взглядом сгрёб его в охапку и потащил к воротам. Мальчик молотил по воздуху ногами и продолжал пронзительно кричать. Здоровяк всей пятернёй зажал ему рот и мальчик замолк, выпучив глаза.

Джек ничего не понимал в этой странной канители. Недоумённо вертел головой, ожидая новой игры, пока ещё не известной ему, но, должно, интересной, как всегда, и занимательной. Его даже охватило лёгкое волнение, какое бывало и прежде в предчувствии весёлых и увлекательных забав.

И он с беспечностью неразумного пса большими кругами радостно носился вокруг Гололобого, прыгал, урча и счастливо повизгивая.

Но, когда мальчика понесли, и тот дико вскрикнул, Джек заволновался, почувствовав недоброе. А увидев, как мальчик отбивается от незнакомого человека, озлобился и с громким лаем бросился на чужака. И начал бросаться на каждого, кто оказывался поблизости.

Тут и Гололобый спохватился, окликнул рассвирепевшего Джека, широко раскинул руки, как бы призывая боксёра в свои дружеские объятья, и начал приманивать его. Сочно причмокивая толстыми губами, он призывно посвистывал, а сам косился на хоккейную клюшку в углу дома, оставленную здесь ещё с зимы. И как только Джек подбежал к нему, Гололобый попятился, слегка откинул голову, одной рукой дотянулся до клюшки, продолжая вкрадчиво приговаривать:

— Ну, что, барбос, раздолбай, мамай зубастый? Скалишься? Хошь, как хозяин, копыта откинуть?.. И тебе устроим. Уважим, падла, очень даже уважим, козлиная твоя морда. А ну...

И без видимого замаха резким рубящим ударом звезданул Джека по носу.

В глазах полыхнули искры. Он истошно взвизгнул и, кувыркаясь, волчком завертелся на месте. Из его ноздрей выступила кровь.

Гололобый снова подлетел с необыкновенной для его фигуры расторопностью теперь уже с широким замахом высоко поднятой клюшки. Но Джек не пропустил этого замаха, мгновенно отпрянул и, пощенив визжа, унёсся в глубину двора, забился в гущу терновника, опутанного хмелем, залёг в нём и затаился, мелко дрожа.

Гололобый не стал его искать. Отбросил клюшку и отправился к воротам.

Голова Джека раскалывалась. От переносицы до затылка её простреливала жгучая боль. И самого знобило. Он тяжело дышал сквозь загустевшую в ноздрах кровь и лежал, боясь пошевелиться.

К вечеру ему стало легче. Он вышел из укрытия и медленно обошёл опустевший двор.

Заря ещё горела, за двором клубились розовые тени. И над мохнатой вершинкой сосны замерцала первая робкая звёздочка.

Было тихо и глухо вокруг. В недалёком перелеске, тоскливо перекликаясь, голодные совы просили еду: «и-и-ть, и-и-ть».

Их мать дважды бесшумно облетела двор и скрылась в сиреновой ряби загустевшего сумрака.

Звёзды высыпали густо, усеяв тёмное небо. Их высокая зернистая сыпь лишь усиливала чувство бесприютного одиночества. Джек ощутил полную беспомощность перед этой тёмной пустыней ночного мрака. Именно тогда, в минуты страха и отчаяния, в нём просияла древняя звериная сущность; ему открылось полевое зрение. Он стал видеть то, чего не могли видеть другие. Видел предметы, не имеющие ни форм, ни запахов, как бы растворённые в самом воздухе, в его незримой прозрачности, в текучести окружающего пространства.

С ним и прежде случалось нечто похожее. Но тогда это казалось чем-то вроде обмана, летучим мороком, щенячьим наваждением, причудливой наволочью.

Теперь же всё было по-другому, виделось чётко и ясно, без наваждений и обмана.

С этой поры Джеку и стали открываться такие потаённые уголки человеческой сущности, о которых и сами люди, наверное, не догадываются. Он мог разглядеть под сердцем иного человека то капельку света, то чёрную точку, то странный крючочек в виде живой занозы, то дремлющую кляксу. И эти таинственные существа умели оживать, приходить в движение, ловко бегать по кровотокам своих хозяев, удивительным образом преобразовать их, менять настроения и повелевать чувствами. Порой они проявляли такую изощрённую изворотливость, такое хищное проворство, что даже самая расторопная болотная пиявка не могла с ними сравниться.

Джек вспомнил, что под сердцем его хозяина тоже дремало нечто похожее на заснувшую пиявку. Было даже дивно, откуда и зачем она ему? И в глазах Гололобого, когда тот ударил его, мелькнуло что-то

похожее на злобную пиявку. И Джек решил, что именно так должно выглядеть человеческое зло.

Пройдёт немного времени и он узнает, что зло изменчиво, много-лико и умеет принимать самые немыслимые формы.

2

Через неделю во дворе снова появились люди. На этот раз приехали трое на машине с голубым кузовом и непонятной надписью на нём.

Джек и к ним не вышел. Из-под развалистого куста смородины наблюдал за происходящим.

Приезжие были молодцы, поджары и молодцеваты. Двое высокого роста, в тёмных костюмах. Третий был присадист. Он был в фуражке с красным околышем, при погонах и в галстуке стального цвета.

Гости показались Джеку людьми скучными и унылыми, вроде отмершего сучка на всё ещё живой ветке.

Пробыли они недолго, на короткое время вошли в дом, прошли по двору, полазили по ягоднику, осмотрели постройки, постояли на крыльце, посоветались, опечатали двери, закрыли ворота, с тем и отбыли.

Больше никто не приезжал. Гнетущая тоска одиночества, поселившаяся во дворе, кажется, навсегда сковала сердце Джека.

Ещё больше мучил голод. Он всё ещё ждал, вот приедут хозяева, накормят его и жизнь потечёт по-прежнему. Они с мальчиком опять станут устраивать весёлые игры, бегать по ровно постриженной траве, как бывало раньше, будут по очереди откусывать пирожное от одного общего куска. И в благодарность за это Джек будет лизать мальчика в румяные губы, в его маленький вздёрнутый носик.

Но время шло, а хозяева не возвращались. И в голову Джека вкралась ужасная догадка, что хозяева уехали туда, откуда никогда не возвращаются.

Ему не оставалось ничего другого, как с угрюмой неприкаянностью слоняться по двору, отыскивать свои забытые клады, выкапывать тронутые гнилью кости и грызть с несытой жадностью.

Но пришёл день, когда и костей не стало. Джек пробовал есть зелёные ягоды, выдирал с грядки коренья, жевал листья терновника, газонную траву. Однако эта еда, кроме противной вязкости во рту да прелой земляной затхлости, ничего другого не приносила.

Жил он вроде бы на свободе, в просторном дворе, под открытым небом, но чувствовал себя в заточении. Всё настойчивее одолевало желание выбраться из этой просторной неволи.

Отчаянно поскуливая, Джек бродил вдоль ненавистного забора, пробовал грызть кирпичные стены, скребся в железные ворота.

Так продолжалось несколько дней, пока не догадался сделать подкоп.

Он выбрал место рядом с пятой ворот и сразу принялся за дело.

Копал ночь, обломал когти, о щёбёнку искровенил лапы и всё-таки вышел на волю.

Был час раннего восхода. Светлый край неба румяно горел над гребнем дальней горы. Живой свет стремительно проступавшего утра играл на лбищах кирпичных зданий, на стенах таких же кирпичных заборов, за которыми стояла такая глухая тишь, что казалось, за ними не может быть никакой жизни, а есть лишь сытое шевеление, похожее на недолимый страх.

В него тоже вселился страх и сидел в нём, как червь в гнилом яблоке. Больше всего он теперь боялся людей. А вот кого боялись люди, засевающие за толстыми крепостными стенами, этого он не понимал.

Над дальним холмом, бледнея, таял реденький серпик месяца. Но стоило солнцу окатить его первым, ярко блеснувшим лучом, как он исчез, растворившись в бездне ослепительно воссиявшего неба.

Джек сел посреди безлюдной дороги и хорошенько огляделся.

Дубовая роща, плотно обложившая ржавую плешину холма, показалась ему особенно свежей в этот ранний час.

И предметы вокруг, даже кирпичные постройки в налёте росы, выглядели тоже свежо и сочно. И влажный асфальт дороги казался умытым и особенно гладким.

По этой дороге он и побежал неизвестно куда.

Сразу за горой открылось широкое поле, отливающее то ли посевами гречи, то ли розовых медоносов. Далеко за полем во всю линию горизонта лежала чёрная полоса, на ней работал трактор. С дороги он выглядел не больше спичечного коробка и казался таким сиротливым, что его хотелось пожалеть.

С противоположной стороны дороги раскинулось пространство солонцевой низины, унизанное рыжими горбами безжизненно-мёртвых кочек. Над ними кружили и надрывно плакали чиби́сы. Они наполняли сердце Джека тоской.

Увидев одиноко бредущего по дороге пса, птицы словно бы сошли с ума. Их крики стали надрывнее и отчаяннее.

Чиби́сы сопровождали Джека, пока не убедились, что ему нет до них никакого дела, и тогда отстали.

Он бежал долго. Уже солнце высоко поднялось, запестрели стада на выгоне зелёной деревушки. Ожила и сама дорога. Его стали обгонять машины, обдавая вихрями пыльной позёмки.

Джек сворачивал на обочину, уступая дорогу бешено пролетающему транспорту.

Большая чёрная машина с тёмными стёклами и жёлтыми продолговатыми фарами, похожими на глаза большой дремлющей кошки, показалась до боли знакомой. Точно на такой же уехал его хозяин. У Джека радостно дрогнуло сердце, он отчаянно взвизгнул и понёсся следом. Но машина помигала ему задними фарами и скрылась из виду.

Джек остановился и заскулил, разочарованно нюхая воздух. Опять пахнуло тоскливой жутью одиночества. Хотелось выть и плакать, но не было ни сил, ни воли.

Он лёг под можжевельный куст и задремал, отдыхая.

3

Дорога привела его в большой каменный город. Здесь и началась Джекова бродяжья жизнь.

Кормился отбросами с мусорных площадок, бежал на запахи городских свалок, подбирал объедки вокруг торговых палаток, из-за каждого сытного куска насмерть дрался со свирепыми дворовыми псами.

Где только ни довелось скитаться ему в эти дни: и на рынках, и на вокзалах. Как-то заглянул в приоткрытую дверь большого увеселительного заведения, сверкающего стеклом и медью украшений. Внутри было душно, под непрерывное ядовито-зелёное мелькание цветомузыки скакали голенастые фигуры существ, похожих на проворных луговых насекомых, вставших на задние конечности. Сами существа казались тоже зелёными, и было такое ощущение, что их лица без конца облизывает мелькающее жало незримой, страшно ядовитой змеи.

В дверь тянуло запахами вина, табачного чада и жареного мяса. У Джека потекли слюны, запершило в гортани. Он перешагнул порог, но появился охранник, округлый, как кокон огромного шелкопряда, туго перетянутый поясом. На поясе висела чёрная дубинка, а под самым горлом охранника замелькал, истерично забился маленький жгутик, тоже чёрный, как и его резиновая дубинка. И глаза охранника смотрели недобро и колюче. Джек понял, что надо уходить.

Потом он видел многих здоровых мужчин при дверях. Порой казалось, что всё мужское население города только и состоит из кого-то и что-то охраняющих людей.

Джек бежал, поджав хвост.

Ему снова и снова вспоминался светлый мальчик с пушистыми волосами. Никакие заботы не тяготили тогда Джеково сердце. И, тоскуя о мальчишке, он тосковал о собственной прошлой жизни.

За время скитаний он повидал немало людей, молодых и старых, худых и толстых, сытых и голодных, злых и добрых.

Одни из них, злобясь, гнали его прочь, случалось, и били: другие жалели, угощали хлебом, норовили приласкать. Он быстро освоился в новой жизни; стал лучше понимать язык людей, их жесты: по выражению глаз научился безошибочно угадывать настроение. Он познал человеческую доброту, приветливое простодушие, лживое притворство и, разумеется, угрюмую злобу. Как же без неё?

Научился предвидеть опасность, исходящую от человека, но, случалось, и ошибался.

Как-то на безлюдной трамвайной остановке встретил невзрачного мужичка в застиранной майке на загорелое тело.

Мужик был не стар и не молод, казался безобидным и даже несчастным.

Прилипнув к опоре электрического фонаря сухими лопатками спины, мужик помаленьку потягивал пиво из железной банки, смачно причмокивал и что-то бубнил себе под нос. Его мятые штаны пузырились на коленях, а скомканную куртку он держал под мышкой.

Прошла девица шоколадного загара в белых шортах, яркая и сдобная, как маковая булка. Мужик подслеповато прищурился, глядя ей вслед, и весело поцокал языком:

— Це, це, паря, товар-то! Вот ходют тут, надо же... Вот он, материнский капитал-то где!..

И тут его взгляд упал на Джека, невзрачное лицо мужика удивлённо вытянулось и в подслеповатых глазах мелькнуло что-то вроде любопытства.

— Экий красавец! — восхитился он тихим, будто придушенным голосом. — Ну, чего глаза лупишь? Пива хошь?.. Иди ко мне, иди, дуралей...

Джек осторожно приблизился. От мужика потянуло запахом не совсем чистого тела и ещё чем-то не очень понятным, но, кажется, дурным. Однако опасных для себя запахов Джек не уловил, смело дал мужику себя погладить.

Стало хорошо оттого, что его, бездомного пса, заметили и даже приласкали. Джек расчувствовался, доверчиво уткнулся мужику в штанину, радостно затих, придерживая дыхание.

— Ну, что, псина, совсем бесхозный, да? — ласково бормотал мужик. — Совсем бродяга... Сам себя гуляешь, да? Оприходовать тебя, что ль?..

Поглаживая Джека, мужик шумно прихлёбывал пиво и добродушно почмокивал.

— Экая плотная щетина! — восхищался он, продолжая рассматривать примолкшего пса. — Тёплая, однако. Вот штука-то на охотничьи пимы!.. Ну, что, собачара, пойдём со мной. Пивом угощу. И ещё кое-чем.

И мужик сухо рассмеялся.

Джек насторожился. И в смехе, и в добродушном тоне незнакомца проскальзывали нотки лёгкого коварства. Джек крепко потянул в себя воздух и вздрогнул, уловив запах квашеной кожи, исходящий от одежды мужика.

Он вскинул глаза и увидел, как под кепкой незнакомца завертелось, замелькало махонькое живое существо, похожее на прожорливую личинку майского хруща, только лохматое, однако совершенно бесплотное. И это существо вдруг зашевелилось, заворочалось и вместе с кровотоком заскользило, побежало по суставам.

Скатившись вниз, оно прилипло к сердцу и принялось его сосать. Сосало и раздувалось, наливаясь густой зеленью. И чем крепче сосало, тем злее становилось сухое лицо мужика, сквозь кожу которого стали проступать резкие угловатые тени.

Зрачки мужичьих глаз под клокастыми бровями засверкали странным блеском, замелькали и завертелись, как горячие свёрла. Пепельные мушки зарябили в самих глазах.

Мужик решительно отбросил пустую банку, она подпрыгнула, ударившись о рельсу, загремела и успокоилась среди шпал. Быстрым ловким движением он обхватил Джека за шею, сильно сдавил её и заорал с восторгом сумасшедшего:

— Вот и попались, что долго копались!.. Уж я-то заквашу нашу парашу!

И он опять рассмеялся, на этот раз трескуче и довольно.

Джек напряг мускулистое тело, с лёгкостью сильного зверя вывернулся из объятий мужика и угрожающе рыкнул, показывая белые мормно-крепкие клыки. Мужик понятился и отступил, замахав курткой.

— Всё, всё, брат, я понял! Я ничё! — бормотал он, испуганно пятясь к раскрашенной стене павильона. — Вишь, пиво пью... Иди, иди, я, брат, люблю собак...

Червячок внутри мужика как бы изумлённо поперхнулся, отвалился от сердца и скользнул вверх. Затем, свернувшись в комочек, маленькой округлой родинкой прилип к худому загорелому загривку.

В это время резко и требовательно зазвенел трамвай. Джек одним прыжком перемахнул через рельсы и крепкой волчьей рысью побежал прочь.

Этот случай и внушил ему самое первое и главное правило вольного зверя: ни при каких обстоятельствах не терять осторожности.

К осени он возмужал, раздался в хребте, спина стала гладкой, покатою, как крыша трамвайного вагона. Грудь окрепла, залубенела, обрела прочность хорошо просушенной дубовой доски, а короткая шерсть залоснилась.

Он научился быть стойким, неуступчивым в жестоких собачьих драках. И усвоил ещё один важный для себя урок: на воле выживают сильные, ловкие особи, самые понятливые, смекалисто-дотошные. Он видел гибель слабых собратьев и не хотел быть слабым.

Дворовые псы предпочитали не ввязываться с ним в драку, при встречах отводили глаза, поджимали хвост и уступали дорогу.

Бродячая судьба привела его на редкостное для города пространство, беспорядочно заросшее и дикое в своей запущенности. Местные называли его пустырём. Так оно, наверное, и было когда-то, пока сплошь не заросло кленовой чащобой и выродившимися плодовыми деревьями.

Джек отоспался среди густого вишенника и стал искать более подходящее убежище. Набрёл на кучу валежника, увидел нору под ним.

После яркого солнца ему показалось, что в норе темно и тесно. Но, приглядевшись, он обнаружил, что совсем и не темно, и даже не тесно.

Под валежником была вполне просторная камера в виде полусферы, а под её сводом находилась чугунная крышка колодца. Были ещё две небольшие ниши по сторонам и одна в торце.

В ближней боковой нише находилось чьё-то логово. На это указывали и запахи, и свежая, не успевшая остыть лежка.

Хозяин, должно быть, бродил поблизости и, конечно же, просто так, без решительной схватки своего жилища не уступит.

Но это не смутило Джека. Он улёгся на чугунную крышку и стал ждать, ощущая под собой приятный металлический холодок.

Ожидание было недолгим. Не прошло и часа, как послышался шорох осыпающихся веток с прогнувшегося свода и чужое пыхтение.

Хозяином логова оказался молодой спаниель с золотистой шерстью, завитой в шёлковые колечки. Почуввав чужака, он зарычал и подался назад. Но было поздно.

Короткие мускулистые лапы боксёра в одно мгновение схватили спаниеля, широкая грудь придавила сверху. Джек навалился на жертву всей тяжестью своего жёсткого тела.

Спаниель сопротивлялся, угрожающе рычал, из последних сил выкручиваясь под боксёром, но силы были неравными. Вид нависшей над ним тупой морды с брылами и могучей челюстью окончательно сломил его. Он издал жалобный звук и обречённо затих.

Джек выдержал паузу, отпустил жертву и подождал, настороженно наблюдая. Спаниель робко зашевелился, слегка приподнялся, мелко перебирая лапами, на брюхе подтянулся к боксёру и покорно лизнул его в губы.

Джек тоже покровительственно лизнул спаниеля в его обвисшее ухо. На этом они помирились и начали жить вместе.

4

До того, как лечь снегу, к ним присоединилась Клуня, молодая изящная самочка, ставшая подругой Джека.

Такой непогоды в начале осени даже выдавшие виды окрестные собаки не помнили. Сентябрь с первого же дня заявил о себе промозглостью холодного ненастья. Небо вспучилось тяжёлыми, налитыми дождевой стылостью тучами и висело так низко, что, казалось, и держится-то крышами городских высоток.

Деревья с торопливой уступчивостью принялись сбрасывать с себя листву, ещё не успевшую по-настоящему забагряться, и беспрестанно шумели, раскачиваясь нагими вершинами.

Высокий тополь на краю поляны сухо щёлкал ломкими ветками под порывами северных ветров и жалобно приставывал, словно живое, тяжело заболевшее существо.

Место обитания маленькой собачьей стаи, называемое в народе пустырь, в считанные дни потеряло былую привлекательность, сделавшись унылым и серым. Едкая автомобильная гарь, затекающая с уличной магистрали, щекотала ноздри, слезила глаза.

По ночам и вовсе становилось мрачно. Жёлтый подслеповатый свет электрических фонарей был неживым и печальным. Казалось, они и на город-то смотрят с презрительно-печальным прищуром.

Прохожие, шлёпая по лужам, кляли и погоду, и грязь, и освещение, по уверению городских властей, самое современное, с использованием передовых нанотехнологий мирового образца.

Помрачнел не только сам пустырь, но и его обитатели. Даже до-сужливые сороки притихли и, мокрые, горбато дремали в развилках ветвей, как древние убогие старушки.

Джек стойко переносил тяготы затяжного ненастья. Он старался не терять авторитета вожака и своей стойкостью ободрял собратьев по несчастью. Уступал им более сухие места в насквозь промокшем жилище.

Его великодушие Клуня принимала как должное. Грей же, не желая обременять вожака излишними заботами о себе, томился в самом дальнем углу тёмной ниши.

Они теперь редко покидали жилище. Лежали с пусто подведенными брюхами, экономя силы и тепло, ворочались скупно и не клацали зубами.

Клуня жалась под бок к вожаку. Но и тепло его тела не спасало от студёной капли, непрерывной дробью сбегающей с мокрых веток свода.

Сырость вынуждала их время от времени выходить наружу. Они шумно отряхивались, разминаясь и, разогревая мускулы, быстрой рысью принимались бегать по поляне.

Мокрый вид делал ещё заметнее худобу их фигур. Они даже с некоторым удивлением взирали друг на друга, не узнавая сами себя.

Клуня покидала обитель с явной неохотой. Отряхнувшись, усаживалась на мокрую, взъерошенную ветром листву под унылым поскрипывающим тополем, ненавистно смотрела то на пузырящееся тучами небо, то на окна ближней высотки.

Там, за окнами этого дома, жила её временная хозяйка Сагаджа Кучум. Иногда собакам случалось видеть эту женщину то возле огромного супермаркета, то возле иномарки, лихо подрулившей к её подъезду.

Была она выше среднего роста, моложава, несколько скуласта, с узким разрезом чёрных глаз на белом лице, с припухлыми, ярко на-помаженными губами капризно сжатого рта. Одевалась пёстро, часто меняя наряды.

Она могла бы считаться красавицей, но подводила походка. Ходила она, как добрый ломовик, выставляя вперёд колени и ставя ступни

ног с такой неукротимой решимостью, как будто собиралась кого-то раздавить. Эта тяжёлая походка да ещё вязкий ил в глазах указывали на характер твёрдый и упрямый.

Клуне совсем недолго довелось пожить вместе с Сагаджой, но и этого оказалось достаточно, чтобы многое понять, почувствовать и навсегда удержать в своей памяти.

В городе про Сагаджу болтали разное и довольно много глупостей. Одни были без ума и от её женского обаяния, и от живописных работ, исполненных ею, а ещё больше оттого, что судьба у неё не такая, как у всех.

Она, как только приехала сюда с мужем, так и стала местной знаменитостью. Как же, далеко не в каждый город приезжает на жительство принцесса ханских кровей. Именно так отрекомендовала себя приезжая новым знакомым: Сагаджа Кучум, последняя из рода сибирских ханов Кучумов.

Тут же нашлись люди, которые эту новость не только подхватили, но и немедля разнесли по городу. О своей новой приятельнице они и говорили-то с трепетом восхищения и взволнованным придыханием. «Ханша! Настоящая ханша! Ей-богу, иного и не скажешь! Благородную кровь и по походке видно. Идёт-то, идёт-то! Словно царская колесница!..»

Хвалили эту женщину за талант, указывали на своеобычность её картин: «Чистая работа. Настоящий русский музей!.. А уж природу как любит! Даже мух кормит хлебными крошками. И свою творческую мастерскую сплошь чучелами сибирских зверушек украсила. Это вам не тра-ля-ля, не трёп собачий, не какой-то там Киотский протокол. Здесь исключительный случай любви конкретной фауны».

И только местный художник-анималист Валерий Михайлович Бояркин высказался неодобрительно. «Какое же это природолюбие? Это же самое настоящее варварство! Дикость наших дней, лишённая здравого смысла. Как можно живых тварей в мёртвые чучела обращать!..»

По поводу ханских кровей тоже были сомнения. Но сомнения — дело тёмное и обычное в нашем народе. Всегда найдётся человек, которого ни говорящим котом не удивишь, ни вывернутой шубой не напугаешь. А уж охотников излить собственную желчь да чужое бельё пополоскать хоть пруд пруди.

Были в городе, были едкие личности. «Если каждая узкоглазая чурка будет себя принцессой объявлять, в мире и простых феллахов не останется! — говорили они со злой ехидцей. — Надо же, чего выдумала, чучмечка! Царицей себя объявить!»

Особенно активный интерес к новому человеку проявили жёны местных художников. И времени-то прошло всего ничего, а они уже насквозь знали, и кто такая, и откуда, и какова на самом деле есть.

И даже такую подробность, что любит шёлковые сорочки розового цвета, не упустили.

Они же о ней выдумали и такую новость, что их новая подруга если не ведьма, то самый настоящий энергетический вампир, это уж как пить дать. И пугали мужей: «Никогда, Коля, не становись с ней рядом. И не давай хватать себя за пуговицу. Не то так хватит, что вся энергия из тебя уйдёт!».

Случались у этих жёнок и слишком впечатлительные мужья. Возвратится такой муженёк домой за полночь, свалится в постель и пьяно бормочет: «Вот, мать, права ты была, ведьма!.. Самая настоящая ведьма! Всю энергию высосала. Вот космический насос!».

Правда, и прежде с ними бывали подобные казусы, но те случаи давно забыты, а здесь — вот он, свежий. И заботливая супруга ласково упрекала милого дружка:

— Предупреждала же тебя, как путёвого: «Не подходи близко. Не давай хватать за пуговицу». Ей же постоянно подзарядка нужна. Посмотри, что она сделала с мужем. Покрепче центрифуги отжала! Отчего, думаешь, выставяться реже стал? Да оттого, дорогой, что всю положительную энергию из него выжала. Посмотри, какой худущий он! Бледнее бледной поганки. В гроб и то краше кладут.

Разумеется, с мужем Сагаджи, вполне успешным художником Денисом Христофоровым, ничего этого и близко не было. Не сказать чтоб он был сильно раскормленным мужчиной, но и далеко не заморыш. И не урод из себя: крепкий, широкоплечий, лобастый, правда, увалень немного.

Если слегка и похудел за последние дни, так это оттого, что много работал.

Замуж Христофоров брал вовсе не Сагаджу Кучум, принцессу сибирскую, а вполне скромную девушку, свою сокурсницу, студентку института живописи и ваяния Алёну Макеевну Егудину.

Впервые о ней Клуня услышала в машине по дороге в город. Разговаривали двое мужчин, подобравших её. И она не знала, радоваться ей такому случаю или отчаиваться? И думы её были более чем тревожны. Как поступят с ней?.. Дадут ли жизни?..

Тогда же, по дороге, и выяснилось, что выбрали её два приятеля, два художника, возвращающиеся с грибной охоты. Одним из них и был муж Сагаджи, Денис Христофоров.

Разговаривали они о наболевшем, видимо, крепко задевавшим обоих, по-мужички делились мыслями, простыми и сокровенными.

Говорил больше Христофоров, а его приятель слушал да изредка реплики вставлял.

И хотя Клуне было не до разговоров двух добрых людей, но то, о чём говорилось, не могло не остаться в памяти. Горькая выходила история.

Перед тем, как супругам Христофоровым поселиться в старинном среднерусском городке, у ловкого столичного афериста, торгующего дворянскими титулами и фальшивыми грамотами, Алёна купила гербовую бумагу с императорским двуглавым орлом. Согласно этой грамоте она и стала принцессой сибирской Сагаджой Кучум.

Супруг её, по обыкновению, принимавший причуды жены с безразличием человека, занятого собственными творческими исканиями, к этой её очередной забаве отнёсся вполне спокойно. Тут у него был свой резон: чем бы дитя ни тешилось!..

Он хорошо знал слабости жены. Помнил её девичью склонность к разного рода романтическим выдумкам и невинным мистификациям. Иной раз даже думалось, уж не талант ли лицедейства похоронила она в себе? Какой только образ, бывало, ни примеривала она! И неистовой боярыни Морозовой, царевны Лебедь, и печальной пленницы Кощеевых темниц.

На первом курсе среди студентов гуляла такая байка, будто Алёна Егудина вовсе никакая не Егудина, а единственная дочь выдающегося алеутского борца за права северных народов, бежавшего от нестерпимого гнёта американского империализма. Бежали будто бы на лыжах через Берингов пролив.

И хотя Алёна была совсем ещё ребёнок, но, по её уверениям, хорошо запомнила и ту суровую северную ночь, и роковых белых медведей, гнавшихся за ними, и знаменитые отцовские лыжи, лёгкие, как индейская пирога, обитые коротко постриженной оленьей шкурой.

Чего только ни бывает в молодости! Во что только ни веришь! Особенно легко верится в истории, полные диковинных приключений и героической романтики. Тут даже самая фантастическая выдумка становится реальной явью, готовой горячить сердца, вызывая кипучий восторг души.

Но то было в молодости, а теперь-то не слишком обременительно для сорокалетней дамы?..

Денис, наверное, легко плюнул бы на очередную выдумку жены и думать об этом забыл, да вот братья-художники не давали забыть. Постоянно подтрунивали над ним, величая то сибирским султаном, то ханским нукером, то принцем северного Беломорья.

Их шутки в конце концов проняли и его. И он при случае стал пенять жене.

— Ну, что ты выступаешь на посмешище себя и меня? — миролюбиво говорил ей. — Что за выдумка с твоим ханством? Я-то знаю, кто ты.

— Ну и знай. Ты знаешь своё, а другие знают Сагаджу Кучум.

И, нервно сунув сжатые кулачки в карманы халата, удалялась, вскидывая голову с величием ханского высокомерия.

Роль надменной таёжной принцессы была, пожалуй, ей к лицу. Денис терялся: ну, что с ней делать? Пусть балуется. У каждого свои забавы, в конце концов!

К этому времени их отношения заметно охладели. И характер жены стал решительно портиться. Пошли творческие раздоры. Алёне явно было не по вкусу, что дела мужа идут в гору. Другая бы радовалась, а эта — нет, лишь недоумевала: как это, без неё, без её участия?

О её муже говорили не только в художественных кругах, но и среди рядовых ценителей живописи имя Христофорова было на слуху. Состоялось несколько персональных выставок, музейных приобретений. Полдесятка работ ушло в зарубежные частные коллекции.

Одним словом, в живописи появилось новое имя. С успехами пришёл и достаток. Оставалось лишь купаться в лучах полыхнувшей славы, плодить детишек да радоваться довольству жизни. Но не было этой радости в глазах жены. Алёна замкнулась, ушла в себя, стала капризной, раздражительной и даже злобной.

Кажется, сама мысль, что не она, а муж стал знаменем их семьи, была для неё мучительна и невыносима. И её попрекам, мелочным придиркам не стало конца. Не проходило дня, чтобы они не сыпались на Дениса: не так прошёл, не там сел, не туда посмотрел, не с тем поздоровался.

Перебранки и ссоры, как это и бывает в семье, начинались с какого-то совершенно незначительного пустяка, а доходили до горячего.

Дениса больше всего раздражал навязчивый упрёк жены: почему не хочет взять её в соавторы?

— Забыл, о чём мечтали? Только вместе, только вдвоём... А теперь что? Получилось, и сразу в кусты? — язвительно вопрошала она.

— Да не в кусты, — устало отбивался он. — Не мы же виноваты, что всё оказалось сложнее наших юношеских представлений. Сама жизнь расставила свои вешки. И расставила совершенно не так, как мечталось. Всё оказалось загадочнее и глубже наших юношеских представлений. Ты же сама видишь, у меня сложилась совершенно иная манера письма. Сама эстетика у нас разная. Не нами сказано, «нельзя запрячь в одну телегу...».

— Как же, как же, понимаю, понимаю, кто из нас телега! — не дав ему договорить, резко обрывала она. — Конечно, ты у нас трепетная лань с лапией сорок третьего размера!

— При чём здесь мой размер?

Но она уже не слушала его, уходила, яростно хлопнув дверью.

Подобные сцены со временем становились делом не просто заурядным, но даже обыденно-рутинным. Иногда оказывались до того тошными, что не хотелось оставаться дома, говорить с женой, надоедало выслушивать одни и те же обиды, а то и неприличную брань.

Но и терпение имеет свои пределы. У Дениса тоже кончилась выдержка и он однажды вспылит:

— Послушай, чего ты добиваешься? Этот фальшивый титул окончательно свернул твои мозги! Надоело жить вместе, так и скажи. Тоже, принцесса на горошине!

— Да, принцесса! — фыркнула она и, схватив сумочку, торопливо покинула его мастерскую.

После этой перебранки перестала заходить в неё, не хотела видеть его работы. Встречались теперь чаще на кухне и оба молчали.

Порой даже не верилось, что когда-то не только не мог ступить без неё и шагу, но и, кажется, дышать-то без неё не мог. Уж так она была близка ему, так любил её, что даже плакать хотелось. А что же теперь? Неужто всё прошло и перегорело? И пылкие признания в любви, и страстные поцелуи, и минуты сладостных мечтаний о великом будущем. Об их будущем. И непременно — о великом.

Ведь было это всё! Было!

Была любовь, щемящая нежность, откровения души. А теперь-то куда ушло? Что ж, случается, и родник, глохнет...

Порой его мозг начинала сверлить гаденькая мыслишка: а было ли искренне тогда? Настоящей ли была её любовь? Не лукавила ли, не притворялась, не прикидывалась ли страстно влюблённой? Может, просто ходила вокруг, выслеживала, выцеливала, словно расчётливый стрелок намеченную жертву. Вот и выстрелила точно в цель, в самое сердце.

Он в ту пору был до смешного наивен, до глупости доверчив. Был самый первостатейный деревенский лох из беломорской глуши. И жил тогда в сладостно-хмельной истоме, в страшной горячке первой юношеской страсти. И не только полюбил, но и проникся трогательной заботой, нежностью к судьбе этой чистой и несчастной девушки-сироты. Она казалась ему беззащитной, хрупкой, слабой, словно былинка при пыльной дороге. Её могли и грязью обдать, и колесом раздавить, и холодным ветром унести в неприютность глухого пространства.

И он горячо жалел её.

6

Была Алёна, разумеется, никаких не ханских кровей, а внебрачной дочерью простой калужской крестьянки Фенички Егудиной из деревни Кочарыгино и безвестного таёжного аборигена.

Когда-то её мать, девушка мечтательная и пылкая, как и многие деревенские сверстницы в ту пору, бредила романтикой далёких пространств, комсомольскихстроек, наивной мечтой о сказочном принце на белом коне. И думала о том, как бы поскорее вырваться из колхозной нуды.

Феничке не терпелось окунуться в вольное течение самостоятельной городской жизни, такой весёлой и праздной, лёгкой и захватывающе-радостной, по уверениям её старших, более опытных подруг. И ей хотелось поскорее упорхнуть, всё равно, куда.

И такой случай представился. В их краях тогда обреталась крупная геологическая партия. Прошёл слух, что геологи вот-вот должны отбыть на север сибирской тайги не то золото искать, не то знаменитые якутские алмазы.

Кадровиком в головной геологической конторе сидел знакомый человек, их сельский мужик Максим Зайцев. Вот он-то по настойчивой просьбе Ольги Васильевны, Феничкиной матери, без особых хлопот и бумажной канители и определил девушку поваром в эту самую партию.

На севере с Феничкой случилось несчастье: её ужалило неизвестное таёжное насекомое, оказавшееся вредным для европейского нежного организма, и Феничка смертельно заболела. Своего врача в партии не было, да и во всей тысячевёрстной округе его не было. А состояние больной было угрожающим. Феничка впадала в беспамятство, бредила в лихорадочном жару, кого-то звала, громко вскрикивая и беспокойными руками шаря по постели.

Надежд с каждым днём оставалось меньше. И уже никто не верил в выздоровление девушки. Да и верить, собственно, было некому. У геологов свои заботы, им не до их молодой стряпухи. Заканчивалось недолгое северное лето, а график изыскательных работ и наполовину не был исполнен. Где тут думать о Феничке? Да и чем можно помочь ей?

И было решено оставить Феничку в яранге председателя промыслово-охотничьего хозяйства, успешно сочетающего официальную советскую службу с лекарским призванием искусного таёжного шамана.

Вот этот молодой шаман и поставил девушку на ноги. И не только выходил, но и одарил её ребёнком.

В свою калужскую деревню Феничка вернулась с прибавлением, с доченькой Алёной.

Их Кочарыгино к тому времени клонилось к неминуемой черте коллективного разорения и походило на дерево с подсечёнными корнями.

Правил колхозом приезжий человек Юрий Петрович Кустогрядов, личность, ставшая довольно известной в шумную пору перестройки, вдохновленный либерал, хозяин крупного масличного кооператива.

Удивительным человеком был этот Кустогрядов и рассуждал довольно интересно.

— Ну, что вы мелочитесь, мужики, — говорил он старым активистам правленческого звена в ответ на их жалобы и брюзжание. — Страна у нас большая, богатств — море! Ну, как же в ней без воровства? Где это видано, чтобы сидеть у воды и ног не замочить? Тут главное, не захлебнуться.

Вот и «мочили ноги», кто как умел.

Об оборотистости Кустогрядова в районе ходили легенды, он знал, как качать денежку из того, на чём сидит.

За эти качества, собственно, и был посажен в председательское кресло. Оно и район можно понять, мероприятий прорва, проверяющих косой десяток. И каждый жучок хотел иметь свой стручок. Но чтобы дать этот стручок, надо где-то его взять.

В этом деле Кустогрядова не надо было учить. Ни одно партийно-общественное мероприятие районного масштаба не обходилось без его

финансово-экономического обеспечения. Банкеты, сувениры, богатые подношения важным чинам, кормёжка, гостиничные номера — всё это оттуда, из деревни Кочарыгино, из её колхозных закромов.

Плановое задание тоже никто не отменял, его полагалось выполнять. И Кустогрядов играючи справлялся с тем и другим. Бухгалтер у него был отменный, настоящий волк по части финансов.

И работали они рука об руку, разматывая колхозное добро. Район снабжали, себя не забывали, колхозникам не мешали помаленьку поворовывать. За это большую честь имели от населения.

О «новом мышлении» тогда только ещё поговаривали, а оно уже вовсю гуляло по Кочарыгино. И вышло так: в самый разгар перестройки, что можно было разорить, разорили; что можно было растащить, растащили. Осталось так себе, можно сказать, пепел да зола.

А тут ещё одна беда: сколько-нибудь стоящего мужского населения в Кочарыгино не осталось. Куда ни посмотришь, одни старики, бабы-ударницы да вконец пропащие мужики, будто специально взращённые для мелкого воровства и разгульного пьянства.

А жизнь текла, никуда не делась, катилась своим чередом. На смену перестройке пришла демократия большого замеса, один никчемный правитель объявил деревню «чёрной дырой». Вот в эту «чёрную дыру» её и выдуло, как песчинку.

Но жить-то всё равно надо. Феничке нужно было и дочку растить, самой кормиться, и вконец занемогшую мать покоить.

И пошла она доярить на ферму. Коровники кое-какие в Кочарыгино ещё остались, не все успели обратиться в железобетонные скелеты. Какое-никакое поголовье на ферме мычало, а со скотниками — хоть караул кричи. На всю деревню из мужского актива один Вася-дурачок — самый замечательный работник. Куда ни пошлют, безропотно идёт: и в тракторную бригаду, и на ток, и на ферму.

Хотя Вася и крепкий молодец, но тоже не Илья Муромец; поработает, поработает да и сломается. Ему и пряников в сельмаге покупали, и выпивкой норовили соблазнять, он и рад бы впасть в искушение, да сил не оставалось.

Дояркам самим приходилось и помещение убирать, и коровок доить, и кормами снабжать.

Поехала Феничка как-то в поле за соломой на лошадёнке. Был самый разгар крещенских холодов. С утра мороз крепко прихватывал, однако утро выдалось тихое, ясное и покойное. Январское солнце радужным венцом играло в чистом небе. И только далеко-далеко за селом над северной частью полевого склона безобидная матовая полоска узенько дрожала.

Вороны, словно бы что-то чувствуя, по одной и парно к тёмному перелеску уныло тянулись. Снег морозно скрипел под полозьями саней. А белое пространство под солнцем студёными искрами играло по широкому полю.

Доехала Феничка до места, небо стало темнеть с одного края. Только взялась за вилы, тут она и задула, закрутила матушка-метель. Да такая, что света божьего не видно.

Солому с вил срывает, из саней охапками выхватывает; навильник положит, два в поле унесёт. Ветер до того жгучий, лицо словно наждаком режет.

Руки у Фенички окоченели, телогрейку насквозь продувает, до тела достаёт, будто иголками прошивает. Подышала в варежку, согрела негнущиеся пальцы, навалилась на берёзовый гнёт, притянула к саням поклажу, ехать собралась.

Пока возилась с возом, следы замело. Пошла дорогу смотреть и оплуталась, лошадь из виду потеряла. А снег тугими волнами накатывается, колесом валит сверху, дыхание перехватывает, аж грудь стеснило.

Утопла она в сугробе, из сил выбилась. Сунула руки за пазуху, прижала к сердцу и заплакала...

Утром нашли Феничку под свеженаметённым сугробом, как со-сульку, остекленевшую. Глаза открыты, морозной известью выбелены, слёзы на щеках ледяными горошинами настыли.

Лошадь в каких-то ста метрах стоит. Уткнулась мордой в стог и дремлет под снежной попоной. Увидела людей, подняла голову, тряхнула обледеневшей гривой и радостно заржала.

Схоронили Феничку с почестями. Все расходы колхоз принял на себя.

На похороны пришли женщины из соседних Иван-Часов и много пьяных мужиков. Простились честь по чести, без всяких речей. Настала пора гроб в могилу опускать. Девочка упала на него, вцепилась ручонками и визжит:

— Мамка, не пуцу!

Тут даже пьяные мужики протрезвели, зашмыгали носами, рукавом глаза вытирают.

Алёна к тому времени уже большенькой стала, со школой пора было определяться.

Из ближней родни в деревне у неё никого не осталось. Бабушку Ольгу Васильевну ещё осенью схоронили. Перед самой Октябрьской. А чужие, они и есть чужие: не захотели принять в семью сибирскую бистрючку.

Соседка Егудиных, древняя старуха Вислогубова, всё это время присматривающая за девочкой, только и сказала:

— Оно и можно было бы, да ведь боязно... Родимец знает, от кого прижита. Может, от самого лешего?... Расти, пожалуй, на свой грех... А так она ничего, девочка острая. Только дикая, ровно кошка.

И суеверно перекрестилась.

Пришлось Алёну в приют отдать. Государство и вырастило её, и выучило на художника-оформителя.

Ей с детства внушали, что она необыкновенная, не такая, как все. «Бог наделил тебя талантами, — говорили ей добрые тётки. — У тебя может случиться большое будущее. Только старайся, деточка».

И она старалась — и в детском доме, и в институте. Везде была отличницей.

Даже выдавшие виды столичные преподаватели, бывало, дивились: «Надо же, из северного чума, а такой изысканный бриллиант! Вон, дочка цековского товарища с головы до пят в импорт упакована, и дубина дубиной, а эта посмотри что...».

Алёной нередко министерских проверяющих угощали, словно диковинным экзотическим продуктом. Полюбуйтесь, дескать, яркая представительница малых, исторически отсталых в своём развитии народов, сирота, но способностей необыкновенных. И с пафосом добавляли: «Где, в какой ещё стране может быть подобное? Вот она, действенная национальная политика государства!».

С самых ранних пор и запало Алёне в голову, что она безмерно талантлива. По талантливости с ней и поставить рядом некого. Денис, конечно, талант, но не такой, как она.

В институте она не была обделена и вниманием сверстников. Что-то притягательное находили в её азиатских чертах. И порой в обществе Алёны не прочь были покрутиться молодые представители значительных фамилий, сливки столичного общества, представители так называемой золотой молодёжи.

А она приглядела Дениса. На нём и остановила взгляд.

Подружки дивились её выбору. Надо же, влюбиться в деревенского тюху! Подумаешь, хорошо рисует!.. Все мы хорошо рисуем...

Но тут они ошибались. По части рисунка не было Денису равных в их потоке. Сам ректор, именитый маэстро Глызин одобрял его работы. Их демонстрировали на студенческих выставках. Грантами одаривали. Ему предрекали успех художника большого дарования. Но и оговаривались при этом: «Если, конечно, не испортишь себя, с круга не сопьёшься».

Алёна оказалась прозорливее своих подруг. Она и смотрела дальше, и видела больше. И о жизни судила глубже и практичнее, чем они. Ведь, в отличие от многих сверстниц, ей самой приходилось во всём полагаться лишь на себя и об устройстве собственной судьбы думать самой. Она уже тогда понимала, что без надёжной опоры и крепкого мужского плеча одной долго не устоять.

Эту опору и увидела в Денисе. Он более других подходил для жизни. И у неё появилась мечта: вот соединятся они, станут мужем и женой, их таланты сольются в одну могучую кисть. И сотворят они нечто такое, отчего ахнут и бывшие наставники, и подруги её, и вся эта лстоличная богемная плесень.

Пошло так, как и замыслила. На последнем курсе сыграли свадьбу, после выпуска надолго осели в Подмоскowie, окрепли, почувствовали

вкус жизни, в силу вошли, решили махнуть в глубинку, чтобы там, в тиши российских просторов, и творить своё великое.

Под влиянием работ мужа Алёна стала налегать на русский пейзаж, хотя это было совсем не свойственно её дарованию. Ведь специализировалась она на росписях. Миниатюрами баловалась. В Палех на практику ездила.

Писали они с Денисом вроде бы одними красками. Одной палитрой, можно сказать, пользовались. Но под его кистью краски золотыми огнями переливались, как живые, теплотой радости дышали, а в её рисунках не было этого праздника души и тепла. Она недоумевала: отчего так? Отчего не сбылись предсказания вузовских авгуров об исключительности её таланта? Что, всё это было неправдой? Или куда-то ушло? Но почему и куда?..

В ней росло раздражение против себя, против окружения, против мужа. Она становилась нетерпимой к другим, к чужому мнению. Ей хотелось доказать и ему, и публике, что она крепче, звонче, сильнее иных хвалёных художников.

Пейзажи её приобретали характер злой нарочитости и были чужды публике, тонко чувствующей природу русского рисунка.

Если у неё был утёс, то из его каменного чрева непременно проглядывала какая-то совершенно непонятная и даже зловеющая фигура, что-то вроде языческого идола, показывающего кукиш. И главное, само исполнение выглядело торопливым и аляповато-скомканным.

Создавалось впечатление, что кисть не слушается её и действует по своему произволу. Было непонятно, кто водит её рукой, не желает пустить за порог ученичества?

Она, конечно, догадывалась, не могла не понимать, что не получается, не так выходит, как хотелось, и мучилась желанием превзойти саму себя. И оттого, что мучилась, досадовала и злилась, выходило ещё хуже.

Жёлтые газетёнки были внимательны к ней. Но писали, в основном, не о творческих достоинствах её работ, налегали на частные подробности. Ну и кое-что привирали от себя. Выдумали, например, будто свою генеалогическую линию она ведёт от любовного соития атамана Ермака с одной из дочерей хана Кучума.

Шумели и о её картинах. Особенно шумно была встречена картина «Русская квадрига», изображающая двух измождённых стариков в одной колеснице с двумя уродливыми девицами, похожими на сороконожек. Погоняла колесницу большая серая крыса в короне с двуглавым орлом.

Строгие ценители живописи возмутились, громче заговорили о дурновкусии автора, а жёлтым газетёнкам опять радостная пища. «Вот она, настоящая Русь! — восклицали они. — Ишь, как полыхнула под кистью яркой представительницы угнетённых окраин!»

Эта работа жены больше всего возмутила Дениса. Он сказал:

«Если у тебя такое издевательское представление о стране, вскормившей тебя, это твоё дело. Но вот подпись «Христофорова» касается уже и моей чести».

— Не извольте беспокоиться, барин, замажем вашу подпись, — фыркнула Алёна и упорхнула к себе в комнату.

Её как будто разжигал кто. Она продолжала дразнить и мужа, и публику. Даже изображение православного храма под её кистью приобрело злоеущий характер.

С виду храм как храм, пятиглавый, на берегу зелёной, словно ящерица, речки. Но из луковиц золочёных куполов вместо креста торчат козлиные рожки. А со звонницы свисает лохматый хвост, должно быть, самого нечистого.

Приятель Дениса художник Бояркин назвал эти работы «рудиментом язычества, плоского и скучного, как гладильная доска». О «квадриге» же заметил, что автор впал в диффамацию.

Его отзыв возмутил Алёну. Она фыркнула, как рассерженная кошка, и ушла, не обронив ни слова. И теперь, когда случалось Бояркину бывать у них, демонстративно уходила к себе.

Свои работы она объявила «новым авангардом». О шумных публикациях в прессе говорила, усмехаясь: «Пусть шумят. Больше шума — больше денег. А вся эта болтовня о традициях, о русскости письма — дремучая чушь, выдуманная ангажированными критиками. Всё это давно затёрто в мыло...».

Споры в семье становились более горячими и выливались в злые перепалки, лишь ожесточающие супругов.

Денису начинало казаться, что она вовсе не художник, никогда не была им, а лишь притворялась. И что душа её если и была когда-то широкой, то теперь измельчала и сошла на нет.

Картины Алёна теперь подписывала не иначе как «Сагаджа Кучум, принцесса сибирская, этническая кучумка».

— Это ещё зачем? — увидев подобную подпись, удивился Денис.

— Это так. Для коммерческого куража, — небрежно пояснила она, криво усмехаясь.

Денис хмуро поглядел на неё, потер подбородок и задумчиво спросил:

— Тебе не кажется, что ты теряешь себя? И всё большеходишь на базарную торговку лежалого товара? — И сухо добавил: — Быстро же мы перестроились!.. Только учти, меркантильность — последнее дело в искусстве! Творец, нацеленный на коммерцию, и производит коммерцию. Тебя учили лучшие художники. За твоей спиной целый пласт русской культуры, её самобытной эстетики! А ты что?

Она откинула голову, приосанилась и, подперев бока, откровенно рассмеялась.

— Ой, как громко! Знаешь, милый, — не переставая усмехаться, певуче произнесла она, — ты не находишь себя похожим на напыщен-

ного резонёра из дурной старомодной пьесы? — И, выдержав паузу, добавила: — Сам же сказал, что действительность сильнее юношеских мечтаний. Теперь у нас не то, что в молодости. Другое время на дворе. Теперь, кто смел, тот два съел.

Её брови сдвинулись, лицо напряглось и она, боясь не успеть высказать самого главного, отчеканила торопливо и твёрдо:

— И, знаешь что, давай навсегда забудем то, что было прежде. Покончим с дурными наваждениями прошлого! Не маленькая, всё понимаю... У нас разные дороги с тобой.

Она порывисто отвернулась и, ссутулившись, уставилась в окно.

Денису стало жаль её. Но тяжкий камень, придавивший сердце, был сильнее этой жалости. И он спросил холодно и жёстко:

— У тебя нет ощущения, что мы становимся чужими?

И замер, выжидая.

— Да, становимся! — резко повернула она к нему своё лицо и вскинула легонько дрогнувший подбородок. — Жизнь сама провела между нами между...

Он вздохнул и пожал плечами.

Жили они по-прежнему под одной крышей, но без всякой близости. Даже говорить стало не о чем, да и незачем.

С некоторых пор у неё появилось одно пристрастие, которого не было прежде. Она стала прикладываться к рюмке и порой довольно основательно. Случалось, теряла контроль.

Происходило это обычно в дружеских компаниях: она вдруг выскакивала из-за стола и пьяно кричала, раскосматившись и скидывая руки:

— Вы знаете, кто я!? Вы не можете этого знать. Вы чижики передо мной! Я с самим Глызиным знакома! Плебеи, знаете, кто такой Глызин?

— Как же, как же! — с насмешливой язвительностью несло со всех сторон. — Личность известная! Король во фраке, генсека анфас. Почти родной брат гиганта Царинбели!

— Вот захочу и перекрою вам кислород! — грозилась она, раскачиваясь и сверкая щёлками прижмуренных глаз.

Компания, обычно состоявшая из своего же брата-художника, разумеется, не желала конфликта. Он никому не нужен был, этот конфликт, и уж, тем более, чтобы кому-то «перекрывали кислород». И все наперебой принимались уговаривать её:

— Сагаджа Кучумовна! Сагаджа Кучумовна! Принцесса ты наша! Да что ты, сибирячка золотая, мы же любим тебя! Куда нам без тебя?.. И работы твои нравятся. От души нравятся! Ты же самая талантливая у нас! Ты же звезда!..

— Да, звезда! — соглашалась она, выпячивая грудь и силясь подбоchenиться. — И не только среди вас. Я вообще звезда!.. Вот посмотрите, как заговорит обо мне Россия!

— И не только Россия! — весело подхватывал вечно хмельной карикатурист Каплунович, весёлый лохматый человек. — Вся Галактика!..

— Да, Галактика — тоже! — не замечая подвоха, соглашалась она и, успокаиваясь, тянулась за очередной рюмкой.

Денис готов был провалиться со стыда. Как и полагается заботливому супругу, он решительно подступал к ней, сильными руками подхватывал под плечи, вытаскивал из-за стола и уводил домой.

Она отчаянно сопротивлялась, протестуя, кричала, что он и мизинца её не стоит, что и мужем его не считает, что он — недоразумение, её роковая ошибка, что и получше были претенденты на её руку и сердце.

Ей постоянно мерещилось, что за её спиной плетутся коварные заговоры, что рядом с ней находятся одни интриганы, неисправимые завистники, что ей не оказывают должного внимания. Отношения теперь у неё были налажены лишь с теми живописцами, которые готовы были угождать перед ней, рассыпаться в лстивых комплиментах и сладкой похвале.

На редких, но шумных сборищах собратьев по ремеслу она садилась непременно отдельно, всем своим видом показывая, какая она особенная, не такая, как остальные, примитивные и бесталанные.

Как-то местная владелица художественного частного салона госпожа Наседкина предложила ей выставиться у неё вместе с работами ещё нескольких художников.

Она изумлённо пожалала плечами и обиженно поджала губы.

— Вы что, Анна Сергеевна? Как это можно? Разве я похожа на художника, который позволит себе участвовать в этой сборной солянке?

Даже в самом лице её стало больше угловатости и появилось что-то рысье. Особенно заметно это становилось во время перебранок. О, в каких только злодеяниях ни обвиняла она Дениса! Оказывается, он и только он повинен в том, что и город для проживания избрали не тот, что местное начальство здесь не то, не оказывает ей надлежащего внимания. Да и ветры здесь вредные, дуют с речной стороны.

— Завёз в зачуханный городишко! — иступлённо кричала она. — Похлеще злой свекрови!.. Облепили хлебные места, как мухи! И ходят, надувшись, ничего талантливое не видят. Мой талант здесь вообще никому не нужен!.. Вот брошу ваш поганый улус и оставайся со своим болотом! Да и тебя здесь не ценят!

— Это кто же меня должен ценить? — насмешливо вопрошал Денис. — Уж не бывший ли градоначальник Ливанский? Но он и сам-то нынче где-то по международным подвалам прячется от правосудия... На любовь начальства я и не рассчитывал. Извини, не приучен пресмыкаться. Да и на кого я должен рассчитывать? Сегодня он начальник, а завтра казённый вор в бегах. Сегодня он власть, а завтра зэк на нарах... Рассчитывать, милая, художник должен только на себя. А мотаться по стране — удел вечных неудачников.

Он знал, никуда она не поедет. Некуда ехать. Некуда и незачем. Никто нигде не ждёт её.

И не уставал внушать ей:

— Займись делом. У тебя же был лучший декор на курсе. Тебя в пример ставили. Вот и прояви себя. Посмотри, сколько возможностей вокруг. Нынешние богатеи, кажется, вознамерились венецианских дождей перещеголять. Посмотри, какие возводят себе палаццо, только успевай расписывать! Ты же неподражаемый художник-декоратор.

Его советы бесили её, порой доводя до иступления. Казалось, смола закипает в её темных зрачках.

Кончалось обычно тем, что она начинала браниться самой грязной бранью, той, которую ещё на детдомовских задворках подхватила.

— Я не маляр, чтобы мазюкать бетонные казематы! Сам расписывай эти уродливые стандарты! — кричала она, дрожа и негодуя. — Думаешь, Бога за бороду ухватил? Нет, милый, кончится и твой праздник. Тогда и посмотрим, как запоёшь!..

— Да уж не стану уподобляться крыловской лягушке!

— Ах, я, по-твоему, лягушка? — с новой силой взрывалась она.

Однажды он тоже ответил грубо и едко, будто кислотой плеснул:

— Ты посмотри, на кого похожа! Ты же превратилась в настоящую Бабу-Ягу — злую и мелочную! У злобных мегер не может быть доброго таланта! Он чахнет, как цветок под ледяным дождём.

Но и этот скандал не стал последней каплей в их отношениях. Оба понимали, дело клонится к неизбежному разводу, что он не за горами, вот-вот должен грянуть. Недостаёт лишь самого малого, какой-то одной существенной капли.

7

На Новый год был назначен губернаторский бал с приглашением местного бомонда.

В числе нескольких творческих работников на этот раз пригласили и Христофоровых.

Приглашение страшно обрадовало Алёну. Она долго вертела в руках цветную с золотым тиснением открытку и глаза её сияли странным металлическим блеском.

Не мешкая, она в тот же день бросилась к парикмахерам, отправилась в поход по магазинам, побежала в мастерскую индивидуального пошива, заказала бальное платье.

Перед тем, как ехать на бал, Алёна вышла из комнаты в этом своём новом наряде; в платье, отливающим густой малахитовой зеленью, с вырезом на спине, с красным бантом, с крупной гранатовой заколкой на груди, с немыслимо высокой причёской густых тёмных волос.

Денис едва не ахнул. Принцесса!.. Настоящая сибирская принцесса! Может, и вправду она ханских кровей?..

На балу Алёна познакомилась с чиновником мэрии Иваном Ивановичем Пырышкиным и он, любезничая, весь вечер был возле неё.

Денис с бокалом шампанского всё это время торчал на антресолях в кругу знакомых художников и актёров местного драмтеатра. Разговоры в основном вращались вокруг женщин и губернаторской зарплаты.

Денис рассеянно слушал, иногда отвечал невпопад, а сам жадно наблюдал за Алёной и её неожиданным обожателем.

Было всё-таки досадно видеть, как щеголеватый казённый шнурок назойливо увивается возле его пока ещё жены, прислуживает ей и она оказывает ему знаки благоволения.

И, чтобы вывести себя из досадного состояния, он принялся рассматривать публику, так называемую новую элиту. Первым в глаза бросился успешный предприниматель и спортивный меценат Шурьгин, отсидевший положенный срок за вооружённый налёт на инкассаторов. Это был подтянутый, спортивного сложения мужчина лет сорока с быстрыми пронзительными глазами. Он находился в обществе недавней профсоюзной активистки, а ныне владелицы кирпичных заводов, предпринимательницы мадам Дятловой, некрасивой женщины с ярко накрашенными губами, в платье до пят, переливающимся голубыми и серебряными тонами, с бурой лисицей, небрежно накинута на плечи.

Модный режиссёр и общественный деятель Грибович, сухой и лысый, с узким заострённым лицом и таким же острым носом, с бокалом шампанского ходил между малиновых пиджаков, высоко поднимал нос и что-то нюхал, шевеля то одной, то другой ноздрёй. Его выпуклые глаза светились красным цветом, словно у рассвирепевшей крысы. Денис догадался, что это отблески малиновых пиджаков в них отражаются. Но сходство с крысой всё-таки была налицо. Режиссёр был славен своей необыкновенной деловой прытью и Денис подумал, если бы ему довелось делать карикатуры, то Грибовича он изобразил бы именно в образе проворной подвальной крысы.

Мода на малиновые пиджаки в стране уже отходила, но в здешние края она добралась с большим опозданием и всё ещё держалась среди местного бомонда. Во всяком случае, на балу немало сошлось этих пресловутых малиновых пиджаков.

Владелец газовой трубы Скоропудов, человек без шеи, но с выдающимся подбородком, в позе Наполеона застыл возле колонны, крашеной под зелёный мрамор. Газовый барон и сам походил на тяжёлый монумент то ли николаевских времён рослого гренадёра, то ли главаря сицилийской мафии.

Директор нефтяного промысла Чубуков, в чёрном смокинге, прилизанный, с короткими, сложенными на животе ручками, угодливо ходил между губернскими чинами и беспрестанно кланялся. Он представился Денису в образе пчелы, перелетающей с цветка на цветок.

Этот образ и придумывать было не нужно, сам просился в руки. Ещё при советской власти Чубукова перебрасывали с одного номенклатурного цветка на другой и всегда неудачно.

Прошёл слух, что в связи с предстоящими реформами ЖКХ, его теперь собираются переместить на губернскую коммунальную клумбу. И у Дениса мелькнуло: «Бедные трубы!..».

Белокурый сынок губернатора, почти мальчишка, но уже банкир, с глуповатым румяным лицом и неестественно вытаращенными глазами увивался возле балерины Кувшинской, молодой, тонкой дамы, одетой в голубое платье. Прислонившись к колонне, она жеманно поднимала одну ножку и, стоя на другой, походила на голубую стрекозку, прилепившуюся к прибрежному пню. Обмахиваясь веером, Кувшинская манерно вытягивала губы и что-то весёлое рассказывала молодому банкиру. Он пучил водянистые глаза и слушал её с полуоткрытым ртом.

Сам губернатор, стройный, элегантный, гладко выбритый брюнет, тоже был в красном пиджаке. А как же, мода! Хотя и веяло от неё флюидами криминального мира, но всё равно мода. Куда же от неё такому видному политическому деятелю? Живя в обществе, нельзя быть свободным от общества, как, извините, справедливо заметил какой-то классик марксизма.

На шее губернатора был повязан галстук, в цвета государственного флага. Он стоял на маленьком возвышении, держа перед собой бокал, наполовину наполненный французским вином, приветливо улыбался и смотрел на публику стальными, всё подмечающими глазами.

Помощник время от времени подводил к нему кого-то из гостей, представлял, сам при этом вытягиваясь во фронт. Губернатор мило стивно склонял голову, умасленную до бриллиантового блеска, сверху вниз подавал обомлевшему счастливцу собранную в лодочку ладонь, похожую на лопаточку для поедания мороженого, и что-то важное говорил ему.

Было немало матрон ещё советской эпохи, сдобных, как поминальные пироги, с белыми рыхлыми телесами. Основная часть их одежды состояла из яркой импортной синтетики, затрудняющей дыхание.

Своей особой пышностью среди дам выделялась бывшая директриса городского ломбарда, а ныне владелица местного пивного завода мадам Иволгина. Она была в костюме то ли юной феи, поджидающей страстного амура, то ли предводительницы племени воинственных амазонок. Её толстые ноги были сплошь увиты ремешками, на голове покачивался смешной плюмаж из крашенных перьев. Для особого эффекта Иволгина кокетливо потряхивала им и загадочно прятала губы в платок.

Пышные дамы дышали глубоко и затруднительно, словно рыбы, выброшенные на берег, по залу перемещались медленно и грузно.

Зато молодые вертихвостки летали, как пропеллер. И все стреляли глазами в статного человека, молодого чиновника из какой-то столичной инстанции, прибывшего с проверкой. Его так славно приветили здесь, таким почётом хлебосошества окружили и сам воздух провинции оказался столь благодатным, что и расстаться с ним стало просто невозможно. Так и дышал бы до скончания дней своих. Чиновник до того опьянел от радушия и приветов, так закружился, что и про столицу забыл, и Новый год едва не проморгал, увлечшись контрольными функциями.

А какие прелестницы окружали его!

Ну а для провинциальных прелестниц, известное дело, каждое свежее столичное лицо всё равно что огненный поцелуй в самое сердце. Так и загораются, бедные, пламенем личного интереса и необыкновенной любезности. И в глазах уже мечтания медовыми реками бегут. И сама, голубушка, течёт и тает вся. Гладишь, вот оно и свито в прелестной головке тёплое семейное гнёздышко из мечтательного пуха. Ох-хо-хо, беда с этими провинциальными кокотками...

А чиновники, чиновники-то, один виднее другого! И каждый, страшно подумать, отечески строг и ответственен. Так и внушает вам: «Мы — люди серьёзного государственного сословия. Да, мы воруем, но воруем не для праздного удовольствия, а исключительно для дела. И взятки берём не у всех, а у этих так называемых предпринимателей. Им-то тоже ведь их богатства не господь сверху послал. Также где-то что-то отщипнули. А коли так, почему не поделиться с государственным человеком? Отчего у них не отщипнуть?».

Денис с удивлением открывал для себя: да это же всё у классиков было! И времени-то, ого, сколько отыграло, а ничего не изменилось. До чего же крепка сословно-генетическая память!

В самый разгар бала, когда дело в иных местах дошло до тёплых братаний, мужских поцелуев и выкриков: «Ты меня уважаешь?», — на подиум выпорхнули три полуобнажённые красотки из вокальной группы «Огневушки-поскакушки» и, вертя задом, принялись водить в воздухе руками, напевая под гремящую музыку:

*Ты меня не знаешь,
Ты меня узнай.
Я большая тайна,
Тайну разгадай.
Сядь ко мне поближе,
Я воскликну: «Ой!».
Козелок мой старый,
Ты ещё живой...*

Кто-то из актерской компании произнёс скучным голосом: «А ничего штучки! Правда, сильно замызганные». Другой актёр, с толстым багровым лицом, играющий в театральных постановках роли бандитов

и главарей мафии, ответил так же лениво и скучно: «Да, ничего, пожалуй, сойдут от изжоги». И пьяно рассмеялся.

Денис вспомнил карикатуру Каплуновича с эпиграммой в местной жёлтой газетёнке на молодую певичку Руту Печерскую:

*Зажглася новая звезда
Эстрадно-звёздного причала,
Значит, в ход пошла...*

— дальше шла рифмованная непристойность, которая и могла быть напечатанной только в жёлтой прессе.

Ему стало скучно, он поставил бокал расторопному малому на его бронзой отливающий поднос и ушёл, не попрощавшись.

8

Вот с этого памятного новогоднего бала окончательно и рассыпалась супружеская цепь. Теперь уже не оставалось никаких надежд на то, что бывшие отношения могут склеиться.

Ох, уж эти женщины! Денис и представить не мог, на какие невыслимые повороты способны их тонкие души. И с каким затаённым коварством умеют они исторгать из себя отравленные стрелы мстительной ненависти...

Готовить Алёна давно перестала, а теперь окончательно забросила домашние дела и основательно занялась своей внешностью: без конца подкрашивала капризный ротик, наводила густые тени, увеличивая разрез глаз, завела причёску в виде приспущенного на лоб волана, отливающего сизостью вороньего крыла. И, кажется, всерьёз начала примерять на себе образ Джоконды. С уст так и не сходила постоянно блуждающая полуулыбка, которую при определённой монголоидности её лица трудно было назвать загадочной.

Всё указывало на то, что она влюбилась. Денису вроде бы полагалось ревновать, но, напротив, он даже успокоился и с головой ушёл в работу.

В нём и самом произошли перемены, перегорела и отвалилась какая-то важная частица его человеческой сущности. И теперь не узнать было в этом постоянно озабоченном мужчине прежнего наивного мальчика из карелобеломорской глуши.

Да, осталась в его душе некая горчинка от быстро пролетевшего времени, от безнадёжно остывшей юношеской страсти. Оказывается, и любовь не вечна под луной.

Что по-настоящему тяготило, так это предстоящие хлопоты бракоразводного процесса. Он ждал их с беспокойством человека, далёкого от всевозможных адвокатских ловушек и судейского сутяжничества. И думал о том, как это, должно быть, ужасно: ходить по судам, растрачивать себя, свои душевные силы на публичное перетряхивание семейного белья и выслушивание мелких дрызг.

Зная характер Алёны, её суровую неуступчивость, Денис был почти уверен, что им никак не обойтись без делёжки квадратных метров, имущественных приобретений и, возможно, даже картин.

И всё это в то время, когда замыслено новое большое полотно, которое вызрело в нём, само просилось на холст и он всецело поглощён властно захватившей его работой.

Приятели Дениса, иные из которых по два-три раза успели жениться и развестись, смеялись над его страхами и успокаивали: дело-то самое обыкновенное, житейски простое и незамысловатое. Иной раз даже занятное. Незачем, дескать, отчаиваться, никакой драмы тут нет.

Другие, изрядно помятые судебскими жерновами, напротив, чертыхаясь, запугивали: «Влип ты с этой своей принцессой. Грязи не оберёшься! Можешь не сомневаться, наш самый гуманный в мире суд последние жилы из тебя вытянет, особенно, если судьёй окажется старая дева, или, не дай бог, чья-то брошенная желчная стервочка».

В своих отношениях с Алёной они незаметно перешли на официальный тон. Она теперь обращалась к нему только по имени-отчеству — Денис Петрович.

Пырышкина тоже звала по имени-отчеству, Иваном Ивановичем. И голос её при этом становился необыкновенно сладким, нежно воркующим и застенчиво дрожал.

Ей, кажется, ужасно льстило ухаживание совсем не рядового в городе человека, руководителя департамента всего социально-бытового хозяйства.

Да и вообще Пырышкин был мужиком приглядистым. Среднего роста, худощав, в меру тонок, светловолос, с белесыми реденькими усами. Одно было огорчение — очки.

Но зато примечательна была улыбка Ивана Ивановича, настоящая фирменная улыбка голливудского киноактёра.

Он наверняка знал о своей сиятельной улыбке. И на каждом шагу расточал её, обнажая ровные, будто по одной мерке снятые зубы. Кому-то они могли показаться даже искусственными из-за своей непорочной белизны.

Дениса при сдержанной неприязни к Пырышкину эта постоянно приклеенная к лицу улыбка Ивана Ивановича не просто раздражала, но и вызывала приступы изжоги. Она казалась насквозь фальшивой, как, впрочем, и сам Иван Иванович.

Говорил Пырышкин много, охотно и с таким захлёбывающимся увлечением, что казалось, и сам обмирает от удовольствия слышать себя.

Его походы к Алёне начались с малого, казалось бы, с незначительных деловых визитов. Сначала заходил к ней в мастерскую под разными благовидными предложениями: то освещение посмотреть, надёжность отопительной системы проверить, то узнать, не дует ли, не про-

текают ли углы? Заодно и на новый этюдик взглянуть, полюбоваться картиной, засвидетельствовать своё глубокое почтение.

Эти его как бы случайные визиты вскоре стали ежедневными и приняли характер устоявшегося постоянства. Он был всегда чисто одет, в сером безукоризненно отглаженном костюме, в красном галстуке, и приходил непременно с цветами. Вежливо здоровался, сияя знаменитой голливудской улыбкой, целовал Алёну ручку, выражал восхищение необыкновенной самобытностью её таланта и лил, лил сладостный бальзам на Алёнину размякшую душу.

Она таяла и млела от его похвал, смотрела на него влажными от восторга глазами и умилялась: до чего обаятельный человек Иван Иванович! Начальник, а такой милый, простой и внимательный. Не то что Денис. От этого буки доброго слова никогда не услышишь.

Новое чувство настолько захватывало Алёну, что она быстро и со всей страстью отдалась своему сердечному влечению. Даже внешне переменилась: заметно помолодела, похорошела, подтянулась, походку изменила, ступала теперь мягче и уступчивее. И главное, вернула веру и в себя, и в собственные необыкновенные способности.

Уже через месяц после их знакомства Иван Иванович стал бывать не только в мастерской Алёны, но и запросто появлялся в квартире. На Восьмое марта он сделал Алёне подарок: преподнёс большой букет красных роз и унты из собачьего меха, пушистые, лёгкие, с изящно выточенными носочками, шитые явно на заказ и далеко не рядовым мастером. Он назвал их торбасами, на северный манер.

С этим подарком Иван Иванович, можно сказать, в самую точку угадал. Март выдался снежным, ветреным и Алёна теперь не вылезала из тёплых мягких торбасов. В шубке из сибирских соболей, в белой горностаевой шапочке, в унтах, пришедшихся ей в самую пору, она выглядела настоящей Снегурочкой из какой-то дивной северной сказки.

С Денисом они жили теперь по разным комнатам. С молчаливого обоюдного согласия она заняла самую большую комнату с округлым балкончиком во двор. За ней осталась ещё и спальня, тоже с балконом.

Денис поселился в дальней комнате, довольно уютной, с застеклённой лоджией и видом на пустырь.

Они и холодильники завели каждый себе отдельно. Жили хотя и мрачно, но зато тихо и спокойно, как два старинных, не во всём согласных соседа.

Детей они так и не завели, и рвать душу было некому.

Ожидая Пырышкина, Алёна страшно волновалась, то замирала, как птичка на гнезде, то оживала, суетясь и постоянно выскакивая на балкон.

Завидев машину Ивана Ивановича во дворе, она радостно всплёскивала руками и бежала на лестницу, чтобы возле лифта встретить желанного гостя. Затем быстро увлекала его за собой в комнату, доставала из буфета конфеты и коньяк, ставила кофе.

Если было тепло, они выходили на балкончик, округлый, тесный, но по-домашнему уютный, и здесь за журнальным столиком, сидя друг против друга, подолгу щебетали, как две весенние ласточки.

К этому времени Иван Иванович перестал стесняться Дениса, вёл себя запросто с ним, сердечно жал руку при встречах, одаривая своей безукоризненной улыбкой. Иногда они беседовали, но скупой и при этом настороженными взглядами ощупывали друг друга.

Были разговоры, будто Пырышкин собирается разводиться с женой и не нынче, так завтра предстанет перед Алёной совершенно свободным человеком.

Это обстоятельство, видимо, и принуждало её к требованиям немедленного развода. Денис и сам был не против, но только не сейчас, когда он занят. И занят очень серьёзно.

Работа над новой картиной отнимала и силы, и время. Он спешил. Хотел успеть к большой осенней выставке в столице. Уже и заявка на участие в ней была отправлена в оргкомитет.

За работой время летело, сказать, что быстро, значит, ничего не сказать. Оно не просто летело, а мчалось на всех космических рысях. Денис не замечал его, неделями не вылезая из мастерской. Спал здесь же на кушетке.

Незаметно минула весна, уже лето было на исходе, а их бракоразводный процесс так и не сдвинулся с места.

Дважды назначались слушания у судьи. И оба раза откладывались из-за неявки ответчика.

Алёна рвала и метала и, прибегая в мастерскую, закатывала ему визгливые скандалы. Так было в начале лета, затем вдруг она успокоилась, притихла, лишь изредка беззлобно грозила под хмельком: дескать, пожалеешь, боком выйдет тебе всё это, милый друг. Полной чашей испьёшь последствия.

Появилось известие, что и Пырышкин с разводом не поспешил. Но это никак не повлияло на их с Алёной отношения. Они по-прежнему были близки, часто выезжали за город. И, разумеется, не на Алёнины этюды. Ездили развлечься.

Машина у Ивана Ивановича большая, просторная, удобная хоть для дальних, хоть для ближних вояжей. И цвет — одно удовольствие: вся перламутровая с голубыми переливами.

За городом Пырышкин имел большой участок и дом с колоннами в двух уровнях. Но бывали они с Алёной в нём крайне редко, исключительно в отсутствие Софьи Михайловны, жены Ивана Ивановича и его дочери-подростка.

Порой, возвратившись из загородной поездки, она заставала Дениса в их квартире. Он видел её, раскрасневшуюся, благодущную, в приподнятом настроении, и втайне завидовал ей.

Желая поддразнить Дениса, она начинала хвастаться перед ним и

роскошной природой, на которой они отдыхали, и чудесными шашлыками, приготовленными персонально для них каким-то Ашотом Голустяном.

И хотя её поездки и похвальба крепко задевали Дениса, последнюю точку в их отношениях поставили всё-таки не они.

9

К середине августа работа над картиной наконец была завершена. Это было большое эпическое полотно из истории Средневековья.

Прежде чем отослать картину в адрес устроителей осенней выставки, Денис показал её друзьям, знакомым, ценителям живописи, членам художественного совета.

Картину дружно хвалили, ею восхищались. Говорили, что исторические детали решены в совершенно новом художественном ракурсе, что полотно далеко не рядовое, оно современно по исполнению, монументально по воссозданию эпохи Средних веков.

Даже Иван Иванович от души похвалил картину. Алёна промолчала, внимательно посмотрела, поджала губы и ушла.

Денис собрался уже паковать полотно, как вдруг в правление ассоциации местных живописцев поступает письмо за подписью «Константин Маковский».

Что это анонимка, и гадать было нечего. Неизвестный «доброжелатель», спрятавшийся за имя одного из почитаемых Денисом художников девятнадцатого века, не без ехидства сигнализировал руководству ассоциации, что новое полотно Христофорова «По Руси» не является его оригинальной работой, что это якобы ничтожная копия картины безвестного автора конца прошлого века.

Следовала и такая издевательская приписка: «И этот рогагоносец считается хвалёным членом Вашей ассоциации! Не стыдно сидеть за одним столом со столь жалким плагиатором? И как можно терпеть подобное в наши дни продвинутых идей и просвещённой демократии?».

Написано было крупными буквами толстым фломастером на обёрточной бумаге из-под хозяйственного мыла и с нарочитой корявостью.

Писал явно кто-то из близкого круга, хорошо осведомлённый о положении дел в семье.

Поступи подобная «грамота» на любого иного члена ассоциации, её и читать бы не стали, сразу бросили бы в корзину. А тут уцепились.

Как это и бывает с успешными людьми, недоброжелателей у Дениса хватало. Во всяком случае, вполне хватило для того, чтобы на пустом месте затеять возню.

Спешно создали комиссия, приступили к разбирательству.

Члены комиссии уныло ходили по мастерской, сочувственно вздыхали, притворяясь озабоченными, чуть ли не с лупой рассматривали полотно, трогали ногтем, сверялись с музейными каталогами.

Возглавлял комиссию человек, дотошный и желчный, старик Гниломедов. Он считался почётным членом Академии художеств, в былые времена прославился как пламенный певец хрущёвских новостроев и был известен тем, что не уставал удивляться, откуда берутся новые художники? Ведь раньше их не было.

Гниломедов не только пробовал на язык грунтовку, но и даже, кажется, принохивался к краскам.

Искали кошку, которой не было в чёрной комнате. Хотя одного беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, дело-то совершенно пустое, в картине нет ничего заёмного, всё своё, чисто христофоровское: и манера, и подход, и сама тональность.

Оно и кончилось ничем, но нервы Денису потрепали изрядно. Он ходил, как оплётанный, и думал, кому понадобилось его оболгать?

Вместе с художником Бояркиным они, наконец, упаковали картину и благополучно отправили по московскому адресу.

Теперь можно было подумать о решении личных задач: заняться разводом, разменом квартиры. И хотя Денис к самой мысли об этом давно привык, тень мрачной подавленности не сходила с его лица.

Алёна, напротив, была необыкновенно весела, встречаясь с его взглядом, загадочно усмехалась и прыскала в сторону. Он так и не понял, что с ней?

Он уже подумывал: чтобы встряхнуться, сбросить с себя груз последних дней, непременно съездить на родину, в свою голубую Карелию. Вот утрясёт личные дела, сразу и отчалит.

В один из дней Валерий Михайлович Бояркин пригласил его поехать с ним в лес за осенними опятами.

Денис с радостью ухватился за предложение старшего товарища. Вот он, верный случай расслабиться, забыть о судебных тяжбах, о недавних неприятностях, подышать воздухом осеннего леса, насладиться прелестью отходящей к покою природы.

Поездке благоприятствовала и сама погода. После затяжного сентябрьского ненастья наконец потекли солнечные дни. По утрам, правда, бывало ещё довольно свежо, но поднималось солнце, веяло теплом бабьего лета и даже в городских парках запахло грибной прелью.

Был субботний день, город ещё спал, когда они выехали. Старенькие «Жигули» Валерия Михайловича бежали весело и прытко. Бояркин сосредоточенно смотрел на дорогу. Денис сидел рядом, озирая окрестности.

В низинных лугах курилась туманная дымка. Над жёлтой стернёй убранных полей она переливалась сиреневыми тонами. Изредка встречались старые стога ржавой соломы.

Среди травы, тоже ржавой вдоль обочин, текучей слюдой дрожала роса.

Валерий Михайлович то сбавлял, то прибавлял газ, напряжённо всматриваясь в дорогу.

Это был невысокий седовласый мужчина с серыми внимательными глазами на медном лице, плотный, округлый, как старинный пятак. Выражение постоянной озабоченности, кажется, не сходило с его круглого лица. Было такое впечатление, что он забыл что-то важное для себя и никак не может вспомнить.

Природу Бояркин любил страстно, художником был от Бога.

По дороге им то и дело встречались жертвы лихаческих расправ: то полевой хорь с выпущенными кишками, то колючий ошмётток ежа, то в ленту раскатанный уж. Даже грач не избежал смертной участи: лежал на дороге с раздавленной головой и распластанными крылами.

При виде этих несчастных жертв Валерий Михайлович вздыхал и болезненно морщился.

— Вот так у нас, — после напряжённого молчания медленно заговорил он. — Едешь, как по кладбищу. За рулём теперь не гомо сапиенс, а упырь с вывернутыми мозгами. Ему непременно нужно кого-то раздавить, размазать, иначе сна лишится... Сколько живых существ гибнет на дорогах! Одних малых зверушек тысячи. А уж полезных насекомых и не счесть. Пчёлы, шмели, бабочки, жуки — всем уготована погибель на лобовых стёклах! Машины по своей численности скоро поголовье насекомых обгонят. Не понимаю теперешнего бесчувствия. Хотя и прежде бесчувствия хватало, но всё же, всё же... — задумчиво заключил Бояркин.

— Цивилизация, — коротко заметил Денис.

Валерий Михайлович лишь вздохнул в ответ: да, мол, цивилизация. Но молчал недолго.

— Всё идет к тому, что ничего живого на Земле не останется, — снова заговорил он и всё так же медленно. — Грядёт царствие духовного урода. Дичает народ. И человек с вывернутыми мозгами уже правит бал. Стоит вечер посидеть у этого ящика, как начинаешь и сам наливаясь свинцовой тупостью, застилающей мозг. То кровь брызжет потоками, то восторженный визг гламурных самок, то игровые забавы молодых недоумков вперемишку с пустой и пошлой болтовнёй. Переключишься на другой канал, а там попса обезьяной вертится под фанеру. Такое впечатление, что вся страна скроена из сплошного телевизионного безумия: поёт, пляшет, кривляется, а кто же работает? Одни и те же записные политики бормочут радости утешения. Все нравственные швы расползаются, словно сгнившее вязание. А они бессмысленно долдонят: мол, нефти залейся, долларов хватит!.. Да разве нефть кормит страну? Страну кормит народ. Экономика — это сам человек!.. Так и хочется крикнуть: «От ликующих, праздно болтающих, обогрязавших руки в крови...». Но разве докричишься, разве убежишь от этих паразитов? Звёздная пыль и в могиле тебя проймёт... Ты заметил, что добрых сказок в народе не стало, песни перестали по праздникам петь. Всё погрязло в прорве животной наживы. Все поры общественной жизни

забиты этой отравой. Нет, безвестные созидатели где-то живут ещё, страдая, что-то созидают, а матёрые хищники прилюдно делят добро...

Денису тоже порой приходили такие мысли. И ему временами казалось, что в стране не остаётся по-настоящему любящих дело людей, основательно глубоких. И он даже догадывался, почему их нет. Всякая глубина, мысленно рассуждал он, будь она художественная или общественно-политическая, требует от человека донных погружений. А для этого нужно быть крепким во всём и по-настоящему весомым. Донный камень непременно весомый. Всё, что болтается сверху, известно, как называется в народе. Народ знает, что говорит. Барабан гремуч, да только пуст внутри. Молоть пустое, помола не получишь. Вот его и нет, настоящего помола.

И Денис вздохнул.

Впереди заскакала сорока. Перебегая дорогу, она скакала боком, словно кокетливая барышня, дёргала хвостом, как бы дразня и завлекая.

Валерий Михайлович посигналил и сорока взлетела.

— Вот ёж, кому он мешал? — вдруг вспомнил Бояркин раздавленного ежа. — Ведь никуда не бежит, свернётся в клубочек и сидит, полагаясь на наше человеческое великодушие. Казалось бы, чего проще, объехать!.. Нет, никак невозможно, надо обязательно раздавить! Раскатать, размазать по асфальту! Иначе никакого удовольствия. Зла стало много в человеке. Так и прёт из всех его пор!

Валерий Михайлович оторвал от баранки руку и досадливо взмахнул. Денис и тут молча согласился.

Мимо стремительно пронеслась иномарка.

— Вот они и дают, — одним подбородком указал Валерий Михайлович на быстро уходящий «мерседес». — Как же, хозяин жизни катит, расступись, навоз, грязь летит! Вчера был каким-то шаромыгой, жуликом-несуном, дельцом с крысиной вороватостью, а нынче, видишь ли, он — хозяин жизни.

Эту тираду Бояркина Денис слушал уже впол-уха. Его мысли вновь вернулись к анонимке. Кто всё-таки состряпал её? Кому не угодил?..

Он перебрал в памяти круг знакомых художников, но так и не решил, кто из них мог бы написать.

В полях было безлюдно, как это бывает осенней порой. Ленивый грачиный лёт временами оживлял голую пустоту пространственной скуки.

Они доехали до дачного местечка, сплошным массивом потянувшегося вдоль речной старицы. Вода под берегом лежала тёмными пластами, в пятаках бурых листьев и отливала холодной чернью.

Дачные постройки выглядели заспанно и сиротски убого. Не было живого, радующего глаз многообразия форм. Редкие каменные дома, словно глыбистые булыжники, возвышались среди бесконечной кутерьмы бедных халупок, уродливых в своей нищете времянок, похожих

на наспех сколоченные отхожие места. От этой беспорядочной пестроты веяло тоской нищего безвременья, скоротечностью унылого века.

Вдоль заборов из поломанного штакетника и ржавой жести стаями и поодиночке бродили собаки, брошенные хозяевами. Животные смотрели на пролетавшие машины с надеждой голодного отчаяния.

Перед каменным мостиком через овраг на покосившемся столбе электролинии Денис увидел кусок фанеры с крупной надписью чёрной краской: «Ищу хозяина». Под столбом на обрывке толстой верёвки, сиротски сгорбившись и поджавшись, стояла исхудавшая собака с интеллигентной лисьей мордочкой и золотисто-рыжим пушистым хвостом.

Бояркин, увидев надпись и собаку под ней, слегка притормозил. Животное радостно воспрянуло, рванулось навстречу и отчаянно запрыгало, заметалось на верёвке, жалобно скуля. Привязь крепко держала её.

— Вот, пожалуйста, пример нашего гуманного идиотизма, — кивнул Валерий Михайлович, указывая глазами на собаку. — Сами уехали, животное бросили. И не просто бросили, а проявили, видишь ли, заботу. Объявление повесили, гуманисты хреновы!.. А сколько их бродит тут, без всякого этого ложного гуманизма!

Иные из собак, слоняющихся вдоль обочины, завидев очередную машину, со всех ног летели ей навстречу с надеждой на подачку. Но подачек не было. Машины проезжали, не останавливаясь.

Собаки разочарованно отворачивались и уныло нюхали траву.

И они не остановились. Впрочем, не было с собой и съестных припасов. Да и накормишь ли голодную свору одной случайной подачкой?

— Что делается, что делается! — сокрушался Валерий Михайлович. — Никакой ответственности у человека. Во всём виновато само животное!.. Давайте травить его, отстреливать! А тот, кто лето пользовался услугами своих братьев меньших и бросил их за ненадобностью, он, оказывается, ни в чём не виновен.

Денис прежде не видел Бояркина в подобном расстройстве. И думал: вот почему он так убедителен в своих работах! Вот почему в его картинах каждая деталь выписана с любовью и доскональным знанием дела. Он хорошо изучил повадки своих героев, знает их особенности и привычки. Зверушки на его картинах выглядят существами умными, живыми и добрыми.

Вспомнился случайный разговор с Пырышкиным, рассуждения Ивана Ивановича об уличных дворнягах. Денис вынес кости на площадку для мусора. Крикнул собак. Тут как раз и подъехал Пырышкин с неизменным букетом свежих роз.

— Чего их жалеть? — увидев Дениса, сказал он с долей осуждения. — Собака, она и есть собака. Этому биологическому сырью нет конца и перевода. Бороться надоело. Они же плодятся с бешеной силой. Тем и опасны нашему городскому сообществу. Разнесут заразу и

кашляй после них, — вместе с Денисом поднимаясь на лифте, продолжал он рассуждать. — К тому же, они агрессивны. И тут правило одно. Полная ликвидация всего собачьего поголовья! Только тотальное истребление этих тварей избавит нас от мохнатой чумы. И ведь вот что грустно. Много расплодилось беспородных особей. Зачем они нам? Ну, элитная собака ещё так-сяк, а беспородная-то зачем? Тут ей дорога одна — в городской крематорий.

Тогда Денису показалось, что от рассуждений Ивана Ивановича пахнуло душком расизма. У него так и вертелось спросить: а как быть с людьми? Ведь в подавляющем большинстве и они беспородны.

Но он спросил другое:

— А с кошками как?

— Давить, — засмеялся Иван Иванович.

На том и закончился их разговор. На пороге Ивана Ивановича встретила Алёна и под руку увела в свою комнату.

Тот не совсем давний разговор забылся, а теперь вот вспомнился и Денис пересказал его Бояркину.

— Нашёл, кого слушать! — возмутился Валерий Михайлович. — Эти пырышкины родную мать пустят на распыл, лишь бы выгоду получить. У них же на первом месте чисто шкурный интерес. Деньги из бюджета качать. Для них нравственно то, что прибыль приносит. Тут и речи не может быть о таких понятиях, как добро, любовь, сострадание. — И, краешком глаза скользнув по сосредоточенному лицу Дениса, строго добавил: — А насчёт агрессивности скажу так: сами виноваты. Животное агрессивно лишь в крайних случаях. Когда есть угроза его жизни и жизни потомства. Не провоцируй собаку и она не тронет тебя. Пройдёт своей дорогой. Они не глупее нас.

Бояркин помолчал, посмотрел на притихшего Дениса и заключил:

— Вырождаемся мы, вот в чём наша беда. Не стало людей с глубоким сострадательным сердцем. Куда ни посмотришь, везде одно духовное гнильё. Где нам думать о природе, когда саму подлость мы готовы возвести в ранг государственных достоинств: «Да, он украл, но зачем же теперь отнимать у него?.. Он же дело ведёт, банк держит». Как будто непонятно, что на воровстве святого храма не построишь. Подлость сволочизма, возведённая в ранг достоинств, сама по себе уже смертельна для государства. Она и само государство делает сволочным. Парадигма нравственности у нас совершенно размыта, вот в чём наша главная беда.

Перед ними во всю дорогу заблестела лужа. Бояркин замолк и обьехал её.

Молчал и Денис. Он стал думать об этой собаке, привязанной к столбу. Вспомнил её взгляд, полный мольбы и безысходности. Ему показалось, что лучик надежды на мгновение просиял в её глазах. И чем больше он думал об этой собаке, тем тревожнее становилось самому, жалость давила сердце.

После лужи машина снова с весёлым урчанием побежала по серой асфальтовой глади. Валерий Михайлович поёрзал на сиденье, насупил широкие брови, тронутые сединой, и произнёс с ожесточённой сдержанностью:

— Не хотел вспоминать, да вот нависло. Знал одного идиота. Так он по пьяной лавочке ради куража своей собаке лапу отрубил. И что, думаешь, она бросилась кусать его? Или, может, убежала, куда глаза глядят? Ничего подобного. Визжит, окровавленную лапу лижет и руки этой сволочи, только что державшей топор, преданно лижет. Двадцать первый век на дворе, а человек не меняется. Всё та же дикая тупость во весь лоб!..

И, помолчав, он вновь продолжил с грустной раздумчивостью:

— Аукнется это нам. Не может не аукнуться. Человек жив, пока живо биологическое поле земли. Пока ещё уравновешено добро и зло. Но всё клонится к тому, что маятник вот-вот качнётся в сторону зла. А следовательно, в сторону бед и мстительных разрушений, выжигающих остатки здравомыслия. И там уже, за этой тонкой чертой, и маячит апокалипсис. Окончательно потеряется в человеке нравственность, рухнет и сама жизнь на земле. Один голый камень останется.

Денис затылком прилип к подголовнику кресла и словно бы одеревенел. То, что говорил Валерий Михайлович, было ужасно и непостижимо страшно. И он думал: что же это за зверь — человек?..

Мысли его мешались и путались, и он сказал, не зная сам, для чего:

— Думаю, этого никак не случится. Не враги же мы себе. Одумаемся.

— Судя по делам нашим, враги, — тихо, но твёрдо выдохнул Бояркин.

Денис помолчал, посопел и произнёс, не глядя на Валерия Михайловича:

— В другой жизни непременно стану собакой! Или травой. Ведь и она живая.

— Вот тебя и стопчут, как траву, или корова слопает, — невесело пошутил Бояркин.

И оба замолчали, каждый думая о своём, глубоко личном.

10

Христофоров рос среди природы, среди бесхитростно-простодушных людей маленькой деревеньки на берегу огромного озера. Вокруг шумел лес, близко к дому с трёх сторон подступали знаменитые карельские берёзы. Его отец Пётр Николаевич, потомственный олонецкий рыбак, не знающий ни отдыха, ни покоя, до самых последних дней работал в маленькой промысловой артели. Был у них пёс, белый дворовый кобель по кличке Шарик. Каждый вечер собака выходила на берег озёрного залива встречать хозяина. Садилась на высокий гранитный валун и пристально вглядывалась в туманную наволочь озера.

По всплеску весла, по скрипу уключин среди густеющей темноты пёс безошибочно угадывал судёнышко хозяина и с радостным лаем бежал извещать домашних о благополучном возвращении их кормильца.

Он был добрым, его отец. Умер пятидесяти четырёх лет от роду, когда Денис ходил ещё в столичных студентах.

На похороны он всё-таки успел. Тогда можно было ещё успеть: самолёты не простаивали из-за отсутствия керосина и билет был по карману. А добираться нужно было сначала до Петрозаводска на самолёте, затем автобусом двести с лишним вёрст, да ещё на подводе лесом и на лодке через озеро.

Вспомнив похороны отца, Денис почувствовал, как у него повлажнели глаза, тихонько захлюпало в носу, загорячело слева под сосцом. Он растегнул замок болоньевой ветровки и принялся растирать грудь.

Бояркин испуганно вскинул глаза, притормозил машину и свернул на обочину

— Что, сердце? Может, валидол?

— Нет-нет, так, пустяки... Поехали, поехали!

И Денис вяло улыбнулся.

Жжение под сосцом прекратилось, но тупая свинцовая тяжесть так и не оставила его.

— Нелюди, — тихо выдавил он, вернувшись мыслями к собаке с отрубленной лапой, представив её страдания и плач.

И потом ещё долго думал об удивительной преданности несчастного животного этому пьяному уроду. И зачем Бояркин рассказал эту историю? Лучше бы не знать её.

Вспомнилось отцовское: «Люди, сподручные злу, и есть само зло, сынок».

В детстве ему казалось, что Млечный Путь состоит не из звёзд, а из душ умерших людей, таких же добрых, как его отец.

И он подумал о себе: а сам-то каков? Сам-то добрый ли?

Опять думал о брошенной собаке. Старался увести себя от мысли о ней, а всё равно думалось.

Бедное, бедное животное! Как, должно быть, страшно этой несчастной собаке среди осенней ночи дрожать под столбом. Ему представилось: вот она, голодная, сгорбившись, сидит под струями хлёсткого дождя, под сырым пронизывающим ветром и ждёт неизвестно чего. Хозяина или своей гибели?..

Сердце Дениса вновь потихоньку заныло, жалость стеснила грудь. И что она вошла в душу, эта собака?..

Он и в лесу думал о ней, о её ужасном одиночестве, о бессердечии хозяина, понадеявшегося на чужую милость.

Лес встретил их тишиной и задумчивой пустынностью. Под ногами шуршала скрученная в стружку листва, где-то в глубине соснового клина с настойчивой тупостью стучал дятел.

Они излазили широкую, в полквартала, дубовую вырубку с многочисленными пнями и беспорядочно наросшей травой. Дениса испугал звук, похожий на выстрел, и он замер, тревожно осматриваясь. И выругался в сердцах, увидев пустую пластиковую бутылку под пнём на солнечном припёке. Она и пальнула, награвшись.

Денис вспомнил, что теперь сезон охоты на перелётную дичь. Какой-нибудь праздный буслай из охотников остановится возле этой привязанной к столбу собаки и пальнёт в неё просто так, ради куража, как тот пьяный мужик с топором. Всё может быть...

Ещё он подумал, что наступили погожие дни, а у собаки и воды теперь может не быть.

11

Грибов они не набрали. Судя по многочисленным срезам плодоножек, кучными пятаками буреющих на пнях, порубку обчистили основательно и не далее как вчера.

В сосняке не было даже мухоморов. Слежавшаяся хвоя, словно войлочная кошма, мягко прогибалась под ногами.

Возвращались хотя и с пустыми корзинами, поездкой оба остались довольны: вволю находились, надышались лесными запахами, слегка устали.

Бояркин радовался тому, что видел горностаю. Подобно солнечному зайчику, мелькнул на стволе поваленного дерева, мгновенно скрывшись среди вороха палой листвы.

И Денису было хорошо, если бы только не свербящая мысль об этой собаке, привязанной к столбу. Она так и стояла у него в глазах.

И, как только впереди замаячил столб с фанерным щитом и Денис увидел собаку, в нём с новой силой колыхнулась жалость, уколотившая в самое сердце.

— Останови! — крикнул он, вздрогнув от собственного голоса.

— Что? — испугался Валерий Михайлович, поспешно тормозя и осматриваясь.

— Не хочу оставлять одну, погибнет ведь, — мрачно буркнул Денис, вылезая из салона.

— А-а! — оживился Валерий Михайлович. — Проняло? То-то. Оно и правильно. Всякое благо зачтётся на небесах. Я же говорю, в мире зла ровно столько, сколько не оставлено места добру... Ну, это так, к тебе не относится, — засмеялся он. — У меня вон кот Ерофей, настоящий друг и брат. Глупый, а всё понимает.

Христофоров уже не слышал, что говорит ему приятель. Подошёл к собаке, остановился в двух шагах. Она сама потянулась к нему, пригибая голову, приветливо виляя хвостом. Её голодные глаза с надеждой смотрели на Дениса. В них было много блеска, должно, от переживаний.

Денис протянул к собаке руку, осторожно коснулся её лба и ласково погладил. Она прижала уши и зажмурилась от счастья и томительной неизвестности. И, когда Денис отвязал верёвку и потянул собаку за собой, она покорно подчинилась ему, пошла следом.

Так же покорно вошла в салон.

Уже в машине, сидя рядом с Денисом и доверчиво прижимаясь к его ноге, собака мелко задрожала и неуверенно лизнула ему руку. Осмелев и успокоившись, лизнула в подбородок.

— Ну-ну, — сдерживая её порыв, отвёл Денис от себя собачью морду.

— Чего ты её? — наблюдая за ними в зеркало заднего вида, весело произнёс Бояркин. — Дай животному насладиться своей радостью, признательность показать.

И насмешливо спросил без всякой паузы:

— А как твоя принцесса к этому отнесётся? Не попрёт из квартиры с твоим приобретением?

— Пусть о своём приобретении думает, — нехотя отозвался Денис, легонько поглаживая собаку между ушей.

Он чувствовал трепет её тела, ему хотелось не просто успокоить животное, а приласкать и вызвать ответное доверие.

Валерия Михайловича, между тем, повело на философские рассуждения.

— Все мы собаки в этом мире, — добродушно говорил он, клонясь над баранкой. — Все привязаны к столбу. Только у нас у каждого свой столб. У одного — власть, неутолимая жажда её обладания, у другого — всепожирающая страсть к наживе, у третьего — столб непомерных амбиций. А основная масса, как вот эта собака, одной общей верёвкой приторочена к столбу нужды и житейского нищескудия.

— Что ж делать? Такова историческая данность, — лениво согласился Денис, не особо вникая в мысль Бояркина. — Живём, как можем. И дальше будем жить.

— Это, опять же, смотря, как жить, — насмешливо возразил Бояркин. — Моя мать любила говаривать: «Живёт кошка, живёт собака. Одна в тепле нежится, другая на холоде дрожит». Вот так и мы. Жизнь у всех разная, лишь конец одинаков. Тут Бог всех уравнил: и нищего, и олигарха. Тут он по справедливости нам воздал, чтоб не слишком возносились, не забывали прощальную горсть земли... Это вот твоя кучумка с чего-то вдруг вознеслась, — перевёл Валерий Михайлович разговор на Алёну. — Надо же, ханской наследницей себя объявить! Каких только чудес Господь ни посылает!

Денис долго молчал, сосредоточиваясь, затем ответил с раздумчивой медлительностью:

— От гордыни всё, от нашей гордыни! От собственного тщеславия и несбывшихся надежд. Тут Алёну пожалеть можно. Мечтала об одном, а вышло другое... Ведь для творческого человека самое страшное —

крушение его надежд... Алёна мечтала о небесах, а жить пришлось на земле. Замахивалась на весь русский простор, да замаха не хватило, на ногах не устояла... Я её не осуждаю и зла на неё не держу. Как говорит-ся, Бог ей судья. — И добавил со вздохом: — Судьба у неё непростая.

— Это в чём же она непростая? — удивился Бояркин.

Здесь и последовал рассказ Дениса о Феничке Егудиной, матери Алёны и о том, в каких условиях пришлось расти самой Алёне и как она стала Сагаджей Кучум, принцессой сибирской.

История была до того грустной, что своей печалью не могла не тронуть Ключу, её нежного собачьего сердца. И, будь она женщиной, непременно заплакала бы самыми горестными слезами.

Слушая рассказ подобржавшего её человека, она томила-сь неизвестностью, думая о себе, о своей пропавшей матери Найде, вспоминала, как славно жили они с ней под крыльцом избы стариков Обориных.

12

Старик звал её Струбциной. Старухе это название с самого начала не понравилось и она возмущалась, выговаривала мужу:

— Вот урюльник неумытый, назвал, чёрт знает, как? Того гляди, язык сломаешь.

— А что тут мудрёного? — не понимал старик. — Ты только посмотри на её зубы! Никакими клещами не вырвешь. Самая настоящая струбцина. А по тебе всё не так. Раззява!

Струбцине тоже не нравилось, как её называли. Если бы не беспечность её молодости, она и сама бы возмутилась и тоже бы сказала: «Совсем с ума посходили!».

Жили они в пригороде Немчениново. У стариков там был свой домик, чисто подметённый двор с хозяйственными постройками, по двору бегали куры во главе с голосистым петухом. Струбцина забавлялась с ним, норовя ухватить его за радужный хвост. Петух сердито подпрыгивал, квохтал и всегда готов был клонуть её в нос.

Хозяин, жилистый, с аккуратно подстриженными усами старик, был хотя грубияном и отъявленным матерщинником, в работе не знал себе равных.

До выхода на пенсию он был сварщиком в коммунальной конторе. И, выйдя на покой, не давал себе роздыха. Минуты не посидит без дела, так и снуёт по двору, стучит, точит, строгаёт, что-то ладит за верстаком под высоким тенистым навесом.

Его жена Полина Михайловна, сухая и плоская женщина, в молодости была красавицей, рассказывали про неё, волоокая, тонкая, словно тростинка, плясунья и песенница, но и гордая не по летам. Потому и разбиралась долго в женихах. До того долго, что в девках засиделась. Вот и вынуждена была выйти за Степана Оборина, парня неказистого, но, опять же, работающего.

К своим шестидесяти годам бывшая красавица превратилась в настоящую ведьму, упрямую и злую, без конца пеняющую мужу: «Дура была, пошла за тебя, курнопытого».

Ума, прямо скажем, было в ней немного, но сомнения — выше головы. И всё-то она знала, и во всём готова была наставлять старика. За какое дело он ни возмись, она тут как тут со своими подсказками. Насаживает ли мотыгу старик, ладит ли топорнице, а у неё уже и совет готов: «Не так тешишь, Гор. Топор-то бочком, бочком держи! И руку высоко не задирай, отматаешь ведь».

— Ты уйдёшь, мать твою перемать! — взрывался старик. — Как заеду чушкой по лбу, все твои умные мозги из тебя выскочат!

У него не было сверху двух зубов и он, когда волновался и впадал в горячку, начинал говорить с присвистом.

— Вот-вот, у тебя только и на уме — заехать! Больше ничего не знаешь. Ему дело советуешь, а он хуже глупого телка хвост задирает!.. Господи, и зачем только замуж пошла за этого дуралея?

И продолжала своё:

— Потихе, потихе, говорю, топором-то махай!

Старик окончательно выходил из себя, вскакивал из-за верстака и опоясывал старуху.

Она отскакивала в сторону, чесала ушибленное место и не могла уняться.

А то ещё начнёт приговаривать вприпляску: «Дуралей, дуралей, чилистый воробей! Всё равно не так, глупый твой чердак!».

— Ах, ты, в бога, креста и всех твоих святителей! Ты уйдёшь с моих глаз, коза драная! Счас раскрошу, как репку!

Это значило, что старик дошёл до белого каления. Тут лучше успокоиться, лучше к нему не лезть хоть старухе, хоть собакам.

Струбцина с матерью догадливо забивались под крыльцо. А старуха спешила в дом и наглухо закрывалась сennым запором.

Но не проходило и часа, как между супругами снова воцарялись мир и лад.

За долгую совместную жизнь они хорошо изучили друг друга. Старик вполне прилачился к вздорному нраву своей старухи, к её глупому упрямству. Задумает, скажем, для хозяйства какое-то приобретение сделать, походит вокруг да около, почешет затылок и крикнет со смешком: «Эх, мать, сидишь, ничего не знаешь! Вилковы-то, дураки, поросёнка себе купили. Вот неумные, пра, неумные, надо же такую обузу на себя взвалить! То ли дело мы с тобой, зачем она нам, эта хрюкалка? Корми, пожалуй, его, визгуна, шлёпай за ним, убирай навоз, а он только жрать да вонь распускать». «Это как — зачем? — вдруг ополчается старуха. — Нет, ты погляди на него, какой широкий, поросёнка ему не надо! Тебя послушать, так и курей со двора гони! По тебе и трава не расти, и день не рассветай! А кто нам сало станет припасать? Макар За-

гнеткин?.. Ишь, чего выдумал!.. Вот купим боровка, подержим до зимы, откормим пудика на три, зарежем да и насолим кадушонку. С картошкой-то сало, чать, милое дело зимой... Ешь, не хочу, лежи на печи да в потолок поплёвывай... А ему не надо...» «Ну, коли так, смотри, давай купим», — смиренно вздохнёт старик и отвернётся, хитро усмехаясь в скобочку своих усов.

Сварщиком он был лучше и не сыскать, паспортист с огромным стажем. Сколько лет на пенсии, а до сих пор с работы прибегают. Где-то что-то лопнет, прорвётся, потечёт, тут, глядишь, и летит за ним посыльный.

— Выручай, дядя Жор, — скажет, смущённо переминаясь на пороге, — пятисотку прорвало на самом стыке, чёрт бы её подрал!

— Так и знал, ядрит ваш корень! — в досаде хлопнет себя по бокам старик. — Опять двадцать пять за рыбу деньги! Никакого слада с вами, мать вашу перемать! Так, наверное, и не поживёшь в покое! Подохнешь, а вы всё бегать будете! Не смотрите за трубами, вот они и лопаются у вас. Глаза-то на затылке пришиты...

— Да труба-то, дядь Жор, вся изныла, решето решетом! — виновато оправдывается посыльный. — Только и держится на твоих швах да на честном слове... Давай, дядя Жора, выручай. Вода хлещет, как потоп. Гольный кипяток бежит! Мальчонка чуть не сварился! Лезут, куда не надо, сволочи! А лучше тебя всё равно никто не заварит. Ты шов положишь, как на машинке прострочишь. Хоть потолок, хоть вертикаль...

Старик матерится, но помочь готов.

Заслышав их разговор, сама Полина Михайловна из горенки выползает и тоже интересуется:

— Чего тут у вас?

— Да вот трубу прорвало, варить зовут, а я отказываюсь, — жалуется старик.

— Как это, отказываешься? — возмущается старуха. — Ишь, чего удумал! У людей беда, а ему лишь бы бока пролёживать... Давай облачайся в свой хомут и лети, налаживай сварку.

Старик хмурится, делает вид, что уступает её женскому произволу, нехотя собирается. У него на этот случай давно припасены и защитные очки с маской, и брезентовая куртка на гвозде в чулане.

Вот так и жили, хитря и подстраиваясь. Домик у них был чистенький, стараниями хозяина под масляную краску отделанный. Во дворе стояла баня, тесовые сараюшки, дровяник, за сениями навес с верстаком. Даже колодец был свой.

Оно и дальше, наверное, так и шло бы до известных всем пределов, если бы не подкараулила беда, случившаяся весной.

Погорело их хозяйство и погорело перед тем, как на дачу выезжать. Старик сидел дома, в горенке телевизор смотрел. Говорили о вещах большой государственной важности: экономика, оказывается, нешу-

точно растёт, цены на нефть пошли в гору, по сто долларов за баррель, как палкой сшибают. Даже деньги некуда складывать. В американские сейфы решили класть.

Кто-то где-то у кого-то яйца какого-то Фаберже купил. Молодой телеведущий, бойкий лохматый парень, уж так ликовал по этому поводу, с таким жаром говорил об этих яйцах, что даже его птичьи глаза по сторонам разлетались. Старик решил, не иначе как родственник он этому Фаберже. И подумал, а дальше-то что с этими яйцами? Как дальше-то будет? На место, что ль, их опять пришьют! Это могут. Теперь всё могут. Медицина, говорят, до таких аховых чудес добрела, что даже новую голову могут пришить. Лучше старой, говорят, будет.

Оно и не мешало бы кое-кому поменять для лучшего соображения. Особенно этим, как их... монетизаторам, хрен бы их побрал! Только и думают, как народ объегорить...

А этому Фаберже, знамо дело, какая жизнь без яиц. Оно, кому хочешь доведись, несладко придётся...

Тут и вовсе заговорили о деле, лично касающемся старика. Пенсию обещали прибавить в начале следующего года и сразу аж на восемь процентов!

Оборин усилил звук и зашевелил губами, прикидывая, это сколько же он огребёт, ежели, конечно, доживёт до того счастливого случая? Получалось вроде бы много. Целых четыре буханки хлеба на месяц да ещё бутылочка постного масла! «Надо же, ядрит их в корень, так расстраться! И как только не лопнули от своих щедрот!..» — воскликнул в сердцах старик, почёсывая затылок.

Старуха к тому времени в сенцах керогаз разожгла, поставила студень варить из куриных лапок. Она приладились к ним с тех самых пор, как оба на пенсию стали жить.

Настроила керогаз, а сама вздумала к Вилковым сбегать, узнать, как они собираются на дачу переезжать. Может, объединятся да сообщат машину наймут? Дешевле обойдётся на два двора-то.

Ушла и заболталась с Вилковой старухой, про керогаз-то и забыла. А он возьми да вспыхни.

В сенцах на перекладине висели березовые веники для бани. Сухие, они в одно мгновение под самую крышу полыхнули.

Крыша тёсом обрешёчена, рубероидом под шифер застлана, тоже занялась. И загудела с весёлым треском, как паровозная топка.

С крыши пламя на стены перетекло. А следом и саму избу огненной шубой окинуло. Дым вместе с пламенем под самые облака взлетел.

Тут и завыли во дворе собаки, сначала Найда, вслед за матерью и Струбцина взвыла от страха. Их вой и услышал старик, оторвался от экрана, распахнул избушную дверь, из сенцев и вскинулся на него огненный смерч. На потолке к этому времени уже краска вздуться стала, тут же и закипела.

Старик заметался, не зная, за что ухватиться. Оконную раму вышиб, стал барахло выкидывать наружу, да немного успел. Телевизор, правда, всё-таки вынес.

Пока пожарные приехали, от избы зола да головёшки остались.

Пришлось хозяевам в бане селиться. Струбцина с Найдой под навес дровяника перебрались. Спали на сухих щепках, тепло было.

Старикам помогли соседи, принесли постель, кое-что из посуды. И утешали, ахая: «Хорошо, хоть сам жив остался».

— Это вон собаки, — указывал старик. — Если бы не завыли, рухнула бы изба, сам в головёшку превратился.

Коммунальная контора не бросила старика, тоже поддержала бывшего сварщика. Помогли деньгами, в зиму обещали угол выделить в служебном помещении.

Пришлось Обориным сызнова всё наживать.

Перед тем, как переехать на дачный участок, старик взял Найдку на поводок и куда-то увёл.

До этого у них был разговор со старухой. Она сказала:

— Куда поведёшь, чать, и сам удавил бы? И твою Струбцину надо избывать. Куда её нам? Из казённого угла-то быстро нас с собакой попрут.

Старик сказал, что со Струбциной лучше погодить. Без собаки на даче жить теперь боязно. Ханыги доймут. Или эти металлобборщники теперешние. Видела, какие варлаганы на иномарках летают? А с собакой хрен им в сумку. Поопасаются лезть.

О Найде нашёлся иной довод.

— Не могу сам убить, — пряча глаза, сказал старик, — живодёру отведу. Мож, какую денежку даст.

При слове «денежка» лицо старухи оживилось и подобрело. И она не стала упрямиться, сразу успокоилась.

Больше Струбцина своей матери не видела. Лишь ночами порой грезилась ей. И она с сонной радостью носом тыкалась во все углы, ища, по привычке, тёплые материнские сосцы. И оттого, что их не было, она начинала возиться и поскуливать. Затем снова заводила глаза в беспокойной собачьей дреме.

Дача нравилось ей своей привольностью. Здесь было много деревьев, травы, тёплого солнца и весёлых птиц. Их ранние щебетанье возвещало о начале каждого утра. И хотя радостным было их пение, тоска на сердце всё-таки оставалась.

Эта тоска и теперь временами наваливалась на неё, порой даже не хотелось есть.

За лето она возмужала, стала заглядываться на взрослых кобелей, но гулять с ними ещё не решалась.

Дачные дни пролетели быстро, словно бы и не было никакого лета. С сентябрьскими холодами в щитовом домике стало неуютно и зябко старикам. И они засобирались в своё Немчениново, но ехать было пока

некуда. В конторе о них успели забыть. И тут, на их счастье, снова где-то прорвало трубу и о старике сразу же вспомнили. За ними приехали на небольшой машине с крытым брезентом кузовом.

— Я же говорил, что приедут! — радостно говорил старик хлопочущей супруге. — А как же, кто трубы-то станет варить?

Вначале старик намеревался оставить собаку прямо на дачном участке, даже гнездо для неё выстелил под крыльцом. Пусть, мол, дачу сторожит, а он будет приезжать раз в неделю, подкармливать её.

Но старуха заартачилась, намерение мужа ей пришлось не по вкусу.

— Ещё чего удумал! — возмущалась она. — Деньги-то палить на езду! Тоже выискался банкир! Мож, и дом себе купишь? Много пенсии-то гребёшь?

Старик пошмыгал носом, молча взял кусок фанеры, краску и намалявал объявление.

С тем они и уехали, а Струбцина осталась под столбом. Выделили ей булку хлеба, поставили чашку с водой.

Тут и познала она настоящую тоску.

13

После Денисова рассказа Бояркин долго молчал. Струбцина, подольщаясь к своему избавителю, теснее прижималась к его колену. Запрядала ушами, вслушиваясь в голос Бояркина, мрачно советующего своему приятелю:

— Распутываться тебе надо со своей кучумкой. Жизнь под одной крышей с блудной женой не делает чести мужику. Так и сорваться ведь можно.

— Можно и сорваться, — мрачно согласился Денис. — Но тут моя вина. Занят был, сам тянул. Теперь уже скоро...

И оба опять замолчали.

О чём тогда думал Денис, он и сам, наверное, теперь не скажет. Наверное, обо всём понемногу. О покойных родителях, о доме в далёкой Карелии. О том, что жизнь круто меняется, что остался один и опять надо начинать сначала. Только вот получится ли?

Уже перед самым городом после долгого раздумья Бояркин со вздохом проронил:

— А всё-таки жаль её.

— Кого? — не понял Денис.

— Кучумку твою. Окончательно запутается и пропадёт.

— Сама того пожелала, — нехотя буркнул Денис. — Ты же видишь, она давно не моя. Моя теперь вот собака.

И нежно прижал к себе исхудавшее тело Струбцины.

— Собака красивая и, по всему, должна быть славная, — подхватил Бояркин. — В чём-в чём, а в психологии животных я разбираюсь. Глаза у неё умные. Беспородная, помесь, но красавица. Кто она? Кавалер, дама?

— Кажется, дама.

— Ну, вот, в квартире будут теперь две дамы, — пошутил Бояркин.

— Это ненадолго...

В придорожном киоске они купили колбасы, перекусили сами, покормили Струбцину. Она жадно набросилась на еду, но не глотала, не давилась, как иные собаки, а ела, соблюдая чинность. И благодарно смотрела на избавителя умными, преданными глазами.

Что-то лисье было в её красивой мордочке, и сама она казалась мягкой, доброй и пушистой. И белый галстучек на её груди шёл ей.

Денису она всё больше нравилась.

— Смотри, сразу много не давай, — предупредил Бояркин. — При пустом брюхе и до заворота кишок недолго... Как назвать-то собираешься?

Денис неопределённо пожал плечами.

— Дуня, Клуня? — начал перебирать Бояркин и остановился. — А что? Вот Клуней и назови! И забавно, и просто. Посмотри на неё, она и есть Клуня. Лучшего имени и не надо. Видишь, как уши наострила, слушает, понимает, псина, — вытягивая шею и заглядывая в зеркало заднего вида, говорил Валерий Михайлович, не переставая следить за дорогой.

Собака и вправду, кажется, понимала их разговор. Даже вот то, что больше она не Струбцина, а Клуня теперь, и это, кажется, поняла.

Езда укачивала её, сытость клонила в сон. Доверчиво уложив голову Денису на колени, она вздрагивала, закрывая глаза, и постоянно куда-то проваливалась сквозь сытую дрему. Ей всё ещё мерещились страхи осенних ночей, голодного одиночества, бесконечная томительность напрасных ожиданий старика со старухой. А ещё постылость мокрой темноты, которая казалась густой, вязкой и долгой, таящей в себе множество страшных загадок. И она постоянно боялась не выдержать этого страха, не хватит сил.

14

Сагаджа не очень удивилась, увидев Дениса с собакой.

С мокрыми волосами она сидела на пуфике в холле с чашкой горячего какао и рассматривала себя в зеркало. Верный признак того, что Пырышкин должен приехать. У неё вошло в привычку прихорашиваться перед визитами Ивана Ивановича.

Она посмотрела на пустую корзину с нападшими в неё багряными листьями, а затем — на собаку с верёвкой на шее и сказала:

— Это что ещё за явление Христа народу?

И мелко засмеялась, разглядывая Клуню и прихлебывая какао из стоявшей перед ней фарфоровой чашечки.

— Что, Христофоров, на собак потянуло? Уж не душить ли подрядился?

— Напрасно смеёшься. Вполне благородное животное по имени Клуня, — бодро ответил Денис, стягивая с себя резиновые сапоги, а затем и ветровку.

— В твоей Клуне столько же благородства, сколько и в тебе самом, — не преминула уколоть Сагаджа.

— Пока не разведемся, втроём будем жить, если ещё Иван Иванович к этому времени не подселиться к нам, — не обращая внимания на язвительность её тона, спокойно сказал Денис и взял собаку за верёвку.

— И эта образина намерена жить у нас? — удивлённо вскинула бровь Сагаджа и отставила чашечку на край полированного столика, уставленного баночками с кремами.

— Фу, а псиной-то прёт! — поднимаясь с пуфика, сморщила она порозовевший носик.

Она, видимо, только что приняла ванну и теперь в привычном махровом халате с кистями, в пёстро расшитых тапочках, отороченных мехом, выглядела по-домашнему уютно, как прирученная кошечка.

— Не меньше, чем от твоего Пырышкина, — в свою очередь съязвил Денис. — Вот отмоем шампунем, сиреневым мылом и заблагоухает наша Клуня, как персидский цветок! — бодро добавил он, направляясь с собакой в ванную комнату.

— Этого ещё не хватало! Надо же, выдумал! — тотчас возмутилась Сагаджа. — Мало того, что тебя здесь терплю, он ещё и собаку вздумал в ванну!..

— А я тебя терплю! — с запальчивостью парировал Денис.

— Мог бы и не терпеть! — сказала, как отрезала, Сагаджа и на её скулах заиграли желваки. — Ты же неотёсанный мужлан, толстокожий, как слон! Другие мужики, посмотришь, как мужики, шапку в руки, только их и видели! А этого никаким зарядом, никакой кипяток его не обварит! Даже письмоце не проняло! — Вырвалось у неё непроизвольно, с откровенной досадой.

Она спохватилась, что сболтнула лишнего, и, придерживая полы халата, с зажатым ладонью ртом и выпученными глазами мелкой трусцой засеменила к дверям своей комнаты.

Дениса будто током ударило.

— Так это ты — Маковский? — изумлённо выдохнул он, растерявшись. — Вот так неожиданность!

Внутри захлопнувшейся двери металлически щёлкнул замок.

Денис постоял, тяжело переваривая свалившуюся на него новость и не чувствуя выступившего во весь лоб пота.

Клуня смотрела на него ореховыми, всё разумеющими глазами и, кажется, по-собачьи молча страдала. Кончиком языка она коснулась его руки, но он не заметил этого.

Всплыл случай из далёкой студенческой поры: скандал с секретарём комитета комсомола института Актистовым. Сагаджа тогда об-

винила Актистова в сексуальных домогательствах. Обвинение было насколько глупым и облыжным, что ей не поверили даже подруги. С Актистовым подобного и в принципе не могло произойти: робок и застенчив. Из него самого хоть верёвки вей. Любая девица играючи могла окрутить, что и случилось потом.

Денис и тогда догадывался, что Алёна из мелкой мести всё это придумала. Актистов оставил её без пригласительного билета в Кремлёвский дворец на форум молодых дарований. Вот она и устроила ему показательную порку: «козью морду», как выражались студенты.

Сам Денис в ту пору был настолько увлечён Алёной, что любой её поступок казался святым и праведным. Правда, неприятный осадок всё-таки был. Чертила на донышке душе корявая заноза, но и её перетерпел. Потом забылось, а теперь вот всплыло.

За годы совместной жизни он имел возможность убедиться в том, что его жена далеко не ангел. Да и глупо на это рассчитывать, живя среди грешных людей. Но вот то, что она опустится до анонимки на собственного мужа, и в дурном сне не могло привидеться. Хорошо ещё, что киллеру не заказала.

И он, стряхнув минутное отупение, запоздало крикнул вдогонку:

— Как же, как же, помню твою подленькую месть Актистову! Отлично помню!

Она не ответила.

Клуня сидела возле хозяина и с беспокойством наблюдала за происходящим. Ей на мгновение показалось, что из дверной щели комнаты, за которой скрылась женщина, потянуло чёрной мглистой копотью. Но это только показалось. На самом деле ничего не было: ни копоти, ни запахов.

У Дениса дрожали внутренности, горячо пульсировала жилка на шее, стучало в висках. Он старался успокоить себя и не мог. Не мог сосредоточиться и потому снова крикнул с отчаянной горячностью:

— А ещё ханша! Тоже мне, принцесса сибирская! Гнида ты поганая, а не принцесса! Змея подколотная! Вот ты кто!

И вновь молчание было ему в ответ. Поостыв, он занялся Клуней. Собаку решил поместить на лоджии, постелил ей рабочий халат в пятнах насохших масляных красок и сказал:

— Вот здесь и будешь жить.

С этого дня он занимался только собакой. С Сагаджей не разговаривал и встречаться с ней избегал. Боялся сорваться, надеть глупостей. А к собаке по-настоящему привязался. Купил ей дорогой поводок, украшенный медными медальками, перед сном подолгу гулял с ней тёмными дорожками вдоль зелёной стены задичавшего пустыря и думал о том, что вот обзаведётся собственным углом и станут жить они вдвоём. С собакой спокойнее, она не обманет, не предаст, не наказывает анонимок.

Прежде он обедал в маленьком уютном кафе за углом, а тут сам стал готовить еду себе и собаке. Сагаджа на кухню не выглядывала. Незаметно уходила, так же незаметно возвращалась, стремительно юркая в свою комнату.

Обиды со временем поутихли, боль улеглась, сгладилась. Всё свободное время Денис теперь тратил на бракоразводные хлопоты, на поиски подходящего квартирного обмена. Подвёртывались два варианта, вполне стоящих, на его взгляд, оба в престижных районах города. Но Сагаджа и слышать не желала ни о каких обменах. У неё возникло желание остаться на месте, хозяйкой прежней квартиры и она готова была в рассрочку выплатить причитающуюся Денису сумму.

— А на что же я теперь куплю жильё? — спрашивал он всякий раз, когда заходила об этом речь. — Мне-то в рассрочку не продадут.

— Ничего, ты у нас талантливый, заработаешь, — неизменно отвечала Сагаджа. — Возьми ипотеку.

Она явно была на то, что он, в конце концов, сам отступится.

В ситуацию неожиданно вмешался Пырышкин. Его поднаторелость в подобных делах и оказалась решающей. Он не только подыскал соответствующую жилую площадь, но и вызвался выплатить часть долга за Сагаджу.

Надо отдать должное, квартиру Иван Иванович приглядел вполне приличную, однокомнатную, со всеми удобствами и даже с балконом.

С ремонтом тоже решил вопрос. Прислал своих рабочих. Они за неделю перестелили полы, покрасили, стены оклеили приятного цвета обоями. Осталось дать время просохнуть краскам и — въезжай в холостяцкие хоромы!

Пырышкину, как и Сагадже, тоже не терпелось поскорее выпроводить Дениса. Впрочем, он и сам желал того же. Уже намечен был и день переезда. Но, как всегда некстати, вмешался случай: пришёл вызов на выставку «Осенняя Россия». Её организаторы, между прочим, сообщили, что его картина в числе немногих других работ выдвинута на соискание большого выставочного приза. Выезжать нужно было немедленно.

Денис заметался в торопливой спешке. Надо было купить билет, собрать вещи в дорогу, позаботиться о Клуне. Думал, к кому бы её пристроить? Более надёжного, чем Валерий Михайлович Бояркин, никого не было.

За недолгое время Денис успел крепко привязаться к своей четвероногой подружке, хорошо узнать её, разобраться в характере. Собака покорила его и звериной красотой, и сметливой разумностью. Она оказалась и кроткой, и забавной, и по-своему лукавой. А уж привязанность к нему была столь трогательной, что захотелось написать её портрет.

Как оставить одну? Как она переживет разлуку?

Денис поехал к Бояркину, объяснил ситуацию. Валерий Михайлович согласился сегодня же забрать Клуно и поселить в своей мастерской.

Самолёт Дениса вылетал в полдень и он попросил Сагаджу вечером, когда придут за собакой, быть дома.

— Пусть забирают, — равнодушно сказала она. — Лишь бы поскорее.

Клуня словно бы чувствовала близость прощания и вела себя спокойно. Расставаясь с ней, Денис встал на колени, потёрся лбом о кончик её бархатного носа, погладил и нежно прижал к себе. Собака вдруг задрожала, заскулила, виляя хвостом, и принялась жалобиться на своём собачьем языке.

Не успокоилась она и после того, как он ушёл. Стала метаться по лоджии, прыгать на дверь, скрестись и повизгивать.

Сагаджа услышала её голос, вышла на лоджию.

— Это что ещё за визг? — сурово прикрикнула она. — Будешь тут скрестись, лоджию мне уродовать!.. Уехал твой обормот и нечего теперь визжать. Широкие вы с хозяином-то! Тоже мне, барыня, целую лоджию заняла. Выметайся вон в кладовку! Невелика фигура, и в темноте посидишь...

Она ухватила Клуню за загривок, проволокла через комнату и толкнула в тёмное тесное помещение, пахнущее клеем, старой утварью и затхлой пылью. Оставшись одна среди тесного мрака, вышедших из употребления вещей и спёртого, душного воздуха, Клуня не успокоилась, ещё настойчивее принялась толкаться в дверь и повизгивать.

Толкалась до тех пор, пока не слышала голос приехавшего Пырышкина, и замерла, выжидая.

Она слышала, как хозяйка, выражая бурную радость, шумно обнимает Ивана Ивановича, целует его и торопливо бормочет: «Наконец-то одни! Какое счастье, никто не мешает. Мой недотёпа улетел. И уж теперь ни при каких обстоятельствах не впущу его. Завтра же вызову слесаря, поменяю замки. Пусть из Москвы прямиком дует в свой угол. Здесь ему делать больше нечего.

Пырышкин успокаивал хозяйку и тоже целовал звонко, с причмоками, даже Клуне было слышно.

Ей стало совсем грустно. Она смирилась с новым для неё положением, притихла и стала подыскивать место для лёжки. Кружила впотьмах, наталкиваясь на стены, на пустые вёдра, обнюхивала предметы, сваленные в углу. Наткнулась на меховые унты, подарок Пырышкина. И в ноздри ей ударил до боли знакомый запах, поразивший её. Это был запах матери, исходивший от мёртвого меха. Безумное буйство, неведомое доселе, ударило её в голову, тоска и горе сдавили грудь. Она запрокинула голову и завывала по-волчьи тягуче, печально и дико. В её голосе было столько надрыва и боли, что даже одинокий сверчок, сиротливо прятавшийся в глубине старого башмака, испуганно замер, лишившись чувств.

— Это чего она? — удивился Пырышкин, встав среди холла и прислушавшись.

Хозяйка, хлопотавшая на кухне, проворно вышла к нему и тоже недоумённо прислушалась.

— Не знаю, — растерянно ответила она, сердито комкая кухонное полотенце и глядя на кладовку. — Вот дура! — обругала себя. — Согласилась до вечера поддержать!..

И, сорвавшись с места, подскочила к двери кладовки и слёту кулаком резко забарабанила в неё:

— Ты чего там развылась, паскуда? Прекрати сейчас же! Прекрати, шалава эдакая! Вышвырну, как поганку!..

Клуня слышала истеричные возгласы хозяйки, но не замолкала. Тоска и горе рвались наружу. И этот её невыносимый вой довёл Сагаджу до иступления. Она схватила швабру, распахнула дверь и крикнула, раскосо сверкнув глазами:

— Ах, ты, шкура собачья! А ну, выметайся сейчас же! Я тебе поору, зараза!

И наугад шваброй шлёпнула по чему-то мягкому и пушистому.

Клуня взвизгнула и подскочила на месте. Затем мимо Сагаджи стремительно вылетела в коридор. Хозяйка понеслась следом.

На пути собаки встал Пырышкин, широко растопырившись и слегка пригнувшись.

— погоди, — сказал он, — вызову наших собачатников. Мех-то у неё просто чудесный! — заметил он с трезвой разумностью.

Но Сагаджу было уже не остановить. Она пронеслась мимо, распахнула дверь на лестницу и с высоко поднятой шваброй полетела на заматавшуюся по холлу собаку.

Пырышкин мелкими шажками, с раскрытыми объятьями, тоже пошёл на неё, не давая Клуне опомниться и проскочить мимо. Желая увернуться, неловким движением Клуня угодила Пырышкину в ноги. И опять ей в ноздри ударил всё тот противный запах мёртвой кожи. И хотя это был не запах её матери, но и в нём застыли звериная боль и мука отчаяния.

Не помня себя, Клуня вцепилась Пырышкину в лодыжку.

Иван Иванович вскрикнул:

— Она же бешеная! — и вскочил на пуфик, который с треском рассыпался под ним.

Иван Иванович грохнулся на пол, но и здесь не перестал кричать:

— Осторожней! Осторожней с ней!

Сагаджа раз за разом промахиваясь, в ярости шлёпала шваброй об пол. И она наконец разлетелась, издав сухой дребезжащий звук.

Клуня с визгом метнулась в общий коридор и, делая большие прыжки, понеслась вниз по лестнице, перелетая сразу через несколько ступеней. Вслед за ней прыгала незримая лохматая тень. Отстала она лишь после того, как Клуня, преодолев лестницу, мимо мальчика прошмыгнула в дверь на улицу.

Не оглядываясь, кинулась в сквер, присела за скамейкой и притихла, успокаиваясь. Затем вышла к подъезду и принялась искать следы хозяина. Но его запахи уже выветрились, и она так ничего и не унюхала.

Ночь пересидела в скверике. Утром снова ходила, вынюхивая следы хозяина. И опять ничего не нашла.

Прохожие смотрели на неё с неприветливым безразличием. Лишь одна пожилая пара, проходя, обронила на ходу:

— Собака-то, кажется, этого художника?

— Может быть, — отозвался равнодушный голос.

Её гоняли дворники, мальчишки-сорванцы, играющие в мяч, взрослые дяди, ставящие во дворе машины.

Она убегала в сквер, пряталась и возвращалась опять.

Несколько раз видела Сагаджу. Бывшая хозяйка, нарядная, проходила, не глядя по сторонам, покачиваясь, как лодка.

Отчаявшись, Клуня вспомнила сгоревший дом далеко в пригороде, сухое скрипучее крыльцо, под которым ютились с матерью. Вспомнила стариков Обориных, их ворчливость и через весь город отправилась на поиски прежних хозяев.

Долго блуждала, прячась по укромным местам, избегая встреч с чужими, ужасно драчливыми собаками, с машинами и злыми людьми.

Пригород она всё-таки отыскала, и улицу, и двор свой. Только напрасно всё. Двор стоял голым и пустым. Даже дровяника с пахучей стружкой не осталось. Всё, что не погорело, за лето снесли и растащили. Одни трухлявые гнилушки, пепел да зола уныло проглядывали среди буйно разросшихся бурьянов.

Она легла на кучу почерневших от дождей щепок, на которых спали после пожара, и предалась тяжким думам о матери, о стариках, о художнике, о своей горестной неприкаянности. Как жить одной?

Побродив по знакомым местам, полазив по старым закоулкам, потащилась снова в город.

Опять были всё те же длинные улицы, забитые транспортом; дворы с помойками; толкучки, полные народа; унылая серость и безрадостный мрак полуночи. Тусклым казался мир. И люди были злыми и тусклыми.

Лишь однажды невнятной радостью мелькнуло светлое приземистое здание городской ветлечебницы. Возле её дверей стояла очередь, в основном, из женщин и старух. Кто-то держал на руках кошку, кто-то собачку. Одна женщина держала утку с перебитой лапкой.

И хотя лица женщин были невесёлыми, как и само утро без солнечного света в хмуром небе, временами над очередью играли, вспыхивая, загадочные тёплые блики. Клуня так и не поняла, откуда этот радостный свет и тепло?

Среди тротуара плакал белобрысый мальчик, одетый в кремовую рубашу, с котом на руках.

Прохожие спрашивали, о чём он плачет. Мальчик дичился и не отвечал.

Подошла старушка, маленькая, сухонькая, как и сам мальчик, и тоже спросила:

— Что с тобой, сынок?

Увидела мёртвого кота у него на руках, сильно смутилась.

— Базику усыпили, — размазывая по лицу слёзы, сказал мальчик и отвернулся.

Старушка вздохнула и утешила:

— Что же делать, деточка? Так уж пришлось. Видно, по-другому у доктора не получилось. Не всё у нас получается. А ты не расстраивайся, другого Базику себе заведёшь. А этого хоронить надо.

Голос старушки был мягким и добрым, и таким теплом повеяло от неё, что Клуни захотелось пожалеть и плачущего мальчика, и себя тоже. Она готова была лизнуть мальчика в его заплаканные глаза, но кто ей позволит?

Клуни вернулась к знакомому дому против пустыря. Опять бродила по двору, издали наблюдала за ненавистной Сагаджу, за дядькой в обуви, пахнущей мёртвой кожей, а хозяина так и не увидела.

За время бесплодных ожиданий, голодных поисков она сильно исхудала, облезла и запаршивела. В таком виде и появилась на пустыре.

15

Зимой выпало много снега, на валёжник навалило целую гору и всё вокруг запечатало сугробами. Стая пробила тропку, тонкую, как кручёный канат. По ней и ходили, ступая след в след.

Пережили зиму относительно легко. Вплоть до внешнего тепла их подкармливала маленькая стёртая старушка в облезлой цигейковой шубейке да ребятишки, бегущие в школу. Увязываясь за ними, провожали детей до калитки. Дальше не пускал молодой краснощёкий охранник в пятнистой куртке.

Однажды Клуни сделала попытку прошмыгнуть вслед за маленькой девочкой с голубым ранцем за плечами и получила в ответ удар по горбу.

— Пошла вон, бродяжка! — крикнул охранник, помахивая дубинкой.

Клуни взвизгнула и выскочила за калитку. Джек угрожающе зарычал, но не бросился на охранника. Это обидело и удивило Клуни. Она знала, каким он умеет быть смелым и дерзким до безрассудства. А тут не вступился и она свою обиду обрушила на Грея. Досадливо огрызнулась.

Девочка удивлённо обернулась на собачий взвизг и остановилась, сердито уставившись на охранника. Охранник смотрел на неё с лёгким недоумением. А девочка по-взрослому строго принялась отчитывать его. Она говорила, что нельзя так поступать с животными, что подобное отношение не одобряется даже Евросоюзом.

— Ишь, грамотная какая! — с усмешкой фыркнул охранник. — Плевать мне на твой Евросоюз! У меня свой Евросоюз. Есть прямое указание самой городской мэрии об утилизации бродячих животных.

— Какие вы все злые! — бросила девочка, наморщив выпуклый лобик под белой вязаной шапочкой. — У вашей мэрии дырка в мозгах! — показала она пальцем на висок. — Это дядек надо утилизировать, которые животных бросают.

Но охранник сделал вид, что не слышит, отвернулся и встал, растопырившись во всю калитку.

Больше уже никто из них не решался повторить опыт Клуни. Знакомую девочку встречали возле её дома, провожали до школьной ограды и получали положенное угощение.

Старушка, подкармливающая их, жила неподалёку от школы в жёлтом двухэтажном доме с узким двориком, стиснутым с двух сторон забором старинного свечного заводика. Из его трубы постоянно тянуло запахами плавленного жира и ещё чем-то химически неприятным. Но эти запахи ничуть не мешали на карнизах кирпичных цехов гнездиться голубям, а летом и галкам устраивать гнёзда.

Старушка кормила не только собачью стаю, но и голубей. И птицы, завидев её согбенную фигуру в облезлой шубейке и белом платке самодельной вязки, шумной ватагой слетались во двор.

Она как будто и не замечала их крылатого беснования, медленно шла по расчищенному пятачку волейбольной площадки, тяжело шмыгала войлочными разношенными пимами, глядела под ноги и, словно сеятель на ниве, разбрасывала по сторонам ячневую крупу. Зёрна взблескивали в лучах скупого зимнего солнца и белой россыпью падали на чисто подметённый зазеленелый асфальт. Голуби, шумно пересыпаясь в воздухе, наперебой бросались старушке под ноги, спеша опередить своих менее расторопных собратьев.

Собаки, тем временем, нетерпеливо облизываясь, сидели на вершинке плотного снежного сугроба и молча наблюдали, поджидая своего черёда.

Возле дома сновали люди, входя и выходя из подъезда, останавливались, глядя на старушку, сокрушённо качали головами и вздыхали — одни сочувственно, другие с осуждением. Иные презрительно фыркали, бормоча:

— Что делают годы! Совсем выжила из ума! Перебивается с кваса на воду и, надо же, целую собачью свору прикормила. А тут и за голубей вязлась.

И с долей презрения смотрели на соседку.

Особенно бесилась сухая плоскогрудая женщина с маленьким вздёрнутым носиком на таком же маленьком лице. Оно даже зеленела от негодования, увидевши старуху с кормом. И молча плевалась от досады.

Стая избегала встреч с этой женщиной, по опыту зная: таким людям лучше не попадаться на глаза.

Самым невероятным в этой истории было то, что старушка готовила собачью кормёжку из двух блюд. Сначала в большой железной чашке выносила хлёбово, что-то вроде мучного киселя с частицами разваренной хамсы. И, пока они торопливо лакали эту питательную жижу, она выносила ещё и перловую кашу, правда, без масла. Но всё равно тёплая еда и согрела, и сытила их.

Так продолжалось до середины апреля. Уже по-настоящему запахло весной, снег набух, стал рыхлым, сочным на припеках, как вдруг старушка пропала. До вечера они просидели, напрасно ожидая привычного угощения. Но так ничего и не дождались. И в последующие дни не было старушки. И уже сам дворик потемнел от подтаявшего снега и грязных луж.

Выходили обитатели и дивились, указывая на собак:

— Вот, сволочи, до чего привыкли к бабкиной халяве!

Оттого, что им ничего не известно было про старушку, их ожидания казались ещё томительнее и безнадежнее. Клуня с опущенной головой медленно расхаживала по двору, лизала мокрый снег и, прядая ушами, с надеждой смотрела на окно, за которым ещё недавно мелькал белый платок.

Беспокойство овладело и голубями. Всплёскивая крыльями, они то кружили в воздухе, то опускались на козырёк подъезда и заглядывали вниз, призывно воркуя.

Джека томило предчувствие страшной беды. Сам воздух, казалось, был настоян печалью и горем.

В серый полдень из знакомых дверей вывалилась гурьба сумеречных людей. В окружении мужчин на длинных полотенцах показался деревянный ящик, обитый красным коленкором. Джек увидел в ящике неподвижно лежащую старушку под белым покрывалом. Её лицо тоже было белым, тихим и покойным, как снег, мягко падающий с неба.

Подъехал автобус, облезлый и мрачный, с облупленной серой краской по кузову. Мужики открыли заднюю дверь, задвинули внутрь салона ящик со старушкой, вспрыгнули сами. Подали руки женщинам, втащили их и машина тронулась.

Джек не зал, куда и зачем увозят их кормилицу, и отчего неподвижна она? Он сорвался с места и бросился за автобусом вдогонку. Следом побежала и его стая.

В воздухе беспокойно замелькали, закружились голуби. Они то кувыркались, то зависали в воздухе, как бы замирая над автобусом, то бросались вниз, сложив в лодочку крылья. Было что-то скорбное и непонятное в их удивительном полёте.

Бежать по мокрому асфальту было и скользко, и тяжело. Снег валил крупными хлопьями и таял, едва коснувшись дороги.

Они пробежали несколько кварталов и остановились, дыша ввалившимися боками.

Автобус со старушкой на ближнем перекрёстке свернул за угол высокого здания и скрылся.

Сбившись в кучу и высунув языки, стоя смотрела на своего водителя, ждала его решений. Джек и сам не знал, как поступить. Его грудь сильно пекло, сухая окалина застыла в горле.

Он постоял, с беспомощным отчаянием прислушиваясь к биению собственного сердца, стянул с холки снежную мокроту и повёл стаю обратно.

Они были не только угрюмы, но и голодны. И, вернувшись в обжитой район, тотчас разбрелись по дворам в поисках еды.

Уже по теплу с Джеком произошёл один невероятный случай. Он увидел своего давнего обидчика Гололобого.

Снег к этому времени окончательно сошёл, но деревья стояли ещё голые. Сквозь пригретую землю на пригорках пробивалась зелёная дробь травы.

Был какой-то праздник и было солнечно. Они лазили по городскому кладбищу, обшаривая могилы в поисках поминальных приношений. И внезапно увидели, как по центральной кладбищенской аллее среди высоких каштанов потекла вереница блестящих машин с чёрными лентами на радиаторах.

Рассчитывая на поживу, побежали следом.

В конце аллеи, свернув на простор светлого прогала, машины беспорядочно рассыпались и остановились. Из них высыпали молодые наголо стриженные люди в длиннополых чёрных пальто и белых кашне. Четверо мужиков в рабочих халатах вытащили из салона большой черной машины ящик из красного дерева, обитый сверкающими бронзовыми украшениями. Поставили на две тумбы возле свежерытой ямы.

В ящике, излучающем лаковый блеск полированного дерева, среди живых цветов и лежал этот Джеков знакомец Гололобый. Джек увидел его, дёрнул обрубок хвоста и заскулил отчаянно и тоскливо. Стоя с недоумением посмотрела на водителя и перешла с аллейки на обочину.

Джеку вспомнилась его жизнь за высоким забором, пропавшие хозяева, город и сиротские скитания. И все эти беды принёс человек, неподвижно лежавший в богато украшенном ящике. Джек готов был выть от отчаяния, но лишь тупо смотрел в бескровное застывшее лицо своего ненавистника, тяжело дышал, топыря уши и нетерпеливо перебирая лапами.

Людей, стоявших вдоль могилы, обносили водкой, наливая её в белые пластиковые стаканы. Распорядитель, высокий смуглый человек, далеко не молодой, одетый, как и остальные, в длиннополое пальто нараспашку, в белом шёлковом кашне, стоял с непокрытой головой и, на-

бычившись, говорил, твёрдо произнося слова. Остальные, как и Джек, тупо смотрели в могилу и молчали, держа в руках стаканы.

Ящик закрыли, постучали молотком и опустили в яму. И здесь Джек увидел, как вслед за ящиком в яму порхнуло смутно различимое мохнатое существо. Но, кроме него, этого существа, кажется, никто других не заметил. Он быстро догадался, что это за существо. Это было зло, не пожелавшее расстаться со своим хозяином.

Яму скоро засыпали. Присутствующие выпили водку, остатки выплеснули на свежий земляной холмик и Джек услышал, как смуглый немолодой человек, вскинув над головой крепко сжатый кулак, крикнул со звенящей яростью:

— Прощай, друган! Твоя смерть зачтётся этим козлам! Клянёмся покарать падлу!..

И все подхватили хором: «Покараем падлу!».

В воздух с треском взлетели ракеты, рассыпавшись на множество разноцветных огней. С ближних каштанов с испуганным криком сорвались галки и понеслись в сторону кладбищенской церкви с острой верхой деревянной колокольной.

Две пожилые женщины в чёрном, в одинаково тесных сборчатых жакетах, туго стянутых в поясе, в узких длинных юбках до пят, в платках, опущенных на лоб, с белыми узелками в руках, остановились среди аллеи и одна сказала другой, удивлённо разглядывая людей, хлопающих дверцами отъезжающих машин:

— Господи! Посмотри, Оля, как бандитов-то теперь хоронят! С салютами! Нашим дедам и во дни Победы не мерещилось такой чести.

Оля ответила, заглядевшись на вереницу машин:

— Где уж нам... слава Богу, сами живы...

И обе, перекрестившись, посмотрели в небо. Их тихие опрятные лица удивлённо вытянулись и обе испуганно выдохнули:

— Господи, дева Мария нам ангела посылает!

И торопливо принялись креститься, а потом, не сводя взгляда с одинокой небесной точки, делая паузы, обе затянули нараспев: «Анде-ел Бо-о-жий, хра-ни-тель мой святой, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи».

Джек тоже стал смотреть в ту часть неба, куда были обращены взоры поющих женщин, и увидел то ли человеческое дитя с крылами серебряной птицы, то ли саму серебряную птицу с ликом нежного ребёнка.

Через мгновение видение рассеялось и пропало среди тонко раскатанной облачной пыли.

Просветлённые лица женщин были в слезах. Они постояли, крестясь и умильно осматриваясь, увидели собак на обочине, молчаливо развязали узелки и стали кормить их рыбными пирогами.

Могилу Гололобого, тем временем, завалили венками, машины стали отъезжать. А женщины, не переставая креститься, свернули с аллеи и убрили тропкой, натопанной вдоль заросших могильных оград, в сторону кладбищенского храма. Вскоре их платки скрылись за голыми кустами акаций и сирени.

На аллею вышел пьяный могильщик с лопатой. Он был в резиновых сапогах, перемазанных глиной, с опухшим лицом, заросший, как леший. Увидев собак, могильщик вскинул лопату и принялся кричать не зло, но голосисто и с хрипотцой:

— А ну, твари собачьи! Не хватало вас тут куски таскать!..

И замахнулся лопатой. Они убежали.

Ночью Джеку был сон: два человеческих скелета грызлись за сахарную кость. Это было настолько дивно, что он смеялся во сне, совсем, как человек...

16

К тому времени их было уже четверо. На одном из городских мини-рынков к ним прибился Чап, маленький пёстренький шпиц, бедствующий в одиночку. У него были удивительные глаза, полные человеческого понимания и озорного лукавства. Они делали его похожим на шаловливого мальчишку-сорванца.

Жил он под прилавком в старом ящике из-под картошки, и был так мал и беспомощен, что его могла обидеть любая захудалая дворняга.

Когда Чап увидел перед собой незнакомую стаю, в особенности огромную страшную морду боксёра, он прижал к голове остренькие уши, сжался в комочек, зажмурился и приготовился умереть.

Джек с любопытством покачался над ним, горячо подышал в мелко дрожащий затылок испуганной собачки и милостиво лизнул её в приглаженный пёстрый хохолок между плотно прижатыми ушами. Это словно бы оживило Чапа. Он вскочил на ноги, высоко подпрыгнул и, виляя хвостом, радостно заплясал перед большой великодушной собакой.

Подошли Грей с Клуней, обнюхали его для знакомства и увлекли за собой.

Шпиц даже слегка ошалел от столь неожиданной удачи. Он принят в стаю, она позволяет следовать за ней и теперь ему не страшны нахально-заносчивые снующие по рынку рослые дворняги.

Всё существо Чапа было полно пёсьего ликования. Ему снова повезло, как повезло прежде с женщинами, торгующими молоком. Они приютили беззащитного кобелька и опекали его, как умели. Устроили вроде тёплого гнёздышка под своим прилавком, выстелив разошедшийся грязный ящик мягкой упаковочной ветошью.

В нём он и жил. Женщины подкармливали его скисшимся молоком, творогом, пирожками с ливером. Из мясных рядов время от времени бросали кости и жилистые обрезки.

Так он прожил полностью зиму и два лета. А до этого жил в городской парковой зоне в пансионате инвалидов и ветеранов труда вместе с хозяином стариком Егором Фомичом Дятловым.

Старик в пансионате был на привилегированном положении. Несмотря на свои семьдесят шесть, выглядел он молодожаво и производил впечатление человека крепкого здоровья и ума. Но это впечатление было обманчивым. Хотя гладкое лицо старика и отсвечивало гляncем гламурного журнала, изнутри его давно точила немочь. Егор Фомич страдал нервными заболеваниями и провалами памяти. Порой он забывал даже то, что было с ним полчаса назад. Зато с удивительной ясностью мог вспомнить, казалось бы, совсем незначительные события полувековой давности.

Чап о прошлой жизни старика знал только из его рассказов да по разговорам близких ему людей, сослуживцев, соседей и соседа, с которыми доводилось общаться прежде.

В последнее время старик стал часто вспоминать свою покойную родительницу Евдокию Евдокимовну. Сильно тосковал по ней. А ещё тосковал по родной деревеньке Помелено, которой и на картах давно не осталось.

Деревня его угодила под топор хрущёвских перемен. Тогда славно прошлись по российской глубинке, много посекали малых деревень. Хотя Помелено, какое оно малое? Сто восемь дворов. Одних ребятешек бегала в школу целая рота.

Сейчас Егор Фомич многое подзабыл. Забыл, что к упразднению родной деревеньки и сам приложил руку.

Женат уже был, жил в областном центре, работал в облисполкоме. Персональная «Волга» в личном распоряжении, чёрная, как классная доска их Помелинской неполной средней школы. Имя Дятлова звенело по всему краю в ту пору. И поминали его, кто добром, кто лихом.

Жизнь на селе тогда только начала к лучшему меняться. Хозяйства потихоньку на ноги поднимались, исправляя невзгоды мучительных разрух. Надежды на лучшее появились. И тут, как обухом по голове, — хрущёвские реформы. Его затеи и подсекли деревню.

Конечно, потом объявят их неправильными, волюнтаризмом назовут. А когда его не было-то у нас, этого волюнтаризма? В кои времена слушали-то простого человека?

И потом, какой прок вслед умчавшемуся ветру руками размахивать? Много ли воды соберёшь, когда плотина разрушена?..

В хрущёвскую пору в жизни Егора Фомича произошло одно знаменательное событие, которое и повлияло на взлёт его судьбы. Случай свёл его с самим застрельщиком советской оттепели, первым секретарём ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Произошло это в самый разгар знаменитой кукурузной эпопеи. Он тогда был ещё не Егор Фомич, а просто Егорка Дятлов, окончил агрономический фа-

культет сельхозинститута, стал работать агрономом у себя в селе. Но вышла незадача. Не поладили с председателем колхоза Укачиным, мужиком малограмотным, однако волевым и самодуристым.

Егор плюнул на агрономию и перешёл на рядовую работу простым кукурузоводом.

Вот с этой кукурузы и занялась его счастливая звезда.

В начале сентября Хрущёв, с личным досмотром объезжая соседние края, завернул и к ним в область. Привезли его в Помелено прямо на кукурузное поле к Егору Дятлову. А она, матушка, от края до края выше леса поднялась.

Вышел из машины руководитель страны, шляпой, как веером, обмахивается, запрокинул голову, на урожай Егорова звена дивится. Уж не бамбуковая ли роща качается на ветру? Початок взял, ошелушил. Нет, не бамбук, настоящая кукуруза. Зерном к зерну набит початок, как патронташ заядлого охотника. Восковой спелости зерно, тронешь ногтем — молоко брызжет.

Звесил на ладони початок, смотрит то на Егора, то на его руководство. Даже губа отвисла от удивления, сказать не знает что.

— Вот оно как! — с удовольствием наконец выдавил он. — Что твоё берёзовое полено! Ишь, ты! Куда там американским фермерам...

И его отвисшая губа радостно задрожала.

Подобного урожая главный кукурузовод страны ещё не встречал в срединной России. Он и не заметил, как свою знаменитую соломенную шляпу уронил.

Сопровождающие его товарищи наперебой кинулись поднимать. Но Никита Сергеевич не дал им такой возможности, сам всех опередил. Легко подхватил шляпу, старательно выбил её о колено и накинул на свою сияющую лысиной голову.

Хоровод высоких начальников, прибывший с первым секретарём ЦК, заволновался, задвигался, дивясь проворству высокого гостя. У Егора же в глазах рябило от множества лиц. Прибывшие с Хрущёвым начальники были, как на подбор, крупные да гладкие, все выше средней упитанности.

К ним в колхоз на председательство тоже, бывало, не карликов привозили. Иные за присест по два курника съедали величиной в добрую сковороду. Да и районное начальство было, о-го-го какое! Гвардейцы, да и только, косая сажень в плечах. Но с приезжими, куда там, ни в какое сравнение не шло. И Егор думал, в каком же это особом загоне выращивают подобную породу? А потом, когда уже сам угодил в руководящие товарищи, не без улыбки вспоминал свои глупые мысли.

Он во все глаза смотрел на Хрущёва и не находил в нём ничего особенного. Мужик как мужик. Серый пиджак, серые штаны, отвисающие сзади мотнёй, выгоревшая шляпа. Ботинки рыжие в густой пыли.

И сам серый, как моль, с рыхлым, словно из гуттаперчи лицом.

«И как это умудряются становиться властелинами целой страны с такой невзрачной внешностью?» — думал Егор.

Хрущёвское окружение следовало за ним, как хвост за кометой.

Местный люд сбегался поглазеть на кремлёвское диво. Стояли поодаль, близко охрана не подпускала. Толпились на зелёной меже, прислушиваясь к разговору. О чём это их Егорка с такой важной птицей толкует? Что за объяснения даёт? А Егор ходил рядом с необыкновенным гостем и подробно рассказывал: как почву готовил, какие удобрения вносили под посев, кто ещё работает с ним в звене.

Хрущёв держался руками за борта своего расстёгнутого пиджака, внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Его помощники, словно ловкие пулемётчики, что-то проворно заносили в блокноты.

Назвал Егорка членов звена, и в первую очередь Дусю Зотееву, будущую свою супругу, а вместе с ней и Надю Агапову. Обе всю весну ловили с ним холодные черёмуховые ветра, катушку с мерной проволокой вдоль поля таскали.

Обеим в конце года по трудовому ордену дали. А Егора орденом Ленина наградили.

Осмотрев поле, Никита Сергеевич постоял, глядя в землю, снял пиджак, в одной рубашке остался. Налетел порыв ветра, Хрущёв придержал шляпу на голове, перевёл на Егора серые колючие глазки и спросил:

— А как обстоят дела с партией у тебя, удалец?

Егор стушевался, пожал плечами, не зная, что сказать.

За него ответил секретарь парткома районного производственно-территориального управления товарищ Гвоздев, мужик тоже не из слабой породы, слепленный, должно быть, из того же особого руководящего теста, в сажень ростом, с кулаками с добрый арбуз.

— Мы его кандидатом приняли, Никита Сергеевич! — радостно прогудел он.

Хрущёв собрал на переносице пегие брови и оттопырил нижнюю губу, теперь уже недовольно. Она была толстой и влажной, и под ней, как показалось Егору, образовался ещё один маленький подбородок. Ему стало смешно оттого, что у такого важного человека есть два подбородка. Он отвернулся, чтобы не выдать себя, и сделал вид, что шлёпает комара за ухом. Хотя комаров к тому времени уже не было, вода в пруду заволодела.

Руководитель страны, кажется, остался недоволен ответом. Это особым руководящим чутьём немедленно почувствовало краевое начальство и склонило головы в ожидании грозного разноса.

И гроза не заставила себя ждать.

— Безобразие, понимаешь! — не глядя на своё окружение и петляя по стерне глазами, возмущённо гремел Хрущёв, решительно вскидывая к подбородку крепко сжатый кулак.

Оголённая часть его жирной шеи налилась багровой свежестью.

— Молодой человек, работник воистину безграничных коммунистических устремлений, герой семилетки, до сих пор ходит в кандидатах! — набирая обороты, звенел голос Хрущёва.

Он повернулся к секретарю сельского обкома партии товарищу Хрякину и сердито бросил:

— Это просто безобразие, товарищ Хрякин! Это чёрт знает что! Подобное попустительство дорого стоит стране и партии! Двигать надо молодёжь! Двигать, товарищ Хрякин! Это же золотой запас партии! Такой, понимаешь, орёл, — окинул он взглядом Егорку, — и до сих пор на кукурузной делянке крутится!.. Да по его размаху ему и области мало!

Хрякин стоял бледный и было видно, как на его полусогнутом колене мелко трясётся штанина.

Хрущёв повернулся к Егору, одобрительно потрепал его по плечу и торжественно произнёс:

— С такими орлами мы ещё покажем Кузькину мать!

О, что тут началось! Кажется, сами весенние воды бурливым потоком зашумели по полю. Окружение Хрущёва задвигалась, заволновалось, засновало, подобно десятку ткацких челноков, пришло в радостное оживление. Все бросились к Егору, у каждого возникло желание сказать ему приятные, значительные слова, коснуться локтя, пожать руку, поощрительно улыбнуться, дружески подмигнуть.

Как выяснилось потом, это волнение было не случайным, и самым благотворным образом сказалось на карьерном росте Егора. Он двигался по службе не менее стремительно, чем росла его кукуруза.

Не прошло и трёх лет, как властные рычаги его, молодого, энергичного, вынесли на самый гребень областной власти, усадили в обкомовское кресло и поручили заниматься селом. К этому времени они с Дусей поженились и у них родилась дочка, их золотоволосая Ниночка.

За двухвековую историю деревни Помелено никто из её селян не взлетал так высоко, как Егор. Односельчане теперь уже не звали его Егоркой, как прежде. Только по имени-отчеству. Деревенские старики ещё издали кланялись, завидев его чёрную «Волгу», и почтительно сдёргивали с головы малахаи. Он стал для них как бы чужим, сторонним человеком, таким же строгим начальником, какие приезжали в колхоз с проверками посевной, ходом жатвы, с бесконечными требованиями расширить, увеличить и повысить, провести немедленный госзакуп мяса, молока, шерсти, организовать подписку газет.

Егор и сам почувствовал себя чужим среди вчерашних односельчан, с кем ходил в клуб, работал в поле, сидел за праздничным столом и обсуждал текущие события. Должность не только возвысила и его подняла над близкими людьми, но и отделила от их интересов. Он стал стесняться заношенных малахаев, засаленных фуфаек, кирзовых сапог, всего того, в чём сам ещё недавно щеголял на работе.

Не стало согласия с отцом Фомой Тимофеевичем. До горького было досадно, что у него такой невыдающийся родитель, земляной, малограмотный, многого не понимает и с ним приходится вступать в споры. Спорили, в основном, из-за Хрущёва, из-за того, что Фома Тимофеевич не хотел признать в нём человека выдающегося государственного ума.

К слову сказать, Фома Тимофеевич был мужиком твёрдого характера, пользовался заслуженным авторитетом среди односельчан. Бригадир полеводческой бригады с тридцатых годов, делегат Всесоюзного съезда колхозников-ударников в Кремле. На фотографии рядом со Сталиным сидят, как два закадычных друга. Сталин трубку держит, с хитрым прищуром на Фому Тимофеевича глазом косит. А Фома Тимофеевич сидит прямо, будто аршин проглотил. И глаза неестественно выпучил.

Хрущёва иначе чем пустобрехом, мякиной в соломенной шляпе Фома Тимофеевич и не величал. И всё спрашивал Егора:

— Вот чего он на Сталина окрысился? Мёртвого орла и воробей зашибёт. Прежде-то чего ходил, хвост поджимал, под гармошку вождя кренделя выписывал? А тут, ишь ты, осмелел! Сталина уж сколько нет в живых, а он вдогонку слюнями брызжет. Вот с чего, думаешь? Со страху, милый, со страху! Живого боялся, а теперь и мёртвого боится, ходит, в штаны наложил и всё пыжится сталинские достижения переплюнуть. Да только мелко плавал...

Неловко было на людях моргать, выслушивая отцовские поклёпы на лидера страны. Ох, как неловко! Да и должностное положение не позволяло. А что поделаешь, родитель ведь. Не вложишь ему в ум, что время на дворе новое, молодое и энергичное, и что он ведёт себя, как старый брюзга. Приходилось вяло отшучиваться, снисходительно возражать, сглаживать углы.

Вскоре заговорили о ликвидации «неперспективных» деревень, их Помелено тоже подверстали под спущенную сверху разнарядку. Тут уж отец и вовсе не хотел ничего слушать. Ходил мрачный, злой и хмурый. На все доводы безразлично отмахивался: «А-а, брось ты, слышали твою балалайку!».

Стал ходить на Микитин взгорок. Поднимется и подолгу смотрит на село, будто навсегда прощается.

А при очередной встрече бросил Егору в сердцах: «Ну и что, твой Хрущ новый Великий перелом замыслил? Личное подворье долой! Работного мужика под корень! Деревню упразднить, землю крапивой засеять. Вот и дождались милости с барского стола! Эх, Егорка, Егорка, помяни моё слово, крахом всё обернется. Кабы хлебушко с салом не пришлось из-за границы чалить».

Было смешно слушать подобные слова. Тоже, дескать, пророк с ликбезовским образованием. И слушал он отца со снисходительностью человека, со счастливой негаданностью вознесённого до высокого руко-

водящего кресла. Отцу что, ему можно болтать, а на него возложена персональная ответственность за исполнение директивных партийных решений. Он тогда не думал о последствиях этих решений. Да вряд ли кто о них думал наверху. Правил коллективный разум партии. А он не умел нисходить до конкретных частных и такой ничтожной малости, как отдельно взятая человеческая личность. Шла звонкая работа, как сказали бы теперь, в формате общих идеологических схем и абстракций.

Это уже много позже, на закате дней своих, когда из-за границы повезли не только хлеб и мясо, но и кукурузные хлопья в ярких упаковках, памперсы и нарядные побрякушки, как когда-то европейцы возили стеклянные бусы диким островитянам, Егор вспомнил отцовские прорицания: до чего же прав был старик!

А тогда он знал одно: «Партия мудра и в своих решениях не ошибается».

Ликвидацию Помелено начали с клуба, рубленного из вековых сосен. Разобрали, в Калиновку увезли. В начале лета на слом пошла школа на сто парт, за ней ухнул акушерский пункт, а затем и сельпо.

Дошла очередь и до ферм, в последнюю очередь крушили конский двор. К этому времени Фома Тимофеевич состоял ночным сторожем при лошадях. Этот двор когда-то сам рубил. И было так жаль его старику, что щемила душа.

В сумеречной конюховке с хомутами, пропахшими лошадиным потом, его и настигла смерть. Утром пришли мужики лошадей брать, а он холодный лежит на полу посреди помещения. Половина лица синей стала. Тут и без докторов ясно — паралич.

В день похорон отца Егор Фомич слышал, как Семён Лакцев, косясь в его сторону, возле двора говорил мужикам: «Сынок удружил... Вот и не выдержало сердце директивного погрома».

Смерть отца он опять же принял с невозмутимой твёрдостью важного должностного лица. Рассудил вполне философски: время, дескать, пришло, все там будем.

В чём был абсолютно непреклонен в те дни, так это в отстаивании партийной линии. И гнул эту партийную линию, работая без сочувствия к людям, без оглядки на сетования подчинённых, на здравые суждения низовых структур. Он их попросту не замечал. Что они могут там понимать, внизу? Вот когда сам смотрел из полевой борозды, как судил, о чём думал? Да всё о том, что начальники зажирили, ломают через колено и у них одно на уме: отобрать лишнее у колхозника, отдать государству. Но что это за суждения? Так, обычный обывательский трёп. Да и как может быть иным политический кругозор на низовом шестке? И что он стоит в сравнении с генеральной линией партии Ленина, передового отряда мирового прогресса?

Бывало, неделями мотался по районам, ночевал, где придётся, не щадил ни себя, ни других. Вольностей не терпел, нерадивых гнал, од-

нако иные инициативы, укладываемые в русло общей партийной линии, подхватывал. С одобрением относился к починам: «Догоним и перегоним, ударим встречным планом на происки империалистов!».

Одумываться начал на самом излёте, уже перед пенсией, перед тем, как на покой уйти. Тут как раз подкатила горбачёвская перестройка: расширить, углубить, больше гласности и демократического правопорядка. Пришла пора трескучего пустобайства. Звону — на весь мир, а дел — на копейку!..

Этот звон окончательно и отрезвил Егора Фомича. Умом он понимал, что вроде бы так оно и должно быть: новое мышление, демократия. Но это лишь слова, а из них шубы не сошьёшь. Конкретные дела, дела-то где? И что это за новое мышление, если уходит в гудок?

Одолевали подозрения, что властью овладели перерожденцы, крикливые прожектёры с холопским душком, а то и откровенные враги. Где эта шумная накипь были вчера, все эти многоречивые говоруны? По тёплым кухням сидели, шушукались под бормотание радио «Свобода». А теперь, видишь ли, осмелели, волю обрели. Власти возжелали. Но что это будет за власть, поднимающаяся на хаосе и криминальных дрожжах?

Близкое окружение Егора Фомича полагало, что демократия без должного правового и нравственного наполнения есть худшая форма общественно-социальной осатанелости.

Что станет со страной, если худшие люди, крикливые и наглоухватистые, прибирают к рукам всё, что плохо лежит. И горько было видеть собственную дочь в одной связке с этими людьми. Как же так вышло, что собирали годами, на что потрачен труд не одного поколения, пущено на ветер, брошено на всеобщее разграбление?

Егор Фомич почувствовал себя не только уставшим, но и лишним, совершенно не нужным новому времени. С особой остротой это чувство возникло, когда во власть стали встраиваться люди новой формации, молодые митинговые фанфароны с вузовским образованием, но совершенно лишённые живого практического опыта. Им лишь бы бегать по площадям за дешёвой популярностью, бороться против мифических партийных привилегий, засилья командно-административной номенклатуры. Он и сам был номенклатурой, а сильно ли расцвел? Да иной шахтёр, новатор-производственник имел гораздо больше, нежели он, обкомовский секретарь, ведающий вопросами аграрного комплекса. Конечно, и среди их брата встречались хапуги, но это уже такие ничтожные частности, которые не в каждый микроскоп разглядишь.

А дела в стране, между тем, шли всё хуже. Открыли границы, потекли за рубеж товары по грошовой цене. На глазах пустели магазинные полки. Да и само производство покатилося под уклон. А тут ещё вышла установка на открытие кооперативов. По сути дела, была дана отмашка на легальное разворовывание национального продукта. За воровство принялись не кто-нибудь, а сами командиры производств, на-

дежда и опора государства, вчерашняя руководящая элита. Директора пооткрывали кооперативы под крылом своих предприятий. Началась бешеная разработка золотой жилы с уклоном на собственный карман.

Егор Фомич сразу понял, недолго плоду висеть на ветке, если завязь изначально болезнью поражена. И устоит ли дом на гнилых углах?

Нет, не устоял. Как и полагается, кончилось полным развалом страны и государства. Он и свою определённую вину чувствовал за этот развал, тем более, не снимал её с первых лиц государства. Это они за общими делами просмотрели вызревшее мещанство, не заметили змия коварного потребительства, заморочившего людям головы. Вот и обернулась мечта вековая крахом. А сам главный перестройщик страны теперь и вовсе показался Егору Фомичу личностью настолько пустой и никчёмной, что оставалось лишь руками развести, как это они за своим кадровым лесом кривое дерево просмотрели?

Удивило ещё одно обстоятельство. С какой бешеной стремительностью под знамёна тупого и пьяного властолюбия переметнулись вчерашние охранители незыблемых социалистических устоев.

Митинговые страсти в стране всё ещё бушевали, но пена перестроечного пустословия постепенно сходила на нет.

17

Перед тем как Егору Фомичу уйти на покой, в один из дней в его просторный обкомовский кабинет с неизменным портретом Ленина за спиной, а теперь ещё и с портретом главного перестройщика страны влетел молодой человек с беспокойным нервным лицом и пегими волосами. Назвался Шиворотовым.

Повёл он себя несколько странно и даже в некотором роде бесцеремонно. Громко двинул под себя стул, шаркнув ножками о дубовый паркет, сел напротив Егора Фомича и упёрся локтями в крышку стола.

Беспокойная суетность в поведении гостя не могла укрыться от намётанного глаза Егора Фомича.

Заговорил Шиворотов сразу горячо и быстро, и понёс такую ахинею, что Егор Фомич, грешным делом, подумывал, уж не псих ли пожаловал к нему? Нет ли тут нужды в санитарах? Впрочем, время-то какое, суетное и нервное! Гласность, издержки демократии в корне меняли стиль человеческого поведения.

Рассматривая неожиданного посетителя, Егор Фомич тоскливо решил, что человек пришёл надолго, от этого Шиворотова, видимо, так просто не отделаться.

Егор Фомич обречённо вздохнул, готовясь слушать, плотнее устроился в мягком кресле, обитом коричневой юфтью, и, давая понять гостю, что он не празднует здесь, загружен текущей работой, стал перебирать деловые бумаги на столе.

Этого парня, между прочим, он уже видел и не раз на городской площади среди митингующей толпы. Слышал, как выступает. Говорил он зло и увлечённо. Напирал на бедствия русского народа, Не преминул помянуть про безнациональную большевистскую оккупацию, а завершал свою речь призывом стягнуть с себя враждебные оковы чуждых народу сил.

Возбуждённая толпа горячо аплодировала ему, но было немало и таких, кто освистывал и кричал: «Фашист недобитый! Черносотенец! Долой красно-коричневую чуму!».

Эти крики лишь раззадоривали оратора. Он резко встряхивал головой и огрызался:

— Видите, кто затесался среди вас? Потомки расстрельщиков наших дедов, комиссаров в кожаных тужурках! Опять повылазили из своих тараканьих нор, свищут, а того не знают, что товарищ Сталин с маузером стоит возле ворот! Поможем ему загнать эту сволочь туда, где и должно быть их место!..

Шиворотов и теперь начал свой разговор всё с той же крепко засевшей в нём русской темы. Он и представился в самом начале Егору Фомичу истинным русским патриотом, борцом за общий национальный интерес и добавил, вскинув бровь:

— Я — диссидент совести.

— Может, всё-таки узник совести? — попытался поправить Егор Фомич, играя цветным карандашом.

— Это не имеет значения, — небрежно бросил Шиворотов и тут же пояснил: — Я не коммунист и ваших дел не знаю. Но могу стать вашим союзником в борьбе с людьми, разрушившими мир сельской общины, с ленинцами и троцкистами... Вы же аграрник, вам это должно быть близко... Столыпин начал, они продолжили.

— Позвольте, как это? — удивился Егор Фомич, невольно волнуясь и оглядываясь, не слышит ли их кто?

Но, кроме них, больше в кабинете и быть никого не могло.

— Очень даже просто, — с торопливой напористостью продолжил Шиворотов. — Вам должно, известно, что русская деревня испокон веков держалась на общине. Столыпин предпринял попытку разрушить её, однако коснулся лишь края, вывел из общины мужика-миroeда. И вот, — с загоревшимися глазами продолжал Шиворотов, — пришли Ленин с Троцким, главные ненавистники исконно русского мироустройства. Оно и не удивительно, — передёрнул плечами гость. — Оба — инородцы. И не просто инородцы, а ещё и выродки. От собственного стада отбились и к чужому не пристали. Для них же человек истинной русский веры изначально есть черносотенец и великодержавный шовинист. Теперь каждому видно, о чём они мечтали. Разрушат устои сельской общины, деревня сама рассыплется в прах, а вместе с ней и всё исконно национальное развеется пеплом. Сейчас слышите, как их помёт в третьем

поколении вопит о русском фашизме? Как яростно шумят о никчёмности русского мужика-лежебоки! Отчего шумят? Оттого, чтобы под шумок наши богатства загрести... Почему я пришёл именно к вам и вам это говорю? Наслышан о вас. Вы — человек правильный, деревенский и занимались всегда деревней. Вам это должно быть близко. Вы наверняка по опыту собственных родителей знаете, как эти хамы в кожаных тужурках душили деревню подразвёрстками, половинили наш народ, пачками расстреливали русских офицеров, православных священников. Но, слава Богу, пришёл Сталин. Троцкому дал хорошего пинка, провёл коллективизацию, тем и вернул деревню к её общинному укладу. А теперь вот опять рассыпают. О каком-то фермере кричат. И слово-то какое! Не вольный пахарь, не мужик-оратый, а видите ли фермер! Так и норовят переиначить нас на свой вырожденский лад! Не выйдет, не выйдет, голубчики! — строго погрозил указательным пальцем Шиворотов. — Опять лезут из подворотен последыши троцкиста Хрущёва. Вы, конечно, помните, как он смахнул с карты половину деревенской России?

При этих словах Егор Фомич беспокожно завозился и подумал, как не помнить? Конечно же, помнит! Сам участвовал. Своё Помелено мог бы уберечь. А не уберёг. Боялся нерешительным показаться. Вот и не отвёл грозу...

Воспоминания о разорённой родной деревне оглушили его. Им овладела вялость и голос Шиворотова зазвучал издалека, словно из-под воды.

— Что сделал Хрущ? — горячо бубнил Шиворотов, перечисляя и без того известные прегрешения непоседливого партийного правителя: ужатые личные подворья крестьян, гигантоманию. Затем перекинулся на теперешних лжедемократов, как обозвал он младореформаторов, объявивших деревню «чёрной дырой» и полностью разоривших крупные сельские производства.

Всё это Егору Фомичу и без Шиворотова было известно. Его слова лишь добавляли соли на старую незаживающую рану. Только в чём суть-то? К чему разговор?

Наконец Шиворотов дошёл и до этой самой сути.

— Вы думаете, они — демократы? — вдруг спросил он, уставившись на Егора Фомича немигающими зелёными глазами и сам же ответил: — Да вы посмотрите телевизор. Это же сплошной бедлам! Одни пучеглазые сидят и ведь никто из них не скажет: «моя Родина». У них она — «эта страна». И нужна им «эта страна» для сытого прокорма. Им нужна Россия интернационалистов и полукровок. Нужны её богатства, а не сама она. Из полукровок никогда не получится полноценной России. Это будет уже другая страна, чужая для коренного человека. Вот я и предлагаю объединиться.

— Вы так много наговорили, что сразу и не разобраться, — попытался успокоить посетителя Дятлов. — Простите, но у вас сплошная

каша в голове, путаница и мешанина. Сборная солянка, так сказать. При чём здесь Ленин, Хрущёв, Троцкий? Я, собственно, и являюсь членом партии Ленина.

— Я так и думал, что вы это скажете! — звонко шлёпнул Шиворотов себя по колену и немедленно поднялся. — Это плохо, что вы из партии Ленина, верного соратника «иудушки» Троцкого! Собственно, я и не очень надеялся обрести что-то надёжное здесь. Просто я думал, что вы другой... А партию вашу не ныне, так завтра разгонят. И правильно сделают. Зачем оставлять затухшее болото? Ваша партия давно уже покойник, она неконкретна и аморфна. Как и полагается болоту, она расплзлась вишь, а глубины в ней не осталось. Не осталось опоры на конкретного мужика. Вы даже не догадываетесь, что ваша партия давно корчится в оковах догматизма и пустых суесловий. Потому и не знаете, в чём коренное различие между нами и Западом. А оно именно в общинности нашего уклада. Запад — это Запад. Это индивидуальное «я», а Россия — это «мы»! Вот этого вы и ваша партия не видите! И наша встреча лишь убедила меня в том, что пора создавать собственную партию. И я создам её! — решительно сказал Шиворотов уже от двери и вышел, не попрощавшись.

Разговор обескуражил Егора Фомича. Он сидел, потирая виски, потом вызвал секретаршу и отчитал её за то, что впускает к нему разные подозрительные личности. Их теперь столько шатается, что всех не переслушаешь.

Секретарша, работавшая с ним целую вечность, не оправдывалась, виновато соглашалась. Егору Фомичу стало жаль её. Он понимал, что она ни при чём здесь, и молча одёрнул себя. Кому теперь что запретить? Перестройка же, гласность и демократия шагают по стране.

Он думал об этом Шиворотове. Где же логика в его рассуждениях? При чём здесь Ленин, инородство? А Горбачёв что, тоже инородец? Тюря какая-то. Смешно и глупо.

И потом, всякий раз вспоминая Шиворотова, он думал: «Какой бред! Но этот молодой человек обязательно где-то проявится. Не может не прорваться нарвавший волдырь да ещё в такое смутное время».

Тот разговор не прошёл для Егора Фомича бесследно, неизвестно чем, но тронул сердце. Хотя зачем ему всё это нужно? Он отыграл своё, жизнь сделана. Ему нечего стыдиться. Работал на укрепление страны. И не его вина, что пошло наперекос. Виновато не областное звено, а те, кто сидел в центре, кто тащил на гребень власти пустых, ничего не стоящих перерожденцев, подхалимов и разного рода политических отщепенцев.. Потому так легко и повалились столпы, казалось бы, ещё вчера незыблемой системы.

Была и укоряющая мысль, ноющая, как зубная боль. А с самому разве не видно было? Видно. И другие видели! Но молчали. И не

просто молчали, а ещё и одобряли с радостным единодушием. Значит, и сам прогибался, кривил душой. Вот и таскай в себе этот груз...

Вспоминался покойный родитель, особенно ночами, споры с ним. Егор Фомич кряхтел и вздыхал: прав был старик. Ой, как прав!..

Первое время, как вышел на пенсию, часто бывали сослуживцы, забежали друзья, районные партийные руководители, давно знавшие его, делились новостями, обсуждали перемены в стране. Много было телефонных звонков.

Изредка заглядывал бывший заведующий отделом пропаганды и агитации обкома партии Савелий Емельянович Цимбал, высокий седой старик с красивым задумчивым лицом. Многое перевспоминали они, о многом переговаривали. Цимбал спрашивал: «Зачем и куда идём? Если набить пузо, обогатиться, как озвучивают иные теперешние идеологи, — это одно. Если хотим совершенствовать человека, метим в воспитание тонкостей его нутра — это другое. И вот ведь какая беда, сами поводыри этого не знают. Прежде звали народ к высотам знаний, к всеобщей грамоте, а теперь — назад, в невежество, к всеобщему одичанию. Это ведь идеология жука-скарабея: как можно больше нагрести навоза, отложить личинок, наплодить новых жуков для нового навоза. И так без конца. Кто больше нагребёт, тот и самый лучший жук. Тоскливо и тошно, брат! Переродились мы. Все переродились, начиная с генсека до последнего дровосека».

И Цимбал устремлял кверху свои большие, навывкате, глаза.

Егор Фомич вздыхал и соглашался:

— Кончился энтузиазм. Раковая опухоль потребительства дала метастазы.

Думал о дочери, о своей рыжухе Ниночке: ловкая, как кошка! Как быстро усвоила она эти рыночные потуги. Будто тут и была! Да и у Савелия Емельяновича с сыном тоже получилось не так. Проморгали молодёжь, за общими лозунгами главного не увидели.

Убивали время не только за разговорами, подолгу играли в шахматы с Цимбалом, забывая о событиях, которые ткались за стенами квартиры, об атмосфере, царящей в стране.

Так продолжалось, наверное, с год, потом, как обрезало, один остался, точно сыч в дупле. Никогошеньки рядом из старых друзей — и звонить перестали, и навещать забыли.

Дочь тоже заглядывала редко. И Егор Фомич с раздражением думал: запарилась девка, рехнулась на своих ваучерах, бизнесе, делёжке имущества. Где уж тут помнить родителей!

Остались одни с Евдокией, вечно занятой домашними делами, хлопотами на кухне, беготнёй по магазинам, долгими стояниями в продуктовых очередях. Перемены в жизни Егора Фомича оказались настолько крутыми и болезненными, что и на здоровье сказались, ухудшалось оно. И ухудшалось стремительно.

Однажды под утро ухнул куда-то, словно в тёмную бездну провалился, собственный голос перестал слышать. Но быстро отлегло, отпустила глухая пучина, он решил: кают приходит, отбегался конь ретивый, не за горами смерть.

Жена нестерпимой ворчуньей стала. Возвращаясь с сумками из долгих очередей, проклинала и новую жизнь, и его старую партию.

Она высохла за последние годы, сделалась маленькой, лёгкой, как горлица, даже тронуть боязно. Шейка тонкая, точно голубиная, двумя пальцами переломишь.

Ворчание жены угнетало Егора Фомича, тут и без ворчания тошно.

Странности стали происходить с головой, забываться начал, шум усилился в ушах. Пришлось показаться знакомому врачу. Тот не нашёл ничего особенного. Дескать, обычные возрастные изменения, организм сбои даёт. Сосудистая система подорвана. Рано или поздно подобное с каждым происходит.

— Но ещё поживёте, — бодро утешил он. — Побегаете.

Окончательно Егора Фомича подкосил удар такой страшной силы, от которого и не каждый здоровый устоит. В очереди за курами насмерть задавили Дусю. В толчее сбили с ног и не заметили, как затоптали.

У Егора Фомича свет померк в глазах, когда сообщили о страшной беде. Тело сделалось ватным и непослушным.

Едва Дусю внесли в квартиру, холодную, неподвижную, с заострившимся белым лицом, он кинулся к ней, встал над гробом и, никого не стесняясь, горько заплакал.

Гибель супруги не просто потрясла Егора Фомича, она как бы напололам развалила его. Он почувствовал себя смертельно уставшим, лишним в этой жизни. Замкнулся, редко стал выходить на улицу. Жил, не понимая, живёт ли он? Иной раз поест, иной раз и забудет. Куда только бывшая его осанка подевалась? Он и теперь продолжал бодриться, особенно на людях. Но ничего не выходило из его натужного бодрячества. Кто-то властный страшно гнул к земле, заставлял безвольно шаркать ногами.

Сильно угнетало одиночество, бесцельная пустота жизни, казалось, никакого живого шевеления не осталось вокруг.

Как-то пришёл сосед по площадке капитан внутренних войск Щеглов. Молодой, а тоже одинокий. С год назад от него ушла жена к торговцу чебуреками. Он было запил, как это бывает с русским человеком, пропадать стал, но скоро взял себя в руки.

Друзья подарили ему собачку, маленького шпица по кличке Чап. Вот с ним они и жили. Забываться стал, даже подшучивал над собой: вот, мол, не всем так с жёнами везёт. Далеко не от каждого к усатому торговцу сбегает.

Выпало ему ехать в Чечню. Вот тогда и пришёл Щеглов к Егору Фомичу, предложил, не возьмёт ли себе собачку?

Егор Фомич иногда встречал их с этим шустрым пёсиком во время прогулок, кобелёк ему нравился. Милая собачка, грех не взять.

Шпиц оказался не только милым, но и привязчивым. И грустил совсем недолго по капитану. Как-то сразу по-хозяйски освоился в новой просторной квартире Дятловых, быстро сдружился с Егором Фомичом.

И стали они вдвоём коротать дни. Раз в неделю по средам их навещала Нина Егоровна. Интересовалась здоровьем отца, набивала холодильник продуктами, наскоро прибиралась и так же скоро исчезала до следующей среды.

Появление собачки в квартире отца Нина Егоровна восприняла с большим неодобрением. Без конца твердила: незачем держать в квартире пса, выкинуть надо, сам не можешь, давай я выкину.

Однажды подхватила заскулившего шпица за уши и решительно направилась в двери:

— Я вижу, папа, без моей помощи тебе не обойтись.

Здесь и случился со стариком самый настоящий припадок. Он побледнел, затряс головой, затопал ногами и разразился негодующей бранью.

Дочь прежде не видела его таким. Бледное лицо Егора Фомича медленно налилось зловещей багровостью, затем стало синеть. Старик повалился на диван и захрапел, давясь и хватаясь руками за шею.

Нина Егоровна кинулась к аптечке, достала нашатырь, принялась натирать отцу виски, сунула ваточку под нос, привела в чувство и вызвала неотложку.

Приехала «скорая». Егору Фомичу сделали укол, он пришёл в себя и успокоился.

Собака, тем временем, сидела среди комнаты и, не сводя с хозяина встревоженных глаз, наблюдала за происходящим.

Как только Егору Фомичу стало легче, она прыгнула к нему на диван и принялась слизывать холодный пот с его вспотевшего лба.

Он слабой рукой нащупал голову собаки и крепко прижал к себе. Нине Егоровне показалось, что отец улыбнулся и его лицо радостно просияло.

— Ну и живите, если нравится, — оправившись от испуга, резким голосом сказала она. — А у меня нет времени, чтобы обихаживать вас. Тебе, папа, нужен постоянный медицинский уход. Сама я этого сделать не могу. Так что извини, придётся тебя устраивать в пансионат. Иного выхода я просто не вижу. И самому тебе будет лучше, и мне спокойнее.

— Делай, как знаешь, — слабым голосом ответил старик.

Сказано это было с полным равнодушием к себе, хотя обида и осталась. Пожаловался на дочь Савелию Цимбалу. Тот, в свою очередь, пожаловался на сына, на своего Клима. Тоже, дескать, не помнит отцовское добро. Не позвони ему, сам ни за что не догадается.

Оба повздыхали и согласились, что не властны стали над детьми.

С дочерью у Егора Фомича давно были натянутые отношения. Не в Дятлову породу пошла. Двух мужей поменяла и снова осталась одна.

И он изумлялся порой: «И в кого уродилась?». «Сама в себя», — обычно отвечала жена.

Не было в Нине Егоровне ни отцовской стати, ни особой женской привлекательности. Нещадно красилась, а всё равно выглядела блекло, как неряшливо убранное осеннее поле. А теперь ещё и возраст брал своё, далёко не ягодка. Но по-прежнему молодилась, а уж насчёт энергии, куда там до неё молодым! Не женщина, а прямо-таки динамо-машина!

В стране едва наклонилась пора имущественного скорохвата, а Нина Егоровна тут как тут. Первой у делёжки дарового пирога.

До этого она лет пятнадцать ведала отделом в объединённом обкоме профсоюза работников лёгкой промышленности и коммунального хозяйства. Опыт профсоюзного деятеля пригодился и здесь. Давно были натоптаны тропки к нужным людям, налажены полезные контакты, подключены обширные знакомства и приёмы женского оболащивания оказались не лишними. Это и открыло двери к заповедному кладу. А результат — вот он! Целый пасьянс на руках: владелица бывшей профсоюзной гостиницы, дома отдыха в зелёной зоне, станции технического обслуживания и двух кирпичных заводиков.

Она сумела так развернуться, что люди, давно знавшие её, только ахали: «Вот вам из идейной семейки! Эта бизнес-леди настоящая анаконда, сожрёт и не подавится!».

На паях с бывшим криминальным авторитетом Шурыгой, а ныне добропорядочным коммерсантом Анатолием Николаевичем Шурыгиным, цветущим мужчиной с фигурой природного атлета и лицом умного мошенника, они открыли межрайонный пищеблок. Взялись обслуживать лечебные учреждения, пансионаты и даже местное СИЗО. Дело оказалось не только прибыльным, но и совершенно беспроблемным. Страну хотя и заново перелицевали, вывернули наизнанку, но есть от этого меньше никто не стал.

Но самый высокий доход, однако же, приносило производство кирпича. Её заводы дымили, не зная прохолоста. От клиентуры не было отбоя.

Вчерашних партийных аскетов и социалистических бесребреников, крупных управленцев и бывших красных директоров словно провало, охватив чесоточным зудом нестерпимой наживы. Расталкивая друг друга, они наперебой бросились не только хватать всё, что плохо лежит, но и с немисливо упоённым упорством принялись возводить для себя каменные казематы, загородные дворцы и целые комплексы крепостных сооружений. Город охватил строительно-дачный бум.

Как воздух, нужен был кирпич. И человека, более необходимого в городе, чем Нина Егоровна, было не найти. И потому её имущество прирастало как бы само собой, тихо, мирно, без шума и пыли. Кроме множества точек торговли водкой, Нина Егоровна прибрала к рукам ещё и местную кондитерскую фабрику.

Деньги в её обороте крутились огромные. А где большие деньги, там темно и сыкотно, там крутится и криминал. Время было шальное, пьяное, безвластное и бандитское. И Нина Егоровна очень расчётливо поступила, заведя с Шурыгой роман.

У местных властей Шурыга давно проходил по списку удачливых бизнесменов и состоятельных горожан. Это он при советской власти считался обычным уголовником. А теперь исправился, обзавёлся красным пиджаком, галстуком, шляпой, стал бывать на промышленных, как ныне выражаются в политических кругах, саммитах, был завсегдаем губернских подиумов. Под ним ходили все игорные заведения города. В наиболее солидных из них мелькал далеко не самый простой люд. Сиживали за рулеткой и чиновники крупного калибра. Иные за ночь просаживали такие состояния, о которых и сам Крез не мечтал. Этих людей Шурыга держал на учёте и при случае мог крепко взнуздать.

Говорили, что даже с такой эстрадной знаменитостью, как Ося Кабыздон, он поддерживает близкие отношения. И местные спортсмены ходили под ним, и кормились возле него.

Где миллионные барыши, там и отношения другие. И совершенно ничего не значат такие тонкости, как кровное родство, сердечная привязанность. Мир наживы, увы, суров и беспощаден. Иной человек с шальными деньгами даже сам себе становится не в радость. До родственных ли здесь чувств?

И потому ни у кого из круга Нины Егоровны не поднялась рука обвинить её в дочерней чёрствости; в том, что родного отца упрятала в казённый пансионат. Напротив, иные считали, что её поступок продиктован исключительно благородными мотивами. «По-людски сделала, — сказали соседи. — Не выбросила на улицу».

Нина Егоровна выговорила для отца отдельную палату, благоустроила её, наняла персонально хожалку со средним медицинским образованием, одинокую обходительную женщину Зою Павловну. Приняла на себя расходы не только по содержанию старика, но и выступила в качестве спонсора самого пансионата.

Решение дочери Егор Фомич принял вполне спокойно. Что делать, если немощным стал? Тут уж, как решат, так и будет. И весь его интерес переключился на собачку.

И он всё чаще стал думать, что скоро умрёт.

18

Не успели вселиться в новую обитель, как Чап сразу же обследовал её. Здесь было всё не так, как в городе. Длинное одноэтажное здание из серого кирпича с окошками в ажурных решётках удивило своими размерами, просторным коридором, однако не разочаровало. Очень понравился обширный двор с рябинами и акациями вдоль дорожек,

с цветочными клумбами и деревянными скамейками, крашенными в разные цвета. Он и двор обследовал.

Встретил много новых лиц и не запомнил их сразу. Вокруг ходили одни старики. Молодыми были только женщины, работающие на кухне.

Егору Фомичу позволили жить вне заведённого пансионатского распорядка. Спал, когда хотел, гулял, когда вздумается. Обеды ему подавали в палату. В ней стоял большой цветной телевизор, который Егор Фомич всякий раз забывал выключать.

Зоя Павловна по утрам снабжала его свежими газетами.

Самое главное, старику позволили держать при себе собачку. Он мог свободно гулять с ней не только по двору, но и по общему коридору.

Подобное попустительство со стороны администрации вызвало немедленный ропот насельников.

— Это что ещё за псарня? — завидев бегающего по коридору шпица, шумели иные старики, стуча костылями. — Совсем за скотов держат!

Но директриса пансионата Анна Фёдоровна Челнокова, женщина необъятных размеров, умела окорачивать недовольных. Она не выходила, а прямо-таки выплывала из своего кабинета, покачиваясь, как тяжело гружённый лесовоз. Голову на мягкой полной шее в крупных янтарных бусах директриса держала несколько вперёд. И получалось так, что передняя часть её тела находилась уже в коридоре, а задняя оставалась в кабинете. И старики шутили в курилке над своей директрисой: дескать, зад Анна Фёдоровна таскает за собой, как тракторную тележку.

Лев Данилович, муж Анны Фёдоровны, невзрачный, угодливый мужичок, работающий в пансионате завхозом, был во всём покорен супруге. Вполне оправдывались пророчества местного философа Сморкалина: «Муж, не поднимающий веса собственный жены, обязательно окажется под каблуком». Лев Данилович называл свою супругу «рыбинкой». Но эта «рыбинка» была не иначе как из семейства китообразных.

Выйдя в коридор и заполнив собой добрую его половину, директриса вздыхала во всю необъятную грудь и говорила голосом, полным томного укора и неизлитого страдания:

— Кто же тут у нас фулиганит? Мне что, ОМОН на вас вызывать? В смирительную рубашку завязывать? Постыдились бы, старые люди!..

Старики укоризненно переглядывались и насупленно молчали.

— Ну, хорошо, — горестно вздыхала Анна Фёдоровна. — Вам не нравится собачка Егора Фомича. Не нравится, что проживает на одной с вами жилплощади. Но чем же она может не нравиться вам? Вы только посмотрите, какой это чудный кобелёк! Очень даже приятная собачка! Смышлёная и лает в меру.

Директриса поочередно оглядывала недовольных жильцов и обиженно поджимала губы. Старики, потупившись, смотрели на её замшевые с блестящей пряжкой туфли и продолжали хмуро молчать.

Это были изношенные жизнью люди с непростой биографией, большие и несчастные. Многие ещё недавно были членами партии, ударниками коммунистического труда, профсоюзными активистами, ветеранами тыла и фронта. Иные сами загнали себя сюда, спившись с круга, но большинство были брошены близкими людьми, оставившими их без собственного угла и средств к существованию.

— Ми-и-лые мои! — почти нежно протягивала Анна Фёдоровна, растопырив руки, как бы призывая виновников волнений и своих возлюбленных чад в горячие материнские объятия. — Да мы же по гроб жизни должны благодарить этого пёсика! — И голос директрисы наливался сладостью умилительного восторга. — Вот вы у себя на столе дополнительно к общему питанию что видите? Вы видите и фрукты, и соки, и полезные напитки, и печенье, и сладости к чаю. Думаете, откуда это? Думаете, бюджет выделяет? Как бы не так! Это вам собачка дары свои шлёт, — направляла она указующий перст в сторону пробегающего мимо Чапа. — А уж если быть точной, это дочка Егора Фомича нам благодетельствует. Она тратит свои личные накопления на ваш стол. И что же, по-вашему, в знак благодарности за щедроты её мы должны нещадным образом изгнать эту несчастную собачку из своей жизни? Ну, что ж, давайте изгоним, — горестно опускала она большие печальные глаза. — Только учтите, и стол ваш будет другим. Никаких напитков и лакомств. Будем пустыми щами пробавляться. Морковкой да капустой хрустеть. Ни подарков к праздникам! Ни концертов! Всё строго по нормам минсоцобеспечения!.. Как вам нравится подобная перспектива?

В Анне Фёдоровне было не только много веса, но и материнского тепла. Она близко к сердцу принимала тревоги своих насельников, зная, как они несчастны и одиноки. Жить бы им до последних дней своих в окружении родни и любящих людей, играть с внуками, радоваться успехам молодости, не замечая старости и собственного увядания. А вот их взяли да выкинули, как негодную собачку на мороз.

Всё это Анна Фёдоровна хорошо понимала, как и то, что её горячего понимания на всех не хватит. Пока до каждого донесёшь, оно и остынет, словно постная похлёбка.

И всё-таки в свои слова она стремилась вложить и сердце, и душу. В этом и крылся секрет её руководящего авторитета. Вот и теперь слова Анны Фёдоровны до лёгкого пощипывания в горле проняли стариков, одних ввели в глубокое смущение, других вынудили виновато отойти в дальний уголок коридора, а третьих — и вовсе скрыться в своих палатах.

— Вот какие деликатесы вам на завтрак подавали? — певуче вопрошала Анна Фёдоровна. — Что, забыли? А я напому. А подавали вам мочёные ананасы. Из самой Америки доставили.

— Ну, ежели из Америки, тогда берегись брюхо! — почёсывая живот, говорил бывший начальник управления киносети, безногий старик Недомухин. — Америка, она засыплет своей благодатью. Потому

только и слышим: ах, Америка! ах, Америка! Ах, какой славный коло-
радский жук! Уж такой милашка! Хрум-хрум, мня-мня, — и нет кар-
тошки. Не то что наши жуки-сиволапы. Зароются в навоз и жрут чёрт
знает что. Америка — это класс!

— Будя, будя вам шутить, Александр Петрович, — застенчиво от-
махивалась пухлой ладошкой Анна Фёдоровна. — Я вполне серьёзно
говорю.

— И я серьёзно, — отвечал Недомухин, у которого было одно на
уме: выпить. — А чё же она нам водку не шлёт? — хрипло вопрошал он,
обвисая на деревянном костыле.

Его нахальный вопрос безответно повисал в воздухе, как и сам он
на своём единственном костыле. Анна Фёдоровна делала вид, что не
было никакого вопроса, и обычно говорила:

— Милые мои, молитесь создателю, чтобы Егор Фомич подольше
жил у нас. И чтоб пёсик его оставался в здравии. От этого польза всем.

Тут и Недомухину не оставалась ничего другого, как ковылять в
своё четырёхместное мужское обиталище.

И всё-таки административный либерализм Анны Фёдоровны не
был оставлен без последствий. Приезжала комиссия по жалобе быв-
шего работника рыбной инспекции и члена общества по спасению на
водах Иллариона Жилкина. Про него говорили, что ещё с молодости
был завзятым общественным борцом с социальными непорядками.
Вот и здесь не выдержал, сел однажды в комнате отдыха и на четырёх
страницах намахал жалобу в областной департамент социальной за-
щиты. И слова-то какие, подлец, подобрал! Ни за что и не подумаешь,
что образование в объёме неполного начального получил: «Потом-
ственным пролетариям не нужны объёдки с барских подачек. Пусть
сама ими подавится! А собаку убрать, а то я буду иметь возмущение
сам придушить её».

Проверяющих было двое. Симпатичные девушки на высоких ка-
блуках с блестящими сумочками на ремешке. Походили они по пан-
сионату, поспрашивали мужиков. Никто ничего вразумительного не
сказал.

Заглянули в комнату к Егору Фомичу, поинтересовались его здо-
ровьем. Одна из девушек, густо крашенная, с синими тенями вокруг
невинно чистых глаз, ласково пощекотала Чапека за ухом, потрогала
мягкую шерстку и похвалила, какой ласковый и славный пёс. Затем
обе проследовали в столовую, покушали борщ, только что доставлен-
ный в больших железных термосах из пищеблока, принадлежаще-
го Нине Егоровне, и тоже похвалили. Вкусный борщ, свёкла хорошо
упрела, сладкая и тёмная, не иначе как сорта «бордо».

Поговорили с Анной Фёдоровной, втроем посмеялись над анекдо-
том, как заяц лису одолел, поинтересовались у Жилкина, не желает ли
он переехать в другой пансионат. Это совсем недалеко, в каких-то ста

двадцати километрах от города. Жилкин ехать наотрез отказался и отчего-то осерчал.

На этом проверка и кончилась. Анна Фёдоровна в одной пуховой шали, наброшенной на плечи, проводила гостей до калитки и вернулась, зябко потирая пухлые пальцы и молодо улыбаясь.

После этого случая мужское население пансионата осердилось на Жилкина и перестало играть с ним в домино. Он ходил по коридору, жалкий и пришибленный, просительно заглядывал в лица мужиков и виновато улыбался.

Пытался Чапека задобрить, ласково манил, протягивая половинку котлеты, но гордый шпиц лишь презрительно нюхал воздух и отворачивался, совсем не подозревая о том, какие нешуточные страсти развернулись вокруг его персоны.

Он по-прежнему гулял, где ему хотелось, и задорно лаял на скрипучий костыль Недомухина.

Егор Фомич тоже ничего не подозревал, жил своей замкнутой жизнью, целыми днями валяясь на диване или с задумчивым бессмыслием просматривал газеты. Зоя Павловна приносила сразу по три-четыре наименования, но писано в них было одинаково.

За политикой Егор Фомич вроде бы активно следил, ни одной общественно значимой телевизионной программы не пропускал, но ничего толкового в теперешней политике не видел. Было неясно, то ли в стране так темно и смутно, то ли в голове клубилась темнота. На экране мелькало немало сытых и самоуверенных лиц, но, кажется, не совсем умных. Только и слышалось: рынок, рынок! Он всех уравнивает, накормит, обогатит, выведет в люди. Даже в голове гудело от этих надоедливых слов. Хотя, действительно, появилось немало состоятельных людей, неизвестно с чего забогатевших. Это мучило Егора Фомича и почему-то удручало.

Чапек благоденствовал, души не чая в старике. По утрам носил ему тапочки в постель.

А дни тянулись тускло и однообразно. Нина Егоровна была постоянно занята и редко навещала отца.

Как-то приехал Савелий Емельянович Цимбал. Совсем плохой стал, белый, как пух. Лицо сухое, матовое, лишь горбинка на носу казалась отчего-то розовой. Брови двумя клочками повисли над вылинявшими глазами.

Пришёл, снял пыжиковую шапку, сел на стул, кряхтя, долго отдыхался, держась за грудь. Егор Фомич смотрел на него, как на совершенно незнакомого человека, удивлённо и непонимающе.

— Бестолковыми стали, — вдруг ни с чего произнёс Цимбал, оглаживая себе колени.

— С какими оковами? — не понял Егор Фомич, продолжая разглядывать гостя с прежней старческой беспомощностью.

— Что? — удивился Цимбал. — Оковами, говоришь. Какими оковами?

— Сам же сказал, с оковами летали, — бессмысленно тарачил глаза Егор Фомич.

— Я сказал, бестолковыми!

— А-а, в-о— о-на как! — протянул Егор Фомич и замолчал, сидя на кровати.

Глядел в пол, мял руки, шелестя сухой кожей. Посидели, помолчали, Цимбал, кряхтя, подниматься стал.

— Вот и поговорили, — проскрипел он, надевая шапку.

И медленно направился к двери. Егор Фомич невозмутимо смотрел на его сгорбленную фигуру и не было на его лице удивления.

Чап сидел под столом и тоже ничему не удивился.

В конце следующей недели их навестила Нина Егоровна. Вошла она со щеголеватым мужчиной в белом кашне. Он занёс продукты и ушёл, оставив её с отцом.

Нина Егоровна начала с того, что коротко сообщила: умер Цимбал, в среду похоронили. Это известие Егор Фомич принял молча и бестрепетно. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Сынок-то его крутится в помощниках у этого газового магната Скоропудова, — продолжила Нина Егоровна как о чём-то значительном и важном для отца. — Так вот, могилу выбили ему на старом городском кладбище. Так что ваш партийный пропагандист покоится теперь на одном участке с братками из бандитских бригад. Но до них далеко ему, — говорила она, усмехаясь и кося глазами на дверь. — У них памятники, ого, какие! Как у Маяковского, во весь рост.

И эти слова Егор Фомич выслушал с полным безразличием. Дочь ушла так же быстро, как и появилась, оставив его в молчаливой задумчивости. В этой задумчивости он и просидел остаток дня.

Зоя Павловна на ужин принесла манную кашу, одобренную мёдом. Егор Фомич к еде не притронулся. Чап свою кашу съел, хотя ему она была подана без масла и мёда.

Старик таял день ото дня. Он стал квёл и слезлив, как ребёнок. Жаловался на боль в пояснице, на скрипы в негнущихся коленях. Подолгу совершенно неподвижно просиживал возле окна, за которым гудел мир чужой для него жизни, суетной и вольной.

Как-то утром птичка прилетела на окно. Запрыгала по подоконнику, высматривая щели. И взлетела, в воздухе мелькая крыльями и клювом стуча в стекло.

Это неприметное событие сильно взволновало старика и он захлопал носом. Птаха давно улетела, а он смотрел в окно и молча плакал. Слёзы двумя рядами катились по щекам. Ему казалось, что это мать прислала весточку, просит приехать к ней.

Чап с непонятной подозрительностью смотрел на хозяина и по-со-

бачьи молча жалел его. Затем подошёл совсем неслышно, как кошка, и потёрся головой о костистую старикову ногу. Егор Фомич легонько коснулся его кончиками пальцев и успокоился.

Он много теперь думал. Иногда довольно ясно. В такие минуты к нему возвращался прилив необыкновенной бодрости, потребность в физической работе, в движении. И он бы двигался, если бы только ни тяжесть в ногах. И мозг его наполнялся свежестью воспоминаний, правда, порой довольно разрозненных, рваных и обрывистых, как берега размытых оврагов.

Вспоминались раздражающие его митинги на городских площадях, кабинет свой вспоминал со множеством телефонных аппаратов, селекторные совещания по утрам, как устраивал разгоны вышедшим из послушания низовым партийным руководителям, жену свою вспоминал.

Однажды вспомнился этот косматый тип, прыткий не по летам. Шиворотов, кажется? Ишь, ты, волосатый сопляк, задумал свою партию создать! Вон ведь на что замахнулся!.. Впрочем, всё может быть! Ленин тоже был сопляком, когда партию создавал.

Телефон в его палате молчал месяцами. Как будто он умер уже. А может, и правда умер? Может, это только кажется, что жив?..

Комната, которую занимал Егор Фомич, или палата, как её называла Анна Фёдоровна, была вдвое меньше их городской квартиры, но удобства имела все. А его не радовала эта казенная обитель. Иной раз становилось до того постыло, что хотелось себя убить. Внутри его открывались незримые затворы и на Егора Фомича обрушивалась нездоровая сумрачная тяжесть, тревожная, вроде солнечного затмения. Он сидел, не переставая смотреть на серое небо, на голые деревья в снегу.

Упрётся бессмысленным взором в одну недосыгаемо-высокую точку и плачет, не чувствуя слёз.

В такие дни и рассудок его как бы мутнел. Он ничего не понимал, ни с кем не разговаривал. Из тёмного далека вдруг всплывёт и поманит его молодое лицо матери. И среди неба вроде зыбкого миража проглянет родное Помелено. И эти видения лишь усиливали его душевные муки.

Приходил и отец в видениях. Постоит, посмотрит с немым укором и уйдёт, ничего не сказав.

Чапек умел чутко улавливать настроения хозяина: когда на Егора Фомича находила душевная смута, он и сам становился безразличным и унылым, не прикасался к еде, лежал возле ног, время от времени в знак утешения лизал стариковы руки.

Прибавлялось хлопот и у Зои Павловны. Она ухаживала за стариком, как за взрослым дитятей, и разговаривала с ним, как с малым ребёнком. То и дело мерила давление, ставила термометр, потчевала пилюлями, щупала пульс и ласково упрекала:

— И что же вы, Егор Фомич, расквасились так? Посмотрите, как хо-

рошо у вас! И за окном весна уже. Вышли бы, погуляли. Послушали бы, как птички весело поют. А вы совсем скисли. И как мне с вами быть?..

Старик не отвечал. Лишь однажды вырвалось у него:

— Домой хочу. К себе в деревню.

И глаза его повлажнели.

— В деревню? — изумилась она и замерла с полотенцем в руках. — Это какая же вам деревня? Вы что, Егор Фомич? Вот тоже выдумали. Нина Егоровна сказывала, её, деревни-то вашей, лет сорок как нет. Одна пустошь осталась.

Но старик, кажется, не верил ей.

Помрачения всё чаще находили на него и к ним скоро привыкли. Он и сам, кажется, привык. И Чапек привык, перестал проявлять беспокойство.

Всё шло по обычному распорядку: сон, еда, приём лекарств, прогулки, редкие теперь. И снова сон.

Но однажды пошло не так.

19

Даже простая травинка предчувствует свою гибель. Трепещет и волнуется, слышав близкий посвист косы или треск степного пала.

Егор Фомич тоже, видимо, что-то чувствовал. Но не трепетал, был задумчиво-тосклив и покоен. Он словно бы прислушивался к смутным томлениям внутри себя.

В последний день масленичной недели, на Прощёное воскресенье, Егор Фомич, к изумлению Зои Павловны, позавтракал особенно плотно. Даже пирог с яблоками попросил к чаю.

Покормил Чапа. Неторопливо оделся и вместе со шпичем вышел во двор. Был десятый час утра, солнце уже поднялось выше зданий. Железная крыша пансионата, хотя давно и освободилась от снега, однако взмокла от настывшей влаги, засочилась и роняла скупую капель.

Воздух был свеж и ядрён, как это бывает в преддверии близкой весны. Дышалось легко и свободно.

Чап, задрав морду, посмотрел на атласно сверкающее небо, попробовал языком корочку морозного наста и зачуял запахи скорого тепла. Его зачуяли и синицы, шныряющие среди рябиновых веток, своими весёлыми посвистами пробуящие поторопить весенний приход.

В тёплых белых бурках, в старомодном пальто из превосходного драпа с воротом серебристого каракуля Егор Фомич выглядел даже несколько молодцевато. Он глубже нахлобучил шапку-пирожок, тоже из серебристого каракуля, и решительно двинулся аллейкой к воротам.

Привратник, грузный пожилой мужчина с добрым рябоватым лицом, в окно будки приветливо кивнул ему, как старому знакомцу. Но его приветствия Егор Фомич не заметил. Прошёл, высоко подняв голову и приняв независимый вид.

Чап, бежавший впереди, нырнул за чугунную решётку скверика в нетронутый снег. Здесь он был рыхл и крахмалисто рассыпчат. Пёс лизнул его, обжёг холодом язык и недовольно чихнул.

Прежде чем перейти перекрёсток, старик взял шпича на руки, сунул под пальто за пазуху и двинулся к остановке трамвая.

Город ещё нежился по случаю выходного дня, улицы были пусты. Лишь дворники в больших коробах свозили мусор к площадкам с бытовыми отходами да на люках тепломагистралей грелись городские дворняги.

Они доехали до железнодорожного вокзала. Егор Фомич вытащил из нутряного кармана пиджака сильно потёртый бумажник крокодиловой кожи, давний подарок весёлого кубинского агрария, приезжавшего по обмену опытом, купил билет до разъезда «Кучуевский». Не прошло и получаса, как они с Чапом качались в скрипучем вагоне полупустой электрички.

Внешне Егор Фомич выглядел спокойно, лишь глаза, подёрнутые болотной наволочью, да лихорадочной румянец на заострившихся скулах свидетельствовали о его нездоровом возбуждении.

Физически он чувствовал себя даже крепче, чем вчера, но, кажется, не совсем понимал, что с ним происходит. Непонятная сила властно управляла его рассудком и старик охотно подчинялся ей.

Сильно стучало в висках. И эти стуки самым удивительным образом слаживались с металлическим перестуком вагонных колес.

Через полтора часа они сошли на полустанке с единственным зданием дежурки старинной постройки, да ещё с шестигранной башенкой такой же кирпичной кладки и тоже, должно быть, построенной ещё во времена туманных хивинских походов.

Глаза Егора Фомича как-то прояснели. Сладкая дрожь пробежала по телу. Он стоял и радостно осматривался.

Затем взял шпича и опять спрятал под пальто. Чапу сделалось скучно и жарко от горячего нутряного тепла хозяина. Он высунул мордочку, с удивлением озирая незнакомые места. Было непривычно видеть белую заснеженную пустыню на много вёрст вокруг. Один снег сверкал во все стороны да стальная лента железной дороги вдоль голой лесополосы убегала за белый увал.

Старик говорил, что им нужно в Помелено. Это недалеко, восемь километров обычной полевой дороги. Но никакой дороги не было. Чернели две глубокие колеи, припорошенные свежим снежным пухом. По всему, как-то в тёплый день здесь проехали на колёсном тракторе с тележкой. колёса спрессовали колею так, что она превратилась в ледяной лубок.

Вот этой колеёй и потащились за студёно синеющий горизонт. На полевом просторе было заметно свежее, нежели в городе, и снежок морозно похрустывал под ногами Егора Фомича. Старик тяжело дышал

приоткрытым ртом, жадно хватая воздух. Тёплый пар с силой вырывался из его хрипящей груди.

Он быстро взмок и остановился передохнуть. Осмотрелся, затем снова пошёл.

Шёл и сквозь шумное дыхание говорил Чапу:

— Мальцами коней гоняли сюда, — и рукой указал в сторону лошадки с жиденьким раkitником. — Серёжка Хруньков с нами был. Большой уже парень, не то, что мы, козявки. Вздумал молоденького жеребчика к верхам приучить. А жеребчик-то был норовистым, возьми да сбрось Серёжку прямо себе под копыта. Ногу ему и переломил... Да-а, перед самой войной было дело. Не взяли Серёжку на фронт. Куда его со сломанной ногой? Так и просидел в счетоводах, пока с круга не спился.

Чап слушал хозяина, легонько шурился от встречного света и слегка тревожился. Куда тащатся? Зачем?

Снежные всхолмления по-прежнему до самого горизонта следовали чередой. И никаких признаков живой жизни вокруг. Лишь однажды след зайца, наверное, последнего в этих краях, пересёк их путь. В другом месте мелькнула мелкая мышинная строчка, оборванная отпечатками распластанных птичьих крыльев. Должно, ворона подкараулила полевую мышь.

А дальше опять ничего.

Старик всё больше уставал, чаще останавливался, переводя дух. Топтался, хлопая глазами, и снова упрямо шёл, хрустя морозной извёстью. Из-под его шапки выступил пар, лоб покрыла испарина.

Чапу надоело томиться под пальто. Он заворочался, с силой упёрся в грудь хозяина и тоненько заскулил, просясь наземь.

Егору Фомичу и самому, видимо, надоело его тащить и он опустил Чапа на снег.

— Скоро, скоро будем в Помелено, — утешал он пса. — Километра четыре осталось... Мать блинов напечёт. Вот уж наедемся из печки с пылу-то!..

Поднялись на холм. Но никакого Помелено не было. Во все концы лежал всё тот же снег. А ещё внизу узкой полосой вразброс тянулись уродливые деревца одичавших яблонь, старых слив, черёмух вперемешку с кустами калины и бузины. Эта полоса убегала к пологому темнеющему лесу, хмурой стеной вставшего на пути безлюдного пространства.

Перед лесом на отлогом возвышении в окружении нескольких уродливых сосен кособоко торчали сгнившие кресты брошенного кладбища.

Егор Фомич удивлённо остановился и долго стоял, ничего не понимая. В какой-то миг искра трезвого осмысления мелькнула в его глазах. Сухое, гладко выбритое лицо старика, ещё недавно пылавшее морозным румянцем, болезненно сморщилось и сделалось плаксивым. Он долго топтался, вытягивал шею и беспомощно хлопал глазами. За-

тем стал спускаться всё той же колеёй между голых деревьев, обозначивших не иначе как прежнюю деревенскую улицу.

Тракторный след вывел их на широко накатанную дорогу, вывернувшуюся из леса. Она огибала кладбищенский холм и вдоль ровной лесополосы уходила в степь.

Егор Фомич, прерывисто дыша, снежной целиной двинулся к кладбищу. Чап, утопая в снегу, с трудом прыгал следом. Как и старику, ему казалось, что идут они не сами. А некто всеильный и всесущий властно гонит перед собой, горячо дыша в затылок.

Ухая в сугробах, старик обошёл кресты с уцелевшими надписями, ещё не стёртыми временем, и, не отыскав нужного, обессиленно опустился на твёрдый заснеженный бугорок, сгорбился и заплакал. Свинцовая сухость появилась во рту.

Чап смотрел на него с удивлением и жалостью. Захотелось утешить старика, он ловко подпрыгнул и лизнул Егора Фомича в подбородок.

Хозяин остался равнодушен к его горячему прикосновению. Он вообще, кажется, мало что чувствовал, угрюмо пыхтел, как будто драл корни векового дерева.

Через минуту старик затих и присмирел, уставившись в одну точку, в которой было сосредоточено всё, чем жил эти дни, всё навеки близкое, родное и желанное, с чем никак невозможно расстаться. И оттого, что он нашёл эту точку, ему стало легко и радостно. Даже грудь зашлась теплом и в голове проступила звенящая ясность. Казалось, что он вернулся в детство. Босой, в одной ситцевой рубашке с распахнутым воротом, играет с ребятами в лапту на мокром, ещё не набравшем весеннего тепла лугу. Разгорячённые, вихрастые, не знающие устали, они с мальчишеским задором и взвизгами носятся врассыпную, уклоняясь от мокрого тряпичного мяча. Им радостно оттого, что мяч, просвистав в воздухе и не задев никого, с сочным чмоканьем шлёпается в студёную лужу.

И этому азартному гаму, весело оглашающему деревенскую окрестность, рады даже выползшие на солнечный припёк древние деревенские старухи. Они беззубо улыбаются и со своих завалинок изпод руки глядят на их ребячью забаву.

Лицо Егора Фомича просветлело и подобие улыбки появилось на его обескровленных губах.

И снова в дремлющем мозгу старика последовал щелчок, подобно электрическому разряду. И лучик света выхватил из далёких потёмков будний майский день, полыхнувший ярким солнцем и первой сочной зеленью. Пар потёк от земли, с тёплым дрожанием поднимаясь над свежей пашней. Он сидит в душной кабине колёсного трактора. И сквозь ровный шум мотора в открытое заднее оконце слышит металлическое пощёлкивание высевающего автомата о кулачки мерной проволоки. А далёко позади на зелёной меже видит свою Дусю, милую и светлую, молодо расцветшую, словно черёмуха на их деревенском лугу. Она

стоит, застывши в немом напряжении девичьего гибкого тела, и тоже смотрит ему вслед. Прилив горячей нежности переполняет его сердце. И кажется, будь у него силы богатырской необъятности, он и землю бы радостно обнял. И весеннюю солнечную высь обнял бы тоже!..

Тепло лёгкой дрожи пробежало по телу старика. Но Егор Фомич не почувствовал этого. Бесперывный звон стоял в его ушах, будто забытый школьный колокольчик трезвонил перед самым ухом. И свет начал медленно гаснуть в глазах.

Он перестал видеть предметы. Зато увидел себя в пустой холодной избе с множеством окон. С ужасом наблюдал, как медленно меркнут эти окна. Смутная догадка мелькнула искрой: темнеют не окна, а его сознание.

Чап сидел против хозяина, плотно сложив передние лапки, и преданными глазами смотрел в его неподвижное лицо.

Неизвестно, сколько прошло времени. Уже снежная лунка под Егором Фомичом начала твердеть, солнце стало скатываться за лесополосу, а он всё ещё сидел в своём безвольном помрачении, ничего не ведая, ни о чём не думая. Его члены становились чужими и непослушными.

Чапу надоело торчать перед хозяином, захотелось согреться. Он принялся бегать вокруг Егора Фомича, игриво хватая за рукава пальто, за каракулевый ворот, пытаясь расшевелить его.

Заслышав рокот трактора, вывернувшегося из-под лесного навеса, Чап изумлённо остановился и принялся неистово лаять.

Трактор был с тележкой. В ней сидели калиновские мужики, работающие на санитарной рубке леса. За тракториста был молодой буслаистый парень Васька Сименков по прозвищу Монгол. Про Ваську говорили, что ему бы ещё халат, островерхую шапку, отороченную мехом да сапоги с загнутыми носами, тогда уж, точно, не отличили бы от монгола.

Невысокий, плосколицый, копчёный, как лещ, глаза осокой прорезаны. Вот такой он, Васька. Кто не знал его, думали, желтухой болеет. А у него с самого рождения эта «желтуха».

Васька первым увидел Дятлова и удивился, что за хреновина такая? Утром ехал, никого не было, а тут человек на могильном взгорке! И собачка бежит, как шальная.

И у Васьки мелькнуло: «Дело к ночи, замёрзнуть может».

Он остановил трактор, крикнул мужикам, они прыгнули с тележки, подошли к странному человеку. Перед ними был незнакомый старик, чисто одетый, живой и вроде как невменяемый. Его спрашивают, он молчит.

Собачка бежит вокруг, заливаясь по-дурному, а хозяин, точно пень с глазами.

— Живой? — спросил Монгол, выпрыгнув из трактора.

— Живой, — ответили мужики. — Только застыл, не мычит, не телится.

— Давайте его в кабину ко мне, — распорядился Васька и натянул варежки с голицами, чтобы собачку схватить.

Она увёртывалась, визжала и в руки не давалась. Васька изловчился, схватил её за заднюю лапу и понёс к трактору.

Мужики, тем временем, взяли старика под руки, дотащили и втолкнули в кабину, на сиденье рядом с трактористом.

— Слышь, дедок? Ты откуда? Чего молчишь-то? Разведчик, что ль? — несмешливо допытывался Васька. — А может, гуманоид? С летающей тарелки?

Старик не отвечал, лишь бессмысленно водил глазами.

— Ну, ладно, — сказал Васька. — Не хочешь, не говори, Потом разберёмся. Вот доставим тебя в контору к волостному командиру. Пусть сам с тобой и разбирается. А нам это, как до Луны.

Чап забился к старику под ноги и дрожал, испуганно притихнув.

В Калиновке, в самом центре села, у крыльца большого одноэтажного здания конторы старика сняли с трактора, опять подхватили гурьбой, доставили в кабинет сельского головы Слизункова, усадили на табурет в уголке. Собачку Васька бросил возле порога, она тотчас шмыгнула под стул к старику и спряталась за его бурками.

Хозяина волости на месте не оказалась, рабочее время истекло. И вообще никого не оказалось. Отдывалась за всех одна уборщица бабка Надя Агапова, сухонькая старушка в старом цигейковом жакете, какими в своё время сельпо отоваривало передовиков колхозного производства по специальной председательской записке.

Мужики для приличия покрутились немного и быстренько утекли по домам. Остались только Сименков с уборщицей.

— Вот, — сказал Монгол, — находка-то, бабка Надя, готовый жених тебе. Только не шевелится ни хрена.

— Это где же вы взяли такого? — удивилась уборщица, всматриваясь в лицо незнакомца.

— Где, где? — засмеялся Монгол. — В самом подходящем для него месте. На бывшем помеленском кладбище. Едем, а он сидит, как дятел. Хорошо, что живым застали. Ещё немного — и очурился бы. А так ничего, глазами хлопает, только языком не ворочает. И с мозгами не того. Зато собачка у него мировая, не отстаёт и в руки не даётся, курва!

Незнакомец сидел, не шевелясь. Бабка Надя и с одной стороны заходила, и с другой, разглядывая его. Сухое, в глубоких старческих бороздах, лицо старухи дрогнуло и удивлённо вытянулось. Она вдруг ахнула, всплеснула руками и вскричала:

— Ба, ба! Батюшки мои! Да это же Егорка Дятлов!

— Какой ещё Егорка? — удивился Монгол, изумлённо глядя на старуху.

— Да ты не должен помнить его, молодой ещё, — оживилась бабка Надя, наклонившись к самому лицу Егора Фомича и продолжая в

упор разглядывать его. — Из города он. Наш, помеленский, большим начальником был.

— Ё-мое! Пограничник Карацупа куда притопал! — засмеялся Монгол.

— Егор, ты чего это удумал, лихоманка тебя заберит? Ты что ж, и меня не узнал, что ль? Вот те на! — дивилась бабка Надя, шлёпая себя руками по бёдрам. — Как на вечёрках припевки петь, так вместе, а жентиться на Дуське.

И сказано это было весело, без укора, с одним желанием расшевелить старика.

Егор Фомич бессмысленно таращил глаза и сидел, безвольно привалившись головой к стене. Собачка всё подмечала, с интересом выглядывая из-за его ног.

Бабка Надя взяла в свои руки холодные кисти Егора Фомича, почувствовала их тающий холод, испуганно принялась растирать. А сама всё смотрела в лицо старика и жалостливо приговаривала:

— Да что же это с тобой подеялось, а? Это кто же тебя надоумил на помеленские пепелища прибыть? Ты чего, ополоумел, что ль? В гости к покойникам собрался? Вот беда-то, — охала она, крутясь возле Дятлова, — и меня не узнаёт!

Она вскинула глаза на Монгола, враслопырку торчавшего среди помещения, и начала рассказывать со слезой в голосе:

— Господи, жалость-то! Ты посмотри, что делает старость! А ведь какой орёл был! Всею областью заворачивал. Это ведь с его указания наше Помелено в прах превратили. А теперь вот сам — живой прах. Надо же, совсем потерялся человек! Слышала, будто на пенсию ушёл, будто в казённый дом отдали. А вот что из ума выжил, этого не слышала. А он, гляди, сам на кладбище притащился. И меня не узнаёт... Вот ведь как бывает.

— Это, как жёлудь, баб Надь, — сразу подхватил Монгол, которому лишь бы побалагурить, — не знаешь, какая свинья тебя сожрёт. И пожаловаться некому. Одни дубы кругом.

И зашёлся в дурашливом блеющем смехе.

— Нет, ты что, Егор, леший такой, никак признавать меня не хочешь? — не унималась бабка Надя. — Слышь ты, Надька Агапова я. Помнишь, с твоей Дуськой проволоку-то на поле таскали? Вот до чего доработались! Ты-то вон, смотрю, как барин, одет! Видно, хорошо живёшь. А тут внучат чёртова прорва. И все на моей шее. Вот и кручусь, дочке помогаю... У тебя-то пенсия, небось, как у министра?.. А тут скребёшь, скребёшь по карманам, раскроешь горсть, а в ней пшик один... И что нам делать с тобой? Небось, обыскались теперь. — И пожаловалась Монголу: — Ничего не понимает. Видно, и, правда, не в своей тарелке. Видно, запичужили его ни в какой не в санаторий, а в жёлтый дом. Разное наши тут болтали. Думала, врут. Вот ведь как!

Работал на государство, сам казённый человек и помирать определили в казённый дом.

— Это уж как водится, бабка Надя, — хохотнул Монгол, — что потопал, то и полопал.

— Будя тебе изгаляться-то, идол такой! — обиделась старуха. — Ему дело говоришь, а он свои подскрылочки...

Егор Фомич сидел с полуоткрытым ртом, соловый, безразлично водил глазами и не мог ничего уразуметь.

Бабка Надя потопталась, повздыхала и предложила Монголу:

— Делать нечего, Вася, вишь, не в себе человек. Давай-ка ко мне в избу тащить. Не дай бог, помрёт. Греха не оберёшься. На нас с тобой и повиснет... И в город надо звонить.

Подхватили Егора Фомича и мимо тарахтящего трактора, словно бесчувственный куль, поволокли через улицу на противоположный порядок к дому с дощатым забором, перекатанному высоким снегом.

Собачка побежала следом. Бабка Надя и её впустила в избу.

На следующий день за Дятловым приехали на машине «скорой помощи». Приехала хожалка Зоя Павловна и какой-то чужой человек. Сама Нина Егоровна не приехала, были дела у неё.

Егор Фомич так и не пришёл в себя и выглядел совсем безнадёжно.

Пока его грузили, бабка Надя ходила вокруг, не переставая охать и сокрушаться: не признал её Егор.

Отвезли старика в городскую больницу. Чапу не позволили войти за хозяином, он остался на крыльце. Здесь и дрожал, сидя в углу. Его гнали сторожа, нянечки, дворники, он убегал и возвращался обратно. И чувствовал себя таким несчастным, что потерял всякий аппетит, осторожность и привычное собачье благоразумие. Сварливая уборщица, кургузая женщина с дряблым испитым лицом, толкала ему шваброй под ноги, он жалобно скулил, ещё плотнее забиваясь в угол. Его сбрасывали с крыльца, гнали прочь, он терпеливо сносил угнетения от своих притеснителей и не убегал с больничного двора. Ждал, вот выйдет хозяин, возьмёт его на руки, запрячет под пальто, и они пойдут с ним в свою тёплую, чисто прибранную комнату с окошками во двор, где гуляют одичавшие коты и снегири прилетают на рябину.

Однажды увидел старикову дочку с человеком, который приезжал с ней в пансионат, и обрадовался, приветливо завиляв хвостом и кинувшись навстречу.

Но старикова дочка, хмурая, с серыми ледяными глазами, в чёрном платке, проходя мимо, проворным движением ноги откинула его в сторону и бросила на ходу своему элегантному спутнику:

— Вот привязался, гадёныш, живёт и не уходит.

Чап сдавленно пискнул и растерянно посмотрел вслед. Старикова дочка оглянулась и с досадой прикрикнула:

— Ну, чего сидишь? Нет его больше!..

— Успокойся, пусть сидит, — равнодушно посоветовал её спутник. — Жрать захочет, сам уйдёт.

Так оно и вышло. Голод привёл Чапа на ближний рынок. Здесь и обретался, пока компания Джека не увлекла его за собой.

20

Чужаков они не терпели на своей территории. А то, что она принадлежит только им, в этом не было сомнений даже у окрестных собак.

Всё, что лежало за её пределами, было уже чужое, враждебное по отношению к ним. То был другой пустырь, необъятно огромный, совсем не похожий на их обжитые зелёные заросли. Тот пустырь был каменным, шумным и злобным. Он жил особой человеческой жизнью, чуждыми для них страстями и заботами. Даже горести там были иные, однако, не менее суровые и печальные, чем здесь.

Если они и посещали пустырь, заселённый людьми, то вынужденно, чтобы прокормиться и утолить жажду. В том мире им виделось мало уюта, утешения и радостей для простых живых сердец. Зато грубое хамство выставляло себя напоказ, застенчивая бедность жалась по углам, наглая роскошь пёрла во все глаза.

Они любили только этот зелёный пустырь, история которого для них началась с тех пор, как здесь поселились. Всё, что было до них, терялась в мраке неизвестности. Откуда им было знать, что всего-то лет пятнадцать тому назад здесь кипела совершенно другая жизнь? На чистых полудеревенских улочках стояли деревянные домики с палисадами, с журавцами колодцев, с банями во дворах, топившимися по-чёрному. Обитатели этого городского закоулка были премного довольны своими владениями и лучшей доли себе не желали.

Но однажды в их жизнь ворвались решительные перемены и всё пришло в движение. По распоряжению бывшего главы города Олега Николаевича Свистушкина владельцев здешней городской недвижимости решили переселить в благоустроенные многоквартирные коробки, а частные домишки, чтобы долго не возиться с ними, не мучить технику, подвергнуть огню.

Двое суток пылал бывший частный массив. Сухие постройки горели так пылко, что видно было из космоса.

Остатки пожарищ растащили бульдозерами, сравнивали с землей, подготовили площадь под важный объект социально-культурного назначения — под детский парк. И тут выяснилось, что погорячились с парком. Денег на него не только на текущий, но и бюджетом следующего года не предусмотрено.

Тогда решено было считать пустое место рекреационной зоной.

Время было весёлое, политически активное. Страны НАТО и вообще доброжелательные силы мира со всех ног бросились горячо опекать незрелые реформаторские умы и приручать к себе скороспе-

лую российскую демократию. И вот какой-то общественный экологический комитет, заседавший в Женеве, заинтересовался, что это там за гигантский огонь несколько дней бушевал в российском глубинном городе, каких бед натворили эти непредсказуемые люди, весь космос закоптили? Городские чиновники, хотя обомлели от столь неожиданного интереса, слегка затрепетав (как же, само международное сообщество запросило отчёта!), но, собравшись с мыслями, быстренько сострепали хитроумную бумагу; так и так, мол, пламя было полезным для природоохранного дела и проведено с целью очищения атмосферы от вредоносных частиц прежнего тоталитарного режима. И было указано в отчёте, что работами руководил непосредственно главный демократ города господин Свистушкин.

Для особой убедительности к отчёту была присовокуплена некая сумма, разумеется, в валюте, якобы в качестве пожертвования от благодарных горожан.

Результат не замедлил сказаться. Комитет наградил господина Свистушкина бриллиантовой висюлькой с присвоением ему звания «Человек, определяющий лицо планеты». И весь город долго гадал, что же это за матёрый такой человечиче обретается среди них, сирых? Уж не сам ли потрясатель Вселенной Александр Македонский из праха воссиял? Уж не новый ли Наполеон воссел на их мэрский престол? А может, сталинский гений воплотился в образе господина Свистушкина? Звание-то, звание-то какое! Надо же, человек целое лицо планеты определил!.. И ведь не подумаешь о нём ничего такого. И росточка небольшого, всего-то метр с кепкой, но да, расторопен, ухватист. Тут другого и не скажешь.

Опять же, биографию посмотреть, тоже ничего особенного. Обычный представитель демократической формации. Вчерашний верный ленинец, секретарь райкома партии, рос в скромной семье советских служащих, с пионерских лет забавлял взрослых пиликаньем на скрипке. Революционные песни пел. Да, и теперь мурлыкает в минуту сытого благодушия: «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!..». И на тебе, так взлететь! Вот ведь какие перевоплощения проделывает с людьми всемирная демократия!

Но и многие горожане лыком не были шиты, тоже кое-что понимали. Иные сразу прикинули, кто и что может нынче по-настоящему определять лицо планеты. И угадали довольно правильно: ну, конечно же, деньги, а вернее — валюта! Особенно американская, долларова зелёная стружка. И потому, встречаясь на улицах и в транспорте, обсуждая столь нешуточное для города событие, задавали один и тот же вопрос: «Что же это он пожадничал? Мог бы и человеком, определяющим лицо Вселенной, стать». И сокрушённо качали головами: «До чего мозги в нас перевернулись! Совсем, как папуасы, стали! За любую погрешку соболями готовы платить. Вон, газовик Скоропудов

мальтийский крест себе купил. Рыцарем, видишь ли, стал, совсем, как Павел Первый».

Свистушкина, между тем, с той бриллиантовой висюльки и понесло. В гору попёр человек. О нём прослышали в Москве, взяли в само правительство, определять теперь лицо уже одной России.

Но деяния Свистушкина в городе не заглохли, новыми делами приросли. Нашлись искусные последователи, торговлю земельными участками повели с невиданным размахом. А поскольку свободной земли уже при Свистушкине не осталось, объявились в городе неуловимые поджигатели частных владений. И пошли полыхать вековой давности жилые строения, а на их пепелищах стеклобетонные высотки стали подниматься выше Эйфелевой башни.

Да что там говорить о частных домиках! Если сам генерал, блюдуший городской правопорядок, огненную купель целого ведомственного здания проворонил. За что и был вознагражден очередным генеральским чином.

Над пустырьём, между тем, с двух сторон с бетонной унылостью высотки новых жилых кварталов выросли. Ещё с одной стороны летняя автостоянка сеткой «рабица» себя обнесла. По соседству шло строительство подземных гаражей.

С запада пустырь вплотную примыкал к оживлённой уличной магистрали с её бесконечным транспортным гулом. Правда, он быстро терялся, запутавшись в кустах кленовых чащоб, густых кустарников и высоких бурьянных трав. В тенистом собачьем убежище его совсем не было слышно. Лишь лёгкое сотрясение почвы под тяжестью многотонных машин указывало на то, что магистраль совсем рядом.

Весной среди сочной листвы деревьев со всех концов звенели беззаботные птичьи голоса, в траве турлыкали сверчки, над цветами порхали стрекозы, мохнатые шмели, городские пчёлы и нарядные бабочки. Горько пахло сизой полынью, дурманящим болиголовом и неизвестно как забредшим сюда подмаренником.

Ясной ночью в лунном свете пустырь приобретал совершенно новые тона и краски, от него веяло волшебством и таинственностью. Голубоватые тени деревьев в иных местах были такими густыми, что, казалось, сквозь них и пройти невозможно. В других местах, напротив, они расплзались в мягкие размытые узоры, сотканые из света и пуха. И выглядели так натурально, что их можно было не просто потрогать, но и взять в руки.

Луна и чётче, и контрастнее обнажала то, что ещё недавно терялось в рассеянном свете полуденного солнца. Мириады крохотных ночных существ из нор и расщелин выползали понежиться на лунную дорожку. И всё вокруг начинало ползать, прыгать, бегать и журчать.

Одно время пустырь охотно посещали заботливые бабушки с внуками, а также молодые мамы с детьми. Но это было до того, как в горо-

де произошёл ужасный случай — жуткое убийство девочки-подростка именно здесь, среди этого пустыря. В народе распространились слухи о появлении серийного насильника-маньяка, подкарауливающего свои жертвы в зелёном хаосе одичавших чащоб.

Власти занервничали. Последовало незамедлительное указание городскому «Зеленхозу» предпринять вырубку деревьев и придать пустырю надлежащий культурный облик. Но, опять же, как это бывает у нас, дальше добрых намерений дело мало продвинулось. Кое-что, конечно, предприняли. Избирательно вырубili несколько самых крупных лесин, даже вывезли их, на этом работы и завершились. Сучки и хворост свалили в одну большую кучу, а вывезти забыли.

Оно было бы жаль, если бы полностью вырубili зелёный массив. Он оставался, пожалуй, единственным утешительным уголком городского бетонно-каменного пейзажа и напоминал о первобытной земной красе, о буйстве девственной природы, некогда процветающей в этих местах.

На пустырь время от времени заглядывали бомжи, в дни зарплат наведывались мужики с ближней стройки. Но это было крайне редко.

Гораздо чаще наведывался главный собачий истребитель города господин Хлюстов по прозвищу Живодёр, низенький крепыш с круглой головой и злыми глазами испуганного кролика. Приезжал он на машине-душегубке с крытым кузовом, ставил её в прогал между деревьев и начинал азартную охоту.

С недавних пор, а точнее, с того времени, как господин Хлюстов стал предпринимателем, открыв мастерскую по пошиву мужских шапок и унтов из собачьего меха и шкур, его рейды приобрели характер регулярной основательности. Иногда он был один, иногда брал помощника с автостоянки, молодого зевластого мужика.

Про Хлюстова болтали, будто он не только шьёт унты, но и на собачьем мясе делает бизнес. Под видом баранины тушки наиболее упитанных животных возит своему приятелю — шашлычнику Ашоту Галустяну на трассу «Москва — Абакан». И оба имеют на этом немалый навар.

В глазах маленькой стаи Хлюстов выглядел отъявленным злодеем, хотя на самом деле, наверное, таковым и не был. Просто человек возжелал иметь много денег. Но ведь не одного Хлюстова сжигает огонь наживы? Отчего же в таком случае других не считать злодеями?

Когда-то давно на полянке среди пустыря связисты бросили бобину из-под телефонного кабеля. Бомжи поставили её на попа, получился стол, вполне удобный для выпивок и перекуса. Им пользовались не только бомжи, но и рабочие с ближней стройки, и даже птицы, прилетавшие поклевать забытых крошек.

В минуты редких удач компания Джека тоже была не прочь провести время возле этого столика.

Их ночные пиры и собачьи спевки обычно приходились на пору

массового забоя скота на подворьях селян. Мясо крестьяне продавали, в основном, на городских мини-рынках, поскольку крупные давно оседлали неистребимое племя спекулянтов, стыдливо именуемых перепродавцами. Вот они-то и преграждали дорогу деревенскому люду.

Самой способной по части воровства в стае была, конечно же, Клуня. А ещё — юркий Чап. Он, как вода, протекал сквозь любую толпу и частокол человеческих ног. И не было случая, чтобы Чап возвратился без добычи.

Джеку, как и всякому уважающему своё достоинство кобелю, тоже было в удовольствие стянуть с прилавка кусок-другой мяса у какой-нибудь зазевавшейся торговки. Но его рыночные налёты редко обходились без шума и погонь. Он был слишком крупной собакой для тихого воровского промысла.

После каждой удачной охоты стая собиралась возле столика-бобины на свои собачьи пиры. Особенно славно было в ясные лунные ночи, когда, казалось, сама природа располагала к добру и умиротворению.

Охмелев от тёплой сытости, стая усаживалась в кружок, задирала морды на луну и заводила песню — древнюю, как сама звериная судьба. Голоса, вначале нестройные, постепенно слаживались, сливаясь в один жуткий высоко летящий звук. И само существо их пронзала одна щемящая нота, полная тоски и жалости к себе, к своему горестному звериному сиротству, к вольным просторам, навсегда отнятым у них человеком. И сам подлунный мир, трава и насекомые, внимая им, трепетали от сострадания к себе, к своей общей судьбе и доле. Даже Луна, белая и нежная, потакая им, с неживой скорбью изливала на Землю потоки высокого света.

Их ночное пение, если и кому и досаждало, то опять же людям, и, в первую очередь, Сагадже Кучум.

Окно её спальни выходило на пустырь, и с округлого балкончика, прилепившегося к зданию, как горное орлиное гнездо, она могла обозревать и саму полянку внутри пустыря, и пирующих на ней собак.

В лёгком ночном халатике Сагаджа выплывала из своих тёмных покоев, сонно щурила раскосые глаза и, вытягивая шею, словно птица, изготовившаяся клонуть, сонным злым голосом кричала в хрустальную пустоту ночи:

— Вы когда-нибудь уймётесь, сволочи такие?! Ишь, устроили собачью свадьбу! Тоску наводите. Вот, вызову милицию и разгонят весь ваш пикник. Слышишь, Клуня, я ведь знаю, что и ты там! Довоешься у меня, паскуда, пристрелят тебя, как бешеную псину.

Вместе с хозяйкой из каменных потёмок выплывало ещё одно странное существо, бесформенное и текучее, словно воздушное желе. Оно обволакивало не только Сагаджу, но и полностью заполняло собой сумеречное пространство балкона. А над этой мрачной тенью метался, не зная покоя, крохотный светлый голубок.

Бывший хозяин Грея, адвокат Цимбал, это явление наверняка обозвал бы мудрёным словом «фантом», или человеческой аурой. Но они-то знали, что никакой это не фантом, а само зло вышло наружу.

Стая замолкала, с жалостью и сочувствием глядя на Клуню. А с ней начинало происходить что-то нервное. Она вдруг переставала беречь себя, носилась по поляне, высоко подсакивая и яростно взвизгивая. И никто не решался остановить её.

Случалось, с нижнего этажа высотки доносился ещё и голос пьяного мужика:

— Ты там, наверху, коза в торбасах, чего визжишь, как недорезанная?

— А чего они воют?

— Ну и хрен с ними! По мне уж лучше собачий вой, чем твой пороссячий визг. Все уши забило.

— А ты не слушай. Иди и проспись!.. Вот приедет милиция и приберут тебя, как миленького, пьяная мартышка.

— Я тебя приберу, тыква узкоглазая! Ещё грозит мне!.. Плевал я на твою милицию! Пока она приедет, я из тебя твои лосиные ноги повыдергаю. Ишь, распелась, что, собачатины захотела?

Пьяный сосед, должно, принимал Сагаджу за корейнку и полагал, что она питается мясом собак.

— Шакал пьяный! — взвизгивала Сагаджа, резко покидая балкон.

И тёмная тень спешно уходила следом.

Милиция приезжала, но редко. Зато Живодёр был тут как тут. Ставил свою душегубку при въезде на пустырь и, громко сопя, принимался за дело. С ловчей сетью через плечо, с охотничьим карабином под мышкой, он шнырял по всему пустырю, выискивая жертву. И обязательно находил, порой сразу несколько собак угождали в смертные узы его страшного ящика.

Попадали, в основном, молодые, неопытные собаки. Бывалые за ранее разбегались, укрываясь в непролазных дебрях.

Джек ещё до приезда Живодёра уводил свою команду в логово под валежник. Они молча томились в темноте, тесно прижавшись телами, и ждали, когда минует гроза. Их чуткий слух улавливал каждый мельчайший звук и шорох. Они слышали, как ходит Живодёр, топая и хрустя ветками, лезет сквозь чащобу, пыхтит и матерится.

Слышали и жалобный плач угодивших в Живодёрову сеть несчастных собратьев. И страдальчески вздыхали, закрывая глаза.

У Джека в ушах особенно долго стоял крик молодой помешанной самочки, у которой весной злые дети убили детёнышей. Обезумев от горя, она всё лето бродила одна, приносясь к чужим следам и жалобно плача. Её мучили голод и жажда, она ослабла, исхудала и запаршивела.

С отъездом Живодёра над пустырём устанавливалось гнетущее безмолвие. И такое щемление подкатывало к сердцу, что хотелось вый-

ти на дорогу и выть. В пространстве ночи ещё долго стыли отчаянные вопли несчастных жертв, полные мольбы и последнего прощания.

Раза два приезжали даже омовцы. Их лица скрывали чёрные маски, похожие на дамские колготки с прорезями для глаз. Рассеявшись по пустырю, они мелькали средь лунного света, как зелёные водоросли средь текущей воды.

Держа наизготовку автоматы и шаря по кустам, омовцы светили фонариками, громко чертыхались, натываясь на колючие ветки растений. Им и самим, кажется, было непонятно, кого они ищут. Вроде бы каких-то мохнатых террористов.

Облазив пустырь и примыкающую к нему зону, так ничего и не обнаружив, злые и недовольные, они собирались на полянке возле того же столика-бобины и, громко бранясь, обсуждали событие.

— И какая это хрень устроила тревогу?

— Дежурный по УВД поднял. Вроде бы знакомая баба наводку дала. Вроде бы террористов видела в лохматых одеждах... Сам знаешь, какое время. Каждый сигнал на учёте...

— Сама она лохматая! — отвечал резкий голос. — Вывернуть бы её наизнанку!.. Бешенством матки мучается, стерва, вот и не спится ей.

Сагаджи к тому времени уже не было на балконе.

21

Это високосное лето оказалось тяжёлым не только для собачьего сообщества, но, пожалуй, и для самих горожан. Мясо окончательно исчезло с мини-рынков. В народе винили в этом одного ничтожного правителя эпохи большого хапка, объявившего деревню «чёрной дырой». Вот в эту «чёрную дыру», считали, и выдуло всё.

На губернском рынке, под высокой остеклённой крышей, ещё можно было купить аргентинскую говядину. Но недёшево.

Торговали ею одни и те же дядьки с тётками, гладкие да упитанные, не деревенского обличья. Это и были перекупщики.

К их прилавкам было невозможно подступиться не только собакам, но и обычным горожанам с тощим кошельком.

Стая жила впроголодь. Лишь Клуне как-то удавалось держать себя в сытости. Думая о потомстве, она освоила проверенный способ профессионального попрошайничества, кормилась возле сверкающих супермаркетов и на многолюдных транспортных остановках.

Сядет в сторонку против намеченной жертвы и смотрит, не сморгнув, жалобно и кротко. Сердобольная женщина и отвернётся, и глазами увильнёт, сделает вид, что хмурится. Ну, разве можно спрятаться от собственной доброты и неловкости, если рядом голодное существо?

И вот добрая женщина уже лезет в авоську за угощением. Клуня, мелко перебирая лапками, вкрадчиво подойдёт, взмахнёт пушистой метёлкой хвоста и ласково уткнётся головой в мягкий женский живот.

Какое надо иметь сердце, чтобы отказать в подавании такому нежному, доверчивому существу?

Вот и удостоивалась Клуня то сытного пирожка с ливером, то кружочка колбаски, то кусочка сыра, а то и мраморной ветчины с полосками жира.

Она не могла не нравиться людям. Порой они сами тянулись к ней, невольно любясь этой красивой тонконогой собачкой с изящно вытянутой мордочкой и живыми, умными глазами. И горевали: такое умное животное и без хозяина!.. Но брать никто не торопился.

Иной раз Клуне удавалось кое-что принести в логово. Она не жадничала, делилась добычей с бедствующими собратьями. Однажды принесла целую тушку жареной курицы. Хотя курица была с неприятным душком, но всё равно понравилась.

Труднее стало с водой. Город застраивался новыми кварталами, с улиц исчезали водопроводные колонки. Самая ближняя оказалась возле автостоянки. Но водицу её можно было получить разве только после драки со сворой таких же бедолаг, крупных дворняжек, обретающихся на автостоянке. И ещё надо было смотреть, как бы не выскочил охранник с железкой, особенно молодой, с вечно незатухающим хмельным блеском в глазах, прыткий и зевластый. Завидев их, он выскакивал из будки, на ходу хватая стальной прут, и яростно гнался за ними.

В поисках воды приходилось рыскать не только по городу, но и бегать далеко в луга к обмелевшей за лето речушке. Утоляя жажду, лизали грязь на цветочных клумбах. Случалось, выручали уличные продавцы цветами, а ещё мокрый асфальт возле квасных бочек.

Стало не до сытых веселий и ночных спевков. Труднее всего приходилось коротконогому Чапу. Ему даже в мусорный контейнер было не запрыгнуть. Он довольствовался тем, что терялось внизу.

Однажды Чап удивил стаю: приволок дохлого кролика. Его тут же разодрали. Джеку сверх его доли досталась ещё голова с длинными ушами.

Как ни скромен был ужин изголодавшейся стаи, справили его на полянке возле полюбившегося столика.

Было это в последних числах мая, ровно за два дня до гибели Чапа.

Погиб он ранним утром, ещё до того, как людям идти на работу. Всё произошло в соседнем квартале на площадке для сбора мусора.

Знакомая дворничиха, седая бельмоглазая женщина, выудила из контейнера голову дикого гуся и бросила Чапу. Сама размотала резиновый шланг и пошла в скверик напротив поливать цветы.

Чап схватил желанную добычу, прилёг в тенёчке возле контейнера, зажал гусиную голову лапами и принялся драть с неё грязный слипшийся пух.

Голова пахла несвежим мясом, свинцом и порохом. Но Чап, голодный со вчерашнего дня, не замечал этого.

Не заметил он и проходившего мимо мужика в пижаме, в темно-зелёной велюровой шляпе и домашних шлёпанцах на босу ногу. Этот с виду солидный мужчина с бугорчатым жирным загривком держал на поводке собаку бойцовской породы. Она была серой, и своей острой мордой и гладкой шерстью напоминала огромную подвальную крысу. У неё и челюсть была вытянута, как у крысы, большая и зубастая.

Увидев бродячего пёсика, занятого едой, мужик остановился, презрительно хмыкнул и спустил собаку с поводка.

Она только этого и ждала. Моментально налетела на Чапа, в одно мгновение подмяла его под себя и придушила привычной бойцовской хваткой.

Чап только и успел трепыхнуться обломившимся телом и вскрикнуть резким предсмертным криком. Жизнь плеснулась в нём и хрустнула, как сломанная ветка.

Мужик постоял, довольный собой, посмотрел по сторонам, как бы призывая прохожих полюбоваться ловкостью его собаки, лениво похлопал ремешком по колену, взял пса на поводок и снисходительной походкой направился в дом напротив.

Предсмертный вскрик Чапа был жуток и страшен, кажется, сам воздух вздрогнул от его пронзительности.

Вздрогнул и Джек, узнавший в этом отчаянном крике призыв маленького друга, попавшего в беду, и сразу же бросился на помощь. За ним рванулись Грей с Клуней.

Когда они появились у контейнерной площадки, мужик заводил свою собаку в подъезд, а Чап лежал бездыханным.

В воздухе над площадкой витал смрадный удушливый сгусток. Клубилось зло, оставленное мужиком. Джек не только его почувствовал, но и увидел, как оно извивается, словно летучий гад, принимая причудливо-изворотливые формы.

Джеку хотелось прыгнуть, схватить этого летучего гада, немедленно порвать на куски, но зло само распалось и исчезло, растворившись в густых запахах городских помоек и машинного чада.

Вожак прорывал в бессильном отчаянии, с ненавистью посмотрел на подъезд, в котором скрылся мужик, подошел к мёртвому другу и, обнюхивая, склонился над ним. Чап лежал с поджатыми к брюху лапами. В его удивлённо распахнутых глазах, уже начавших стекленеть, ещё слабенько плескалось тепло только что отлетевшей жизни.

Язык шпица был намертво закусен, верхняя губа с налипшим гусиным пухом мелко вздёрнута, обнаживши розовые дёсны с частоколом белых зубов. Он, наверное, так и не понял, что умер, и как бы смеялся над собой и над этой своей непонятно случившейся смертью.

В скверике напротив охала дворничиха в оранжевой безрукавке, та самая, что угостила Чапа. Она не могла сдвинуться с места, трясла шлангом, испуганно причитала:

— Господи! Да что же это такое? Что же это подеялось с людьми? Что же за звери такие?..

Из железных мусорных баков, выкрашенных в зелёный цвет, густыми клубами выскакивали жирные смертные мухи. Злобно гудя, они кружили в воздухе и лепились на труп собаки. Жалость, словно острая клешня сдавила сердце Джека. Он только что видел Чапа рядом: радуясь восходу солнца, его неутомимый друг, полный здоровья и жизни, носился по росной поляне за ранней пёстрой бабочкой, высоко подпрыгивая, падал и кувыркался, путаясь в траве. Его ликование, казалось, не будет предела. И вот он лежит, неподвижный, бездыханный, с безвольно поджатыми лапками, холодея бесчувственным телом.

Джека охватила дикая ненависть к этому мужику в шляпе, к его собаке, к противному запаху смерти, к людям, не дающим им свободно жить. Хотелось запрокинуться в небо и выть долгим звериным воем. Он сдержал себя. Лишь тяжело наклонил голову, лизнул кровь на мордочке Чапа и побрёл прочь.

Клуня с Греем сделали то же самое.

Весь день они лежали в утробном молчании. Казалось, что и в логове у них прибавилось сумеречности и стало теснее. Тоска, навалившаяся на Джека, так и не оставляла его.

Клуня лежала рядом и без конца вздыхала. Грей с сердитой старательностью вылизывал свои лохматые лапы.

Где-то в глубине пустыря, наводя тоску, досадливо стрекотала со- рока. С магистрали временами доносились звуки санитарной сирены.

Под вечер Джек поднял стаю и молча повёл её к площадке с мёртвым Чапом. Они догадывались, зачем. Засели в тенёчке трансформаторной будки и стали ждать, наблюдая за подъездом со скамейкой под двумя обвисшими берёзами. На ней сидели, разговаривая, пожилые женщины.

Вскоре подъехала машина с этим мужиком в шляпе. Он был в белой рубашке навыпуск, держал под мышкой тугую кожаную сумочку. Джек пошевелил ноздрями и его охватило волнение.

Мужик вальяжно потянулся, неторопливо посмотрел на отделанные стеклопакетами окна своей квартиры, дал указания водителю, нахлобучил шляпу и направился к подъезду. Но не успел он сделать и двух шагов, как Джек косым наскоком с силой набросился на него, передними лапами повис на плечах и опрокинул на асфальт.

В ноздри ему ударил давешний запах зла. И это взбесило Джека. С утробным рычанием он принялся хватать живое увёртливое зло и не мог ухватить из-за фетровой шляпы, застревающей в его пасти. И всё-таки в какой-то момент одним клыком он полоснул по жирной складке мужицкой зашеины и почувствовал запах крови. Ноздри Джека затрепетали, раздулись от мстительной ярости, он продолжал хватать и хватать ненавистное ему тело.

Мужик орал, вертясь и молотя по асфальту ногами, выкручивался, пытаясь свалить с себя тяжело навалившегося пса.

Его крики слышали не успевшие отъехать водитель с охранником. Оба выскочили из машины и бросились на помощь. Шофёр бежал, держа в руке стальную отвёртку. Ему наперерез из сквера кинулась Клуня. Водитель оторопело остановился и принялся отмахиваться от внезапно вылетевшей собаки.

Охранник на бегу пытался выхватить из кармана маленький чёрный предмет. Но он не давался, цепляясь за подкладку грубой вязаной куртки. Мешал и Грей, непрерывно бросаясь охраннику под ноги.

Наконец охранник изловчился, достал свою штуку, в воздухе сухо щёлкнуло и сам охранник рухнул на дорогу, споткнувшись о спаниеля. Чёрный предмет вывалился из его руки, подпрыгнул, ударившись об асфальт, и отскочил в сторону. Грязно выругавшись, охранник на брюхе потянулся за ним.

Грей вскочил охраннику на спину, но, увидев, как вожак, отпустив свою жертву, метнулся за угол трансформаторной будки, тоже сиганул следом. Не отстала и Клуня.

Всё произошло в секунды. Они бежали, слыша вдогонку истеричный вопль незнакомой брюнетки с ярко окрашенным ртом. В ужасе она выронила сумочку и, стоя среди тротуара, громко вопила:

— Ужас, ужас какой! Что делают бродячие собаки! Людей заживо поедают!.. Вот она, демократия!.. Совсем распустились! Жри, кого хочешь!..

Яркие губы женщины, как две перезрелые ягоды, были налиты соком яростного возмущения.

Охранник с водителем наконец подняли хозяина, подобрали его шляпу, подхватили самого под руки, повели к «мерседесу», говоря, что надо немедленно ехать в травмпункт: собаки, должно, бешеные.

Мужик охал, припадая на одну ногу, матерился и грозил передуть подлых бродячих псов. По его изодранной рубашке во всю спину расплзлось кровавое пятно.

Со скамьи под берёзами высыпали женщины на тротуар, не понимая, что произошло, и бестолково спрашивая:

— Что стряслось? Стрелял кто-то... собаки, что ль, кого покусали?

— Да нашего соседа, этого вражину в шляпе из седьмой квартиры... Рыночную мафию, — отозвался насмешливо-торжествующий голос.

— Этого мордатого-то с его крысой?

— Его!

— Ему и надо! Ишь, шляпу напялил вроде путёвого! Да в нём самом зла на целых два козла!.. Утром какого-то кобелька насмерть застрелил своей крысой. Сама видела в окно.

— Сволочи! — донёсся убогий голос со скамьи. — Всю жизнь вывернули наизнанку. Посадили на свой воровской кулан! Вишь, демо-

крат он... Демократ на чужое! Спит и видит, как бы хапнуть чего да свою задницу в управленческое кресло усадить. И ведь как, милушки, быстро к воровству сподобными стали. Будто для этого и родились.

— Чему удивляться-то? Кто наглый, тот и впереди. Ныне одни воруют, другие ворованным управляют и тоже воруют. Эти скорохватки похлеще собак будут!.. Собака-то, она не злее своего хозяина!.. Порядочного человека-то ни один зверь не тронет. А эти сами волчьей шерстью обросли. И живут, как волки.

— Ходил махор махром, у мужиков всё курево стрелял. А теперь куда там! Золотым шитьём расцвёл. С охраной ездит... И кому нужен лоскут этот?

— Нужен, раз охрану завёл! Ты вот не ворует, тебе и бояться некого. А кто хапком живёт, как ему без охраны? Ворованное надо крепко охранять...

Джек с компанией, тем временем, были уже далеко. Возбуждённо дыша, они трусцой бежали след в след.

Вожак первым забрался в укрытие. Клуня с Греем полезли следом, легли рядом, унимая в себе дрожь.

Грею вспомнилось, как они с Чапом, рыская в поисках еды, встретили жука на голой земляной плешине, большого и чёрного, как горелая кость.

Чап тронул его лапой. Жук замер и перестал шевелить усами. Чап стал обнюхивать его: не съедобный ли? Ткнул пуговкой носа в блестящую спинку. Жук приподнял зад и пустил в Чапа едкую зелёную струю.

Чап взвизгнул, отскочил в сторону, принялся лапами оттирать глаза и нос. Затем долго терся мордой о траву.

Было смешно и забавно. Больше жуков трогать они не решались.

Вспомнив это, Грей горестно вздохнул и отвернулся к стене.

Клуню одолевала усталая дрёма. Её постоянно тревожило шевеления в животе под набухающими сосцами. Однажды с ней было уже такое. Она носила в себе щенят. Но не убереглась. Среди рыночной толчеи сапогом под живот её ударил прохожий. Была такая боль, что показались, выдирают глаза. Она завизжала, уползла в ближний кювет и пролежала там ночь. Под утро из неё вышли три детёныша, все мёртвые.

Это воспоминание вперемешку с думой о Чапе долго терзало её, не давая успокоиться. Наконец она завела глаза и коротко забылась в тревожном полусне-полуяви. В её дремлющем мозгу мелькали беспорядочные тени. Привиделось, будто они с Чапом унесли с прилавка курицу. Чапа догнали и стали бить. Людей было много и она не могла помочь. Слёзы бессилия душили её. Клуня потихоньку заскулила, но, очнувшись, тряхнула головой и успокоилась.

Джек с Греем слышали её жалобный голос, но не утешили.

Когда в городе зажглись фонари, вожак снова повёл стаю на знакомую площадку, чтобы ещё раз взглянуть на Чапа, пусть даже мёртвого.

Но тела друга на месте не оказалось. Лишь пятно засохшей крови указывало, где он лежал.

В эту ночь они были особенно горько и страдательно.

22

Гибель Чапа прибавила им тоски и уныния. Внешне это вроде бы никак не проявлялось. Тоска разъедала изнутри, жила, как червь в гнилом яблоке.

А тут ещё погода. Ночи становились длиннее и ненастнее. Наверху шумел ветер, до самого света мелькали косматые мутные тени. Было жутко и тревожно.

Стая стала осторожнее, избегала больших людских скоплений, среди которых Джеку постоянно мерещились призраки зла. И было непонятно, кому оно принадлежит, это зло? Всем сразу или каждому по отдельности?..

Иной раз там и тут над толпой, взблёскивая, мелькали светлые сполохи. Они и не позволяли сплотиться чёрной клубящейся засти. И там, где зло всё-таки находило брешь, обрушивалось на толпу, разгорались скандалы, затевалась перебранка и даже возникали потасовки.

Бесконечно легко было среди одичавшей зелени. Среди цветов и трав. Здесь можно быть спокойным, не опасаясь за жизнь. Сама природа дарила уверенность, несла успокоение, мягчила сердца, не давая разыгаться дикому буйству тёмных страстей.

Соловьиная трель по весне, бесшабашный воробьиный гомон в ветвях, картавое брюзжание старой вороны, свившей гнездо в кроне корявой ветлы, стрёкот кузнечиков в траве и даже назойливые комариные звоны были бесхитростно понятны и не могли быть неприятны ни оку, ни уху. В окружающей природе не было ни зла, ни коварства, ни гнёта печали.

Временами на заветную полянку забредали молодёжные компании, беззаботные и шальные в своей горячей дерзости. Приходили, чтоб «оторваться по полной программе», дать выход юным страстям и силам, позабавиться, проявить свои чувства. Парни пили вино, брэнчали гитарами, включали магнитофон и бешено скакали под чуждые трескучие ритмы. Дурачась, хватили девиц за нежные места, те взвизгивали в притворном испуге и пустырь удивлённо примолкал под их восторженно-беззаботные крики.

После молодых оставалось немало объедков. Их компании были желанными для собак.

А кто теперь пожаловал на заветную поляну? Непохоже, чтобы Живодёр. Они сразу бы узнали его машину-душегубку. По звуку мотора узнали бы из тысячи других, по особому запаху смерти.

Ворона покричала-покричала и с клёна перелетела на макушку тополя, вымахавшего на самом краю поляны. Но и здесь не умолкла,

своим старческим карканьем спеша известить округу о том, что, сама она хотя и стара, однако её не провести так просто — всё видит и всё подмечает.

Джека раздражали крики вороны. Он сердито подёгивал брылами и нервно тряс обрубок хвоста. Разумеется, ему хотелось знать, что такого интересного видит эта старая дура с тополиного висока? Многое мог бы простить ей, если бы только она умела подсказать, кто там хозяйничает у них на поляне?

Клуня продолжала тихонько ворчать и ловила на себе блох, вгрызаясь в шерсть и мелко перебирая зубами.

Предусмотрительный Грей пересел ближе к лазу. Его ореховые глаза выражали сдержанное спокойствие, призывали к расчёту и благоразумию.

Джек не мог видеть глаз спаниеля, но определённо догадывался, о чём тот думает.

Вожак собрал на лбу складки, сделал стойку, подобрав живот, вытянулся на задних лапах в рост и попытался заглянуть поверх полынной кулижины туда, откуда доносилось пофыркивание работающего мотора и куда нацелен был клюв вороны.

На поляне продолжалась всё та же торопливая возня.

Клуня нетерпеливо подалась вперёд и запрядала ушами, как бы вопрошая Джека: «Ну, что там?».

Джек и сам не понял, что. Был виден лишь белый верх пикапа, приткнувшегося к почерневшей от времени бобине, лицо молодого с тонкими усиками мужика и молодой проворной бабёнки в белом халате. Оба выхватывали из кузова картонные коробки, бумажные кули, пакеты и размахисто бросали в заросли. Глухие удары следовали один за другим, рассыпаясь на мелкие дробные стукки.

Грей заволновался, с несвойственной ему нетерпеливостью помотал хвостом и Клуня прочла в его глазах: «Эх, посмотреть бы, что там!».

«Кто же тебе не велит? Иди да посмотри, — тотчас отозвалась она ехидным взглядом. — Ты же у нас интеллектуал, ядрёна кость!»

«Да уж не чета тебе!» — тоже одним взглядом огрызнулся Грей и посмотрел на вожака.

Про Грея не только родная стая, но и окрестные дворняги знали, что он — особенный пёс, не чета им, можно сказать: уникальная особа. Среди собак он слыл таким умудрённым интеллектуалом, каковых и среди людей не часто встретишь. А воспитание и свои обширные познания он получил, живя у молодого адвоката Клима Савельевича Цимбала, юриста по образованию и политика по призванию.

Служил Цимбал помощником у Семёна Михайловича Скоропудова, не только влиятельного депутата Государственного собрания, но и значительного газового магната по совокупности принадлежащих ему богатств.

Клим Савельевич тоже был не против того, чтобы стать депутатом, как его хозяин. И надлежащие способности вроде бы к этому имел, а вот что-то не получалось. То ли ума, то ли финансового ресурса не хватало. Но Грей видел людей, которые по своим мыслительным способностям и рядом с Климом Савельевичем не поставит, однако депутатствуют. И ещё как! Значит дело всё-таки в финансах. Об этом и сам Клим Савельевич постоянно говорил и надеялся: вот разверзнутся однажды хляби небесные и прольются на него потоки золотой благодати. Тогда и увидит народ, какой он есть.

Но время шло, а хляби не разверзались. Золотого дождя не выпадало. А значит, и мечтать нечего о благоухающей депутатской розе.

Он уже два срока отвлёк в качестве руководителя избирательного штаба своего хозяина и видел, какие деньжищи бросает Скоропудов на обретение заветного депутатского статуса. Тогда и пришёл к твёрдому убеждению, что против больших денег и гранитная скала не устоит.

Обидно было, что богатствами владеют люди нёдалекие, в основе своей тупые, но страшно наглые, как думал он. Взять того же Скоропудова, тоже человек невеликого ума, а вон как взлетел!

Но в отношении своего шефа и его ума Клим Савельевич, видимо, всё-таки обманывался. Да и кто мог знать, какой у Скоропудова ум? Наверное, всё-таки немалый, если исхитрился оттяпать у государства целое многомиллионное состояние. Это, конечно же, брехня, будто в светлую пору всеобщего либерального дележа можно было за бутылку первача и сам Кремль приватизировать. Тут не всё так просто. Для этого тоже нужна была соответствующая голова, расторопные приятели наверху и умение в нужном месте о демократии правильные слова сказать, коммунистов поругать. У Скоропудова всё это получилось.

И нечего теперь возмущаться тому же Цимбалу, рассуждать, зачем депутатство этому жирному борову при его деньгах? Как будто не знает, зачем. А вот затем, время-то шаткое, скользкое и ненадёжное. Сегодня ты — олигарх, а завтра — зэк с торбой. Наедет прокурор и загремишь, как миленький, в места не столь отдалённые. А с депутатством — шиш ему! Вот он, мандат неподсудности. Накось, выкуси, батюшка!..

Пока тот выкушивает, ты — в самолет, лети хоть в Израиль, хоть в Лондон! Никто тебя не достанет. Сиди себе в замке какого-нибудь бывшего принца Уэльского да щёлкай золотые орехи себе в удовольствие. А они пусть там чешутся в своём затрапезном Кремле...

Грею вообще-то никакого дела не было до Скоропудова. И вряд ли стал бы он помнить этого солидного человека, похожего на живой монумент, если бы не одна случайная встреча.

Гуляли они вечером с хозяином по Центральному бульвару. Клим Савельевич как всегда был хмур и недоволен. Грубо осаждал Грея, резко дёргал за поводок, без конца ворчал и раздражался. Грей терпеливо сносил раздражение хозяина, вёл себя покорно, стараясь излишне не досаждать.

Тут и без большого собачьего чутья было ясно: хозяин недоволен им и клонит к тому, чтобы избыть его. Но куда и кому? Только бы не на убой!..

Вот с такой невесёлой думой и бежал он впереди Цимбала, постреливая по сторонам глазами, задирая лапку на каждый придорожный кустик, а то и на урну с мусором. Здесь и повстречался им господин Скоропудов со свитой.

Семён Михайлович и нёс себя, как говорили про него, с достоинством ожившего монумента. У него не было шеи, подбородок сразу плавно перетекал в могучую грудь. А плечи, плечи-то, широченные, ровные. Маршал, да и только!

Увидев помощника с собакой, Скоропудов придержал шаг, поздоровался одними кивком головы и строго посмотрел на Грея.

— Приятный пёсик! Приятный, Клим, — великодушно похвалил он собаку. — Ничего, гуляйте, гуляйте на здоровье, — позволил Семён Михайлович и зашагал дальше, величественный и необъятный, с глубокомысленным взглядом, обращённым в пространство.

Пятеро бравых охранников следовали за ним, бдительно посматривая по сторонам. Ребята — крепкие, гладкие и краснощёкие. Во всём чёрном, словно ангелы смерти.

Вот эта встреча и похвала Скоропудова и определили дальнейшую судьбу Грея, уберегли от безвестных мытарств. Словно подменили Клим Савельевича с этой поры. Он подобрел, стал сытнее кормить Грея, даже позволил ему спать в кресле. Перед прогулками обязательно расчёсывал, пушил его роскошный хвост.

Знакомые хозяина при встречах дружно хвалили собачку и наперебой интересовались: «Где добыл такую прелесть?». «В элитном питомнике», — с непременной гордостью отвечал Цимбал.

Клима Савельевича считали вполне обеспеченным человеком, представителем среднего класса. Да и как можно не считать, если ты живёшь в центре города в светлой, просторной квартире, с холлом, с широкой прихожей? К тому же, обставленной дорогой итальянской мебелью.

К его услугам наготове стоял автомобиль с персональным шофёром — молодым кудрявым парнем, настоящим сокрушителем грустных девичьих сердец.

Далеко не многие догадывались, что благополучие Клим Савельевича мнимое и держится на милости его работодателя. И квартира, и машина, и мебель — всё это принадлежало Скоропудову. И выстави завтра Семён Михайлович своего помощника за дверь, тот сразу окажется гол, как сокол, бесприютен и нищ. И какой уж тут из него представитель среднего класса, когда даже собственной собачьей будки не имеет? Нет-нет, он был самым типичным пролетарием умственного труда.

Грей слышал о своём хозяине, что его покойный родитель занимал значительный партийный пост и очень даже способным был к службе,

если сумел пережить нескольких генеральных секретарей. Большим поклонником маршала Ворошилова себя признавал.

Споткнулся на последнем секретаре, на Горбачёве. Но это как сказать, он ли споткнулся, сам ли Горбачёв себя уронил, когда увидели, король-то голый, что правит ими совершенно заурядная личность, состоящая из одних и тех же слов и пустых междометий: «больше демократии, расширить и углубить...». Тогда и посыпалась партия, как маково семя из худой коробки. Тут уж волей-неволей и Савелию Емельяновичу пришлось уходить.

Но всё это было после того, как сын подрос. А рос Клим Савельевич в благоприятных условиях, ни в чём не зная нужды. У него была даже своя няня.

В общем, это была более чем благополучная советская семья с хорошим достатком, с милыми, заботливыми родителями: «Климушка, сыночек, ангелочек ты наш!».

В сладостях пролетело Климово детство, в забавах отзвенело отрочество и, как изволил выразиться поэт, «профиль юности бессмертной промелькнул в окне трамвая». Всё шло, словно по хорошо накатанной глади. Элитная школа, престижный вуз, толковые, думающие преподаватели, порой позволявшие отливать такие откровения, от которых любой тогдашний партийный идеолог забился бы в истерику.

Был у них на кафедре политэкономии развитого социализма доцент по фамилии Милосердо. Высокий, костлявый, лысый, Фантомасом звали. Этот доцент на лекциях уже тогда говорил, что при текущем состоянии дел в стране социализм в скором времени выродится в свою классовую противоположность.

И ведь угадал, сволочь! Зря отцу не брякнул об этих его гнилых воззрениях. Уж он нашёл бы способ укатать его.

Клим Савельевич тогда не принимал всерьёз предсказания этого блудного доцента. Сидел за одним столом с пухленькой студенточкой и тихо посмеивался над глупыми пророчествами своего преподавателя. Он не просто знал, а был твёрдо уверен, пока в обкоме на идеологии сидит его отец, социализму не будет ни конца, ни края. Да, видно, подвело плохое знание конкретной жизни; в очередях не маялся, рос на готовеньком; булочка с маслом, колбаска, кофе с Кубы, апельсины из Марокко, сардины из Португалии. И не было ни стимулов, ни особого интереса ни к людям, ни к политике, ни к природе. Да он её, природу-то, и знал лишь по коллективным школьным экскурсиям. На собак смотрел как на одушевленную гавкающую неизбежность.

Однако вырос Клим Савельевич в молодца пригожего, белокурого и ладного, с девичьим чистым лицом и румяными щеками. Привык к тёплому халату, к кофе по утрам и долгой неге в постели среди высоко взбитых подушек. Лежал и думал, закутав ноги в верблюжье одеяло и созерцая потолок. Он, кажется, и сам не знал, о чём думает. Мыслей не

было, а думы были. И ещё любил в своём воображении рисовать картины одну заманчивее другой. Вот он живёт в огромном доме, даже не доме, а дворце наподобие Таврического. У подъезда стража с алебардами в форме Преображенского полка, в дверях два швейцара в ливреях с золотым шитьём. Он у камина в халате, в турецкой феске с шёлковыми кистями, с кальяном сидит в раздумье против огня, раздаётся звон мелодичного колокольчика, входит Дворецкий, с поклоном подаёт письмо на золотом подносе. «Ну, что там ещё? — небрежно вопрошает он. — Прочти-ка, голубчик, что начирикали?» «От губернатора», — потупившись, отвечает дворецкий. «Опять!» — возмущается он, очищая трубку. «В третий раз просится, ваша светлая милость. Говорит, дело неотложное», — виновато топчется дворецкий. «Знаем его неотложные дела. Денег будет просить, сволочь! Невелика птица, подождёт. И потом, — вспоминает с раздражением, — представитель президента второй день в приёмной сидит. Что, прикажете, ему в аудиенции отказать?»

Дворецкий переминается с ноги на ногу и не решается говорить.

— Ну, что ещё?

— Опять этот Скоропудов надоедает.

— Я же говорил, гоните в шею Скоропудова!

— Гоним, а он, бес эдакий, чего удумал. Через забор норовит сигануть. И как только, милушки, ловкости хватает при его телесах. Как хорёк, проворный. Никакого удержу нет.

— Всем двором держите!

Дворецкий кланяется и уходит, а он серебряной кочерёжкой ворошит в камине угли и неторопливо принимается за трубку, набивая её душистым табаком.

И здесь не вовремя звенит телефон, Клим Савельевич, разметав одеяло, вскакивает с постели, поднимает трубку и слышит голос хозяина:

— Ты у меня долго ещё будешь вытягиваться? Время десять, а бумаги не готовы. Чтоб одна нога там, другая здесь. Жду в конторе.

Начинается невообразимая суматоха среди торопливого ворчания: «Вот, толстый боров, потребовался ему!..».

Грей смотрит, как хозяин мечется между спальней и ванной, кухней и залом. Утираясь полотенцем, ныряет в спальню, из неё летит на кухню, из кухни — в коридор, жуя на ходу.

Всё, Грей остался без завтрака и утренней прогулки.

Цимбал почитал себя за человека живого и острого ума и уверял своё окружение, что его мыслительный аппарат по глубине философских обобщений, пожалуй, и позначительнее ленинского будет.

Очень гордится тем, что нашёл формулу современной российской демократии.

— Наша демократия, — посмеиваясь, говорил он, — есть денежный мешок Скоропудова плюс телеклонированная дебилизация всей страны.

И спрашивал:

— Ну, как?

— Охренительно! — восторженно ржал его дружок Верходуев. — Тут и сам бородатый Карла мелко плавал...

Правились ему цимбаловские выдумки.

23

Квартиру Клим Савельевича можно было назвать воплощением самого хлебосольтва. В студенчестве он поддерживал приятельские отношения с одним молодым узбеком, тот научил его готовить настоящий восточный плов. Клим Савельевич при случае с удовольствием демонстрировал своё поварское искусство. Плов у него был рассыпчатым, не какая-то там размазня, подобно неряшливо сваренной каше. Рис, как умытый, зёрнышко к зёрнышку, бери лоток и пересыпай, словно речной жемчуг.

Грею довелось отведать этого знаменитого плова и воспоминания о нём остались самые приятные.

Хозяин любил собирать гостей и твёрдо придерживался наставлений покойного родителя, внушившего ему, что экономить на полезных людях не просто нехорошо, а крайне отвратительно для человека, желающего себе успеха. Сто рублей, поучал он, не деньги. Потрать их с пользой на друзей-приятелей и знай, что завтра за твоей спиной, словно крылья ангела, вырастет хотя и маленькая, но надёжная стенка, которая и прикроет тебя в ответственный момент.

Он был мудрым человеком, родитель Клим Савельевича. Просидеть всю жизнь в партийных органах и чтобы не обзавестись крепкими связями, не обрести друзей, верных людей и соратников, надо быть не только простаком, а настоящим олухом. Но Савелий Емельянович не был ни тем, ни другим. Он умел ладить даже с такими людьми, с которыми и ладить-то, кажется, было невозможно. В сугубо личных делах он придерживался сугубо личных принципов, так сказать, собственного морального кодекса строителя коммунизма. В этом кодексе, кроме всего прочего, имелись и такие мудрые установки, как не пыли против начальства, делай вид, что начальник умнее тебя. А главное, не забывай говорить ему: «До чего вы гениальны, Пётр Петрович! До чего мудро руководите». Примитивно? Да, примитивно, но срабатывает.

При каждом удобном случае хвали жену руководителя, памятуя о том, что ночная кукушка обязательно перекукует дневную. При встречах не уставай восхищаться её прелестями и нарядами: «Ах, как шикарно сидит на вас это платье! Ах, как вы лучезарны, Марья Петровна! Настоящее созвездие нарциссов!».

При этом сладко прикрывай глаза и молитвенно складывай руки.

Савелий Емельянович и пристроил сына к Скоропудову. Пришёл к нему и сказал: «Ты меня знаешь, Семён Михайлович, бери, не ошибёшься. У меня лёгкая рука».

Сыну же посоветовал: «Держись этого человека. Видал, какие Соломоновы копии хапнуть сумел! Вот и учись. У большой чаши без мёда не останешься».

И ещё одну полезную мысль внушил сыну: «Запомни, сынок, мораль и нравы не для денег. Богатством движут низменные инстинкты. Возникнут соблазны, по обстоятельствам действуй. На то и голова дана, чтобы рыл, но не зарывался».

Много людей приходили к Цимбалу. Но Грей запомнил только тех, которые сами запомнились, которые бывали постоянно. И даже иные разговоры и обстоятельства хорошо запомнил. Да и как было не запомнить, если они повторялись много раз? И слова иные редкостные запомнил. Жалел об одном, что не выучился говорить по-человечески, не то сказанул бы людям пару ласковых. Утешался тем, что иные человеческие привычки в совершенстве постиг. Огорчался, что сами человеки, казалось бы, такие умные, а ни одного собачьего слова не знают.

Да и ведут себя не всегда разумно. Взять, к примеру, того же Цимбала. Молодой, образованный, ему бы на звёзды смотреть, к небу стремиться, а он дуется в карты с дружками, пьёт с ними коньяк крохотными рюмочками, похожими на напёрсток старухи Сыпугиной. Старуха в этом деле не чета им, никогда не пила из напёрстка.

А споры-то, споры-то какие! Иной раз такую глупость завернут, что уши вянут! Сидят и переливают из пустого в порожнее. И всё про деньги талдычат: у кого какие, кто какую яхту купил, что думает американский президент о нашей политике, что думает об этом наш президент; какая выгодная должность свалилась на какого-то Сидора Остроумыча. Вот уж откормится на мытарских хлебах!

А то ещё начнут женщин перебирать, кто какая и почём. Тоже, нашли тему. Подумаешь, диво — женщины! Чего их обсуждать? Выйди на улицу да посмотри, сколько их с авоськами и без авосек ходит по тротуару! Иная идёт, фу ты, ну ты, ноги гнуты! Того гляди, с каблуков слетят! Другая, как раскормленная утка, с ноги на ногу переваливается, едва ползёт.

А то ещё бывает, в штаны влезет и думает, что она — мужик. И зачем ей это нужно? Ну, допустим, кривые ноги можно ещё спрятать в штаны. А груди-то, груди-то куда денешь? Торчат, аж смотреть непристойно!

Иная нарочно выпячивает: нате, мол, подивитесь, какая у меня грудь! Нашла чем кичиться, дура. У верблюдов побольше горбы, и то не кичатся...

Порой и за столом поднимались самые настоящие бури. Это когда на политику переходили. Тут у всех одно на уме: вот, будь он во власти, не дал бы совершиться никакому дефолту, в корне не допустил бы ни экономических расстройств страны, ни межэтнических конфликтов.

Спорили о какой-то пятой империи, о глобальном державном проекте, о коренном переустройстве России на англо-саксонский лад.

Спорили так горячо и шумно, что пот на лицах выступал. А у Грея даже слух закладывало от их шума.

Собирались они к одному и тому же часу. Последним, как всегда, с небольшим опозданием появлялся Иван Иванович Пырышкин. Вот уж кого Грей не любил! С виду куда там! Прямо праздничный пирог на сдобном тесте. Только вот начинка какая?

Приходил, извинялся за опоздание, его спрашивали: «Что стряслось, Иван Иванович? Уж, думали, совсем не придёте».

Пырышкин начинал объяснять.

— Понимаете, — говорил он, водружаясь во главе стола. — Дело такой государственной важности возникло, мэр не решился принять на себя ответственность. Пришлось за него решать.

Подобные объяснения были столь часты, следовали с такой постоянной непеременимостью, что невольно закрадывалось сомнение насчёт деловых способностей мэра. И думалось, а не будь Ивана Ивановича в мэрии, кто бы решал трудные вопросы?..

Его объяснения принимались с горячим удовлетворением, гости, гремя стульями, плотнее прилипали к столу, перед Иваном Ивановичем ставился свежий прибор, обязательно подавалась штрафная рюмка, его просили выпить.

Лишь Верходуев не просил и, бывало, спрашивал с долей известного лукавства:

— Как, Иван Иванович, чувствует себя ваша блистательная Сафо?

— Превосходно чувствует, — с улыбкой отвечал Пырышкин. — Целыми днями музицируют с дочкой.

Застолье начинало загадочно улыбаться, понимая, про какую Сафо спрашивает Верходуев. Да уж, конечно, не про Софью Петровну, супругу Пырышкина, а про эту его пассию, всем известную художницу.

Понимал и сам Пырышкин, но делал вид, что не понимает. И начинала разыгрываться застольная сценка.

Верходуев изображал глубокую удручённость на лице и упрекал:

— Вы неисправимый эгоист, Иван Иванович. Разве позволительно подобные таланты держать под спудом? Ещё в Библии сказано, не зарой таланта, данного тебе. Грешно, грешно!.. Может, всё-таки позвольте вашему нежному очарованию влиться в мой скромный музыкальный коллектив? С преогромным удовольствием готовы принять и ручки целовать!

Иван Иванович, не переставая заполнять своё блюдо яствами, кривил тонкие губы и усмехался в усы.

— С огромным удовольствием позволил бы, Григорий Наумович, но ведь у тебя такие завидные строгости, — тихо ворковал, лукаво поглядывая на Верходуева. — Боюсь, конкурса не выдержит. У тебя конкурсный диван, говорят, очень уж щепетилён.

Все начинали хохотать, понимая, о каком диване идёт речь. Верходуев тоже смеялся, ничуть не смущаясь, и кокетливо отвечивал:

— Да бог с ним, с диваном, Иван Иванович. Готов вне конкурса пустить...

Эту сценку Грей наблюдал много раз и она ему порядком прискучила. Вздохнув и повозившись, он прятал нос в тёплый ворс ковровой дорожки и заставлял себя предаться скромным собачьим мечтам и воспоминаниям. Вот он нежится на солнце посреди утлого дворика старухи Сыпугиной и Настя, её внучка, кормит его гречневыми блинами. Старуха пекла их лишь по случаю больших праздников. И хотя они приходили редко, а вот запомнились. Ничего тогда он не едал слаще блинов!

Иными вечерами среди гостей поднимался самый настоящий гвалт и заснуть было просто невозможно. В роли виновников застольных перепалок выступали обычно два лица; депутат городской думы от свежесозданной партии «Новый демократический фронт» господин Шиворотов и его помощник Кошёлкин. Оба были молоды, в спорах горячи и азартны.

Шиворотов приходил в обычном, сильно потёртом джинсовом костюме с двумя заплатами на коленях. Он любил притворяться пролетарием. И его притворство выглядело вполне натурально. Во всяком случае, водитель Цимбала Николай говорил: «Вот как просто одевается человек! Потому и народ любит, говорят: «Свой в доску».

Кошёлкин, в подражание шефу, тоже любил притворяться. Но притворялся по-своему: делал вид, что работает в интересах «униженных и оскорблённых». Однако созданная им небольшая адвокатская контора ломала такие гонорары, что они могли быть позволительны лишь очень состоятельным людям.

Оба приятеля стоили друг друга и были интересны Грею хотя бы тем, что порой гладили его шёрстку.

Шиворотов имел костистое нервное лицо и жёсткие пегие волосы. Вёл себя он несдержанно, порой даже вызывающе. Любил ошеломить собеседника неожиданной экстравагантностью, бранил правительство, Государственную думу и даже замахивался на авторитет самого президента. Ему, например, ничего не стоило заявить, что в Думе засела кучка прикормленных мерзавцев и ожидать в подобных условиях какого-то решительного обновления страны — всё равно, что птичьего молока от ослицы. Он уверял своих собеседников, что ничего толкового не будет в государстве, пока к власти не придут они, представители новой демократической волны. Только они и никто иной способны отстоять интересы подлинного демоса против засилья олигархической шайки вороватых эспатридов*. Он не только опасно высказывался сам, но и любил провоцировать других на подобные высказывания. Поговаривали, будто Шиворотов как-то связан со спецслужбами. Иначе с чего бы награждать человека чекистским знаком?

* Эспатриды — богатая знать в древних Афинах.

Его немного побаивались и чрезмерных откровений при нём старались не допускать. Впрочем, побаивались и Кошёлкина, который был при Шиворотове неотлучен и без него никогда не приходил.

Умиляла в Кошёлкине недавно появившаяся манера при разговоре кокетливо отставлять широко растопыренные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями, подкрашенными розовым лаком. И сам он со своей причёской а ля Пьеха, гладко выбритый, с узкими, непропорционально развитыми плечами в сравнении с бабьими филейными частями тела выглядел очень даже странно для мужчины. И прозвище у него было странное, совсем не мужское — Таня.

Как и Цимбал, Таня тоже был юристом и прослыл решительным противником введения прогрессивного налога, но поворачивал дело так, будто делает это исключительно в интересах обездоленного населения.

Здесь он вряд ли был оригинален, ибо повторял азы официоза, доказывающего, что прогрессивный налог вреден уже потому, что он вынудит олигархов скрывать сверхприбыли, уводить их в оффшоры и деньги совсем перестанут поступать в казну.

Эти доводы даже Цимбалу показались смехотворными, и у него на этот счёт нашлись свои возражения.

— Что же это за квазегосударство такое, если не могут собрать налогов со своих граждан? — говорил он с ленивой иронией. — И что это за объяснения: вот введём налог и перестанут платить. А для чего же существует система контроля, государственное управление? Так ведь можно договориться до того, что и мусор не нужно убирать. Всё равно будут сорить. А зачем, скажем, с клопами бороться, морить тараканов, если они снова плодят? Не понимаю этой логики. На кого она рассчитана? На дураков? Но их сейчас мало. Лучше бы уж сразу признались, рады бы ввести, да собственного кошелька жалко.

Тут уж Иван Иванович не выдержал и предметно объяснил Цимбалу, что будет с его кошельком, если введут прогрессивный налог.

— Сколько платишь со своих кровных? — спросил он, хитро щурясь.

— Как и все, тринадцать процентов, — простодушно ответил Цимбал.

— Вот, — усмехнулся Иван Иванович, — Думаю, при твоей зарплате станешь платить процентов двадцать. Никак не меньше. Тебе это надо? Думаю, что не надо. И правительственным чиновникам, думаю, не надо. Иначе им придётся дополнительно раскошелиться на энную сумму. Хотят они этого? Конечно же, не хотят! Так что можете успокоиться. Пока высшему правящему слою невыгоден прогрессивный налог, его никогда не будет. Думаю, в нём никто наверху не заинтересован.

Он вздохнул и улыбнулся, с откровенным превосходством поглядывая на Шиворотова с Кошёлкиным.

— Давайте оставим этот популизм вот им, нашим дорогим братьям и коллегам, — кивком головы указал Иван Иванович на одного и другого. — Пусть они тешатся, мутят народ.

Оба приятеля промолчали. И с этого случая больше о налогах в компании не говорили.

Даже Грею было понятно, что Шиворотов с Кошёлкиным ребята шаткие. Качаются, как рябина на юру. Куда ветер погнёт, туда и клонятся. А гнуло их, по настроению, и влево, и вправо.

Иногда они несли такую чушь, что за столом начинались переглядывания, перемигивания, пожимания плечами, гримасы недоумения: «И чего несут?». Случалось, и хихикали.

У Кошёлкина был свой излюбленный конёк, довольно забавный. Это была изобретённая им теория общественного мироустройства, согласно которой нет и в принципе не может быть никаких полезных реформ. Все прошлые реформы, говорил он, оказались ущербны и противны человечеству, поскольку они противны самой матушке-природе.

И он вопрошал своим тонко звенящим фальцетом, вскидывая голову и вертя перед собой широко растопыренными пальцами:

— Назовите мне хоть один положительный момент общественного переустройства мира.

Никто, разумеется, этих положительных моментов не решался называть. И не потому, что не находил их, а исключительно из опасения увязнуть в бесплодных спорах. Ведь наверняка ничего не докажешь этому остолопу.

-А-а! — ликующе восклицал Кошёлкин, торжественным взглядом оглядывая застолье. — Нет их в природе, этих положительных моментов! Всё кончалось одним и тем же: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

Он утверждал, что любое политически важное событие в мире соотнобразуется с самим движением Земли, с её гравитацией и круговоротом положительно заряженных частиц в биосфере. Без понимания этой данности, — вещал он менторским тоном, — всё остальное есть фикция и политическое шулерство, прикрывающее бесконечную череду делёжки злата. Это вам любой школьник скажет.

И при этом смотрел на Шиворотова: если тот одобрительным кивком позволял ему, мог и дальше говорить. Но позволения приходилось получать не часто. Шиворотов и сам был горазд на слова и не желал, чтобы затмевали его в ораторском искусстве.

Вёл он себя как лидер солидной партии, про которую знали, что она малочисленна и ничтожна, но вот сумела-таки на выборах обеспечить Шиворотову место в городской думе.

Призывая к вниманию, он кашлял в кулак, резко встряхивал головой, как это делал когда-то, выступая на многочисленных, хотя и бесплодных митингах, и начинал говорить:

— Вот вы постоянно обвиняете нас с Кошёлкиным непонятно в чём. А сами рассуждаете о каком-то державном проекте, о пятой империи. И что? Под эти ваши рассуждения наши недра тем временем в гигантских масштабах вычерпывает шайка воровских кланов. И прибыль пря-

миком течёт в зарубежные сундуки. Какой же, к хренам, это державный проект? Какая пятая империя? — распял он себя до вибрирующей тональности. — Кто должен направлять эти проекты, когда иностранные банки трещат от долларового водопада отечественных нуворишей? Может, скажете, господин Скоропудов? Как бы не так! Он и внуков-то давно услал учиться за кордон! И что в таком случае имеем, господа? — трагически закатывая глаза, вопрошал Шиворотов. — А ничего! — отвечал он. — На нашем святоотеческом поле выросло целое поколение чужеумцев! Помилуйте, и эти отравленные заморскими ядами сморчки будут осуществлять отеческие проекты? Полноте, господа, у них в головах и мысли-то давно чужие. Вот вытрясут окончательно наши карманы, оставят страну с голым задом и укатят в свои сытые палестины.

Грей лежал и думал сквозь дрёму: «Ох, и перепалочка намечается!».

— В этом нет ничего удивительного, — радостно поддерживал его Кошёлкин, стреляя по сторонам своими женской жгучести глазами. — Инстинкт хищника. Волк тоже тащит овцу подальше от хозяйского загона. Нам есть чем гордиться, — засмеялся он, — наши потомки скажут о нас, что мы жили в счастливую эпоху развитого олигархата.

Застолье угрюмо молчало, лениво ковыряясь в блюдах с пищей. Подобные заявления двух оппозиционеров давно никого не шокировали. К ним привыкли, как привыкают к осенней слякоти, к галошам в непогоду, к неудобствам трамвайной тесноты в часы утренних поездок.

Да и не хотелось отрывать себя от вкусного блюда, тем более, что этим блюдом был знаменитый цимбаловский плов.

И лишь Иван Иванович Пырышкин, в силу партийного долга и служебного рвения, вынужден был реагировать на оскорбительные выпады в адрес правящей партии, не дать совершиться надругательству над либеральным курсом властей.

И было всегда одно и то же. Иван Иванович вытирал салфеткой усы, неторопливо клал её на полированный стол справа от себя, поправлял манжеты на безукоризненно отглаженной рубашке цвета морской волны и хорошо поставленным казённым голосом сухо отвечал:

— Эту вашу теорию шариковых мы ещё в семнадцатом году проходили.

— Интересное кино! — как ужаленный, обычно вскидывался Шиворотов и вертел головой, ища поддержки у присутствующих.

Но её ждать было не от кого кроме, как от Кошёлкина. Остальные избегали даже глядеть в его сторону.

— Интересно! — повторял Шиворотов. — Это кто же у нас шариковы, господин Пырышкин? Уж не тот ли народ, который по-воровски обобрали, пока он пребывал в гражданской растерянности? Это он и есть шариковы, а не те ловкие нувориши, поделившие страну между собой? Так кто же, я спрашиваю, настоящий шариков? Тот, кто ограблен и требует вернуть назад награбленное? Или тот, кто ограбил и

теперь вопит со всех экранов: «Караул, грабить собираются?». Ловко, господин Пырышкин! Ловко!.. Настоящие шариковы не народ, я вам скажу, а господин Скоропудов и вы, его обслуга!

Шиворотов бывал так взволнован, что у него начинали розоветь мочки ушей, не прикрытые волосами его растрёпанной причёски.

Тут уже вступал в спор несдержанный Верходуев. И на этот раз вступил.

— Нет, ты чего несёшь? — возмущённо поднял он голову, положив на салфетку свои руки, похожие на две большие клешни. — А вы, значит, с Кошёлкиным не обслуга?

— И мы — обслуга, — после короткой паузы вынужден был согласиться Шиворотов.

Слегка порозовевшее лицо Пырышкина приобрело черты жёсткой решимости. Он бросал на Шиворотова взгляды, полные презрительной сдержанности, и машинально водил вилкой по пустому блюду, издающему тонкие колеблющиеся звуки.

— Знаете что, господа, — глядя почему-то на Кошёлкина, сидящего напротив, с презрительной гримасой бросил Пырышкин. — Уже много лет слышу про этот ваш обобранный народ и про его бедность. А машин становится всё больше от этой вашей ужасной нищеты! Что скажете на это, господа хорошие?

И Пырышкин торжествующе блеснул очками.

— А вот что! — подскочил на стуле Шиворотов. — Много бесчестия вокруг! По тому, какая у нас коррупция, составляющая криминала, мы должны бы поголовно на золотых танках с бриллиантовыми башнями кататься!

— Нет, вы посмотрите! — В полном недоумении развёл руками Иван Иванович, взывая к застолью. — Ты ему — одно, а он тебе — другое! Ты ему — белое, он тебе — чёрное!.. При чём здесь криминал?

Застолье тоже, кажется, недоумевало. Лишь один Верходуев не терялся.

— У него левый уклон, — засмеялся он, — это уже звоночек оттуда.

И Григорий Наумович небрежным жестом указал куда-то вверх.

— У тебя имеется тачка? — сразу же набросился на него Шиворотов.

— Разумеется! Кто же сегодня без тачки?

— И тачка эта, конечно же, так себе? Паршивенький «жигуль»?

— Обижаешь, брат! Тачка что надо! Первостатейный внедорожник японской выделки. Высший сорт! — не чувствуя подвоха, похвастался Верходуев.

Гости смотрели на них и слегка улыбались.

И только Грей ни на кого не смотрел и ничем не интересовался, лежал, ожидая, скоро ли вспомнят о нём и вывалят в его миску остатки плова?

— Ну, ты и бабки, должно, гребёшь ковшом? — продолжал допытываться Шиворотов.

— Откуда? — возмутился Верховдугев и произнёс себе под нос, но так, чтобы слышали все: — Имею кое-что, детишкам на молочишко. Тысяч восемь набегает, деревянными.

— Слышали? — с насмешливым прищуром обвёл компанию Шиворотов. — А Иван Иванович спрашивает, при чём здесь криминал? А при том. Доход — восемь тысяч, а машина — поллимона! — вскинул над собой Шиворотов указательный палец. — И так повсюду. А криминальная составляющая любого общества, как ни странно это звучит, прямо пропорциональна его морально-нравственному состоянию. И это состояние у нас таково, что нет ни в чём предела. Вот такой тут грим и глянец, уважаемый Григорий Наумович.

Верходугев смотрел на него с выражением безвинно обиженного ребёнка. А Иван Иванович заметил, хотя и не очень уверенно:

— Ну, эти обобщения тоже слишком смелые. Это уж чересчур. Я же говорил, что вы — популисты, так оно и есть. На дешёвую колбасу популярите. А нам есть чем гордиться! Имеется у нас и достойная предпринимательская элита!

Его слова задели сразу обоих — и Шиворотова, и Кошёлкина. И они одновременно вскричали:

— Это какая же?

И смутились, удивлённо посмотрев друг на друга.

Затем заговорил уже один Шиворотов.

— Да ваша элита всё равно что огородная жаба! — презрительно бросил он. — Ей лишь бы что-то схватить и тут же схрумкать! У неё же брюхо, как дырявое корыто, сколько ни влей, всё равно не сыто.

— Нет, что вы говорите? Что вы говорите? — не переставал возмущаться Иван Иванович и его гладко выбритые щёки горячо пылали. — Есть, есть и современные Третьяковы, и Мамонтовы есть! Вон возьмите Шурыгина. Бескорыстно спортивные общества опекает.

— Это Шурыга-то — бескорыстно!? Вот так новость! Нашли мецената, — деланно рассмеялся Шиворотов. — Этот ваш благотворитель как раз из тех, кто ножик к ночи точит, а под утро бабки считает... Пахан ваш Шурыга, а вы его в книгу почётных горожан!.. Вот она, спайка криминала с властью. Оттого и машин много на руках.

Возмущению Ивана Иванович не было границ. Он как будто даже рассвиrepел. Его ноздри раздулись, казалось, ещё немного и он бросится на Шиворотова с кулаками.

Но, во-первых, не было уверенности, что сладит, а во-вторых, Цимбал вмешался. Он давно, поглядывая на обоих, нетерпеливо похлопывал себя по коленям, выжидая подходящего момента.

— Господа! — вскричал он, слегка привставая. — И как только вам не надоест? Только и слышишь: «шариковы, поделить, умножить». Хватит, наверное!..

Шиворотов виновато набычил голову и обиженно поджал губы.

Кошёлкину всё ещё не терпелось высказаться, он не мог усидеть на стуле, вертелся и беспокойно вскакивал.

— Ворованное, как горб, его не спрячешь ни под каким смокингом, — торопливо выпалил он и пообещал: — Ничего, придёт время, им и руки никто не подаст.

— Ой, батюшки мои, горе-то, несчастье-то какое! — обхватив голову крепкими ладонями, с дурашливым испугом завопил Верходуев. — Руку они не подадут! Прямо казнь египетская!.. Бери верёвку и вешайся...

И, резко откинувшись, рявкнул так, что даже смиренно дремавший Грей испуганно вздрогнул:

— Да на хрена им ваши рукопожа-а-тия!? На хрена козе баян, когда полон карман золотых дукатов?

Кошёлкин не ответил, посмотрел на своего шефа, вдыхающего запахи стоявшего перед ним горшочка, и тоже сосредоточился на еде.

Остальные последовали их примеру, дружно зазвенев посудой.

На длинном обеденном столе густого бежевого цвета, исходя грибным духом, томились под накрахмаленными салфетками глиняные горшочки с французскими трюфелями, тушёнными в сметане. Их заказали ещё утром в ресторане, принадлежащем Скоропудову, и к назначенному времени точно в срок доставили двое расторопных молодых официантов в захватанных передниках и белых колпаках.

Сразу же воцарилось сытое молчание, нарушаемое лёгким позвякиванием столовых приборов да коллективной работой крепких мужских челюстей.

Кошёлкин орудовал ножом и вилкой, как искусный ксилофонист, ловко постукивая о края горшочка. И приборы издавали дивные звуки задушевной сытой мелодии.

Они с Шиворотовым старались ни на кого не смотреть. На них тоже никто не смотрел. Их и терпели здесь лишь по прихоти самого хозяина, которому ужасно хотелось выглядеть либералом европейского покроя.

Да и скучно было без них, без этих вечно с чем-то несогласных демагогов и фрондёров. Для компании они были добрым раздражителем, вроде острой приправы к столу, вроде красной тряпки для быка.

За глаза обоих называли не иначе как маргиналами, популистами чистой воды и, даже страшно подумать, экстремистами. А кто же они, если не экстремисты? Критикуют власть, демократические порядки, заигрывают с избирателем. Разве станет честный гражданин критиковать работу своего правительства, сам ход либеральных реформ, повернутых на рыночные рельсы? Это и могут позволить себе лишь чистой воды экстремисты.

Приходя к Цимбалу, гости в первую очередь интересовались:

— А эти будут сегодня, наши экстремисты?

Если выяснялось, что будут, потирали руки в предвкушении чего-то остренького и потешного для себя.

Пырышкин спрашивал по-особому, степенно и чинно:

— А эти наши баламуты не обещались? Вот и славненько, — принимал он озабоченный вид. — Беда с этими невоздержанными людьми. Одна морока государству. Так и держи топор наготове!..

Себя они считали мыслящей элитой, аристократами духа, как выразился Цимбал. Но и против искушений желудка не могли устать. Во всяком случае, не противились этим искушениям.

24

Ну, и как было не набраться ума, пребывая в одном помещении со столь образованными людьми, дыша одним с ними воздухом? О, как тонко умели они не только подметить, но и вынести своё правильное суждение о вещах глубоких и непостижимо сложных для простого собачьего разума! Для них, кажется, не существовало ни одной задачки, которую они моментально не расщёлкали бы, словно гнилой орех. Им, наверное, одним было ведомо, что надо делать со страной, куда ей стремиться и как жить самому народу. Единственное, пожалуй, чего они не знали и не умели, разве что таких ничтожных пустяков, о которых и знать незачем. Например, не умели и не знали, как растить хлеб, каким образом добывают себе пропитание кузнец, шахтёр, токарь — и вообще работный человек. Но и здесь они не терялись, не позволяли себе ударить в грязь лицом. О людях рабочих профессий судили свежо и понимающе. Чего, дескать, не жить этим работягам? Постучал молоточком, повертел станок, отстоял свои семь-восемь часов — и гуляй, Вася, свободен, как небесный дух! А тут не знаешь ни дня, ни ночи, ворочаешь жерновами мозгов, словно ломовая лошадь. Всё думаешь, отчего это начальника департамента таможенной службы Мухоморова с такой внезапностью перекинули в налоговую полицию? И за что его коллегу Плохина самым грубым образом бросили на таможду? Чтобы это значило? Какие перемены зреют в ответственных верхах? Каких ещё новаций следует ожидать государственному служивому человеку?

Не успеешь обдумать одно, а тут новый вопрос самой свежей жгучести. Судья Простушкина вынесла оправдательный приговор миллионщику Тетёркину? Интересно, с чьей подачи? И в какую сумму обошлось Тетёркину его оправдание? Наверное, никак не меньше цифирьки с шестью нулями?.. Ишь ведь в какие безумные расходы ввели уважаемого человека!..

Как после этого не мучиться, не спать ночей разумно мыслящей личности? И Грей воочию видел эти мучения. Хозяин и вздыхал, и крихтел, и ворочался средь мягких перин. Да и сам он не спал, переживая за него, тоже вздыхал и ворочался.

Как и всякое здраво рассуждающее существо, Грей понимал, что хорошо устроился, и радовался, до чего повезло ему с хозяином и местом! Какой ещё собаке может выпасть жребий вращаться среди под-

линных новаторов духа? Вот поживёт он, повращается в этом кругу, скажем, десяток лет, и какой тонкой огранки ума может достичь! Каких невероятных мыслительных высот! Пусть и не таких, какими обладает высшее звено государства, но всё же, всё же...

Конечно, он и теперь умеет охранять имущество, и готов исполнять эту службу без особых лишних трат на себя. Ему и надо-то килограмма четыре свиного рагу на неделю да ведёрко воды для питья — вот и все расходы. Только, пожалуйста, без этого «вискаса». Потчевал его Цимбал. Пусть ест тот, кто выдумал эту несусветную дрянь!..

Но как ни терпелив был он, как ни усерден, а застольные разговоры со временем прискучили ему. И, чтобы не слушать их, он порой прятал голову под половик и дремал в такой неудобной позе. Однако природное любопытство и собачья привычка быть начеку брали верх над его сонливой ленью. И он вынужден был впитывать всё, что говорят за столом. А там по-прежнему было, ой, как много любопытного, глубокого, актуально страстного и задорного!

Пырышкин как-то привёл с виду тихого, застенчивого человека, отрекомендовал его провизором по фамилии Петин. Верходуев несколько удивился тому, что Петин провизор. Ещё недавно этот товарищ сидел инженером коммунальной службы у них в домоуправлении. А теперь, видишь, перековался! Хотя, чему удивляться? Были бы деньги да способность к пронырству, можно и академиком стать. Вон, депутаты Федерального Собрания, послушаешь, сплошь учёные — доктора да кандидаты наук. Корова пишет через «а», тем не менее, глядишь — доктор философии. Новый Спиноза. Как же, политический деятель федерального значения! Куда же ему без учёной степени?..

По поводу Петина у компании было иное недоумение. Чем они с Иваном Ивановичем друг другу приглянулись? Но это недоумение быстро рассеялось и было верно угадано. Петин, оказывается, владеет аптекой и, конечно же, нуждается в аренде помещения. Иван Иванович тоже нуждается, в чём и другие должны нуждаться — в определённой, вечно недостающей сумме денег. На этом обоюдном интересе, должно, и сошлись.

Пришли они не с пустыми руками. Водитель Петина втащил две картонные коробки со снедью — с закуской и выпивкой. В коробках были коньяк, шампанское, сыр, колбасы, сладости и фрукты.

И вот, когда выпили в честь знакомства и хорошо закусили, за разговором открылось, что их новый гость, скромный провизор с невзрачным блёклым лицом и серыми утомлёнными глазами, этот Петин, оказывается, далеко не заурядная личность, настоящее воплощение человека государственного ума. Оказывается, он — автор выдающегося проекта, обещающего процветание всему державному фармацевтическому производству.

Присутствующие с хмельной настойчивостью стали просить, чтобы гость хотя бы вкратце изложил им суть своего замечательного про-

екта. И Петин не устоял против настоятельных просьб, раскрыл дипломат, достал отличного качества бумагу, такую, что хрустела в руках, и, застенчиво покашливая в кулак, с волнением стал зачитывать. Как и всё гениальное, назывался проект незамысловато и просто — «О пользе пилюль для здорового организма».

Ой, сколько ума и таланта открылось в этом с виду робком, далеко не публичном человеке! В проекте довольно прозорливо отмечалось, что далеко не каждый гражданин, почувствовавший недомогание, спешит в аптеку. Иные пользуются, причём, совершенно бесплатно, архаично преступными способами лечения: разного рода бабкиными примочками, отварами трав, настойками, мазями из материалов как животного, так органического происхождения. Это обстоятельство здорово подрывает крепь аптечной сети, лишая её значительной части должной прибыли, и наносит колоссальный урон всей фармацевтической промышленности.

Петин предлагал раз и навсегда покончить с этой разорительной для аптечного дела кустарщиной, запретить подобное лечение как пережиток дикого варварства специальным постановлением правительства или именным указом президента.

Но главная соль документа была впереди и содержалась во втором разделе. Здесь Петин предлагал во избежание заболеваний в последующих возрастных категориях приучать детей к приёму пилюсь с грудного возраста. «Ибо болезни коварны и прилипчивы, — констатировал документ, — и, по нашим предположениям, коварны именно к той категории населения, которая не начала пользование пилюль с раннего возраста. Потребление таблеток без исключения всем составом граждан страны позволит поднять фармацевтическую промышленность на не виданную доселе высоту, тем самым укрепит её экономический порог, не допустит возникновения безработицы и существенно оздоровит материальную базу аптечного дела».

Когда Петин кончил читать и вскинул глаза, все сосредоточенно молчали, делая вид, что ошеломлены и осмысливают его титанический труд. И только Иван Иванович нашёлся, что сказать.

— Глыба! По другому и не скажешь? — глубокомысленно изрёк он.

И задумчиво поправил очки.

— Ну, а дальше, дальше-то что? — стал теревить польщённого автора нетерпеливый Верховоуев. — Есть какое-то практическое развитие? Ведь нельзя же труд особой государственной пользы держать под спудом.

— Дальше? — смущённо проговорил Петин. — Зурабову отослал.

— А что Зурабов? — спросил Цимбал.

— Пока заглохло, — ответил Петин. — Зурабова сняли, на том и заглохло. Министерская бюрократия, известное дело, что ни подай ей, тут и умертвит. Даже не ответили.

— И не ответят, — горестно вздохнул Иван Иванович, принимая озабоченный вид. — Столичные чиновники, ох, как не любят нашей инициативы снизу! Как же, сами с усами! А вот не додумались. Теперь на такое дно упрячут документ, что никакие водолазы не достанут. Могла и та покажется лёгкой рытвинкой по сравнению с министерскими бюрократическими лабиринтами. Вот всегда так, увидят что-то умственно стоящее, раз себе в карман, и — молчок. Пройдёт время, автор отступится. Забудет про своё дитя, а они бегут к президенту, так и так, мол, гениальная идея во сне пришла на ум. Это чтобы показать, как болеют за дело. Спят и работу видят. А какое там дело! Им интересна лишь «зеленушка» в коробушке из-под ксерокса... Поверьте моему опыту, пройдет какое-то время и зазвенит идея нашего гостя, но уже под авторством другого человека! Тут надо учитывать специфику рынка. Ничего из своих рук не выпускать. Сейчас не то что из рук, из кармана выхватят. Особенно в этих министерствах.

— А ведь дело-то могло бы и на Нобелевскую потянуть, — глубокомысленно заметил Верходуев. — На Запад, на Запад надо пробивать свои идеи. Там быстро подхватят и оценят, как надо.

На что Петин лишь виновато потупился: не учёл, мол, промашку дал.

Но далёко не всех убедил труд скромного аптекаря. И, в первую очередь, разумеется, Шиворотова с Кошёлкиным. Оба лукаво перемигивались и снисходительно усмехались, слушая провизора.

Наконец, нетерпеливо поёрзав, Кошёлкин спросил, криво усмехнувшись:

— А какие же пилюли надо принимать?

— Всякие, — неопределённо ответил Петин. — В первую очередь — простудные.

— И не отравимся?

— Если с умом принимать и начать с грудного возраста, никакого отравления не может быть! — убеждённо ответил Петин. — Адаптированный организм сам противодействует любым ядам. А вот болезнетворные бактерии тотчас же и загнутся.

— А мы жрём коньяк и недохнем! — радостно вмешался Верходуев. — А ведь тоже — яд. Этиловый спирт... Так выпьем же за автора с ума сводящего трактата! Ура, ура!

И все радостно выпили.

Грею запомнился ещё один гость мужских посиделок. Его привёл депутат Шиворотов. И привёл, должно быть, не без умысла, а исключительно из мстительного желания ни в чём не уступить Пырышкину, этой чиновной крысе из городской управы.

Гостем на этот раз был профессор кафедры биофизики местного университета Василий Игнатьевич Рюхин, низенький толстый старичок с круглыми, как у сыча, глазами. Своей волосатой растительностью во всё широкое лицо профессор напомнил кудлатую болонку из сосед-

ского двора, в которую и был тайно влюблён Грей. Только у болонки шёрстка была чёрной, а нос подлиннее и потолще. У Рюхина же он едва выглядывал из зарослей лица. И сами заросли эти имели цвет ковыля перемежку с метёлками выгоревшего чернобыля.

Говорил профессор так быстро, что за ним, наверное, не поспела бы и детская трещётка.

В городе Рюхин был славен тем, что прошлой весной выступил с докладом в Страсбурге на международном экологическом форуме, наделавшем много шума среди местной учёной братии. Название доклада было длинным и слишком умным, чтобы его запомнить. Но Грей, имея исключительно собачью феноменальную память, конечно же, запомнил. Да так запомнил, что порой, лёжа в своём убежище в мокрые осенние дни и скребя лапой у себя за ухом, медленно повторял: «О рациональном потреблении кислорода дыхательным аппаратом биологически разумной особью с помощью дозатора профессора Рюхина».

Надо сказать, что ничего, кроме собачьей улыбки, это название у него не вызывало. Он его и повторял-то лишь затем, что улыбнуться, забыв о холодных дождевых каплях сверху и противном завывании ветра в деревьях.

Вокруг профессорского доклада тогда разгорелась нешуточная дискуссия.

Тон задал всё тот же Шиворотов.

— Вот мы тут воду толчём в ступе, — начал он, заметно волнуясь, — а рядом с нами замечательные люди бьются над открытиями исключительно всечеловеческой важности!

Пырышкину не понравился ни тон, взятый Шиворотовым, ни обстоятельство того, что не он лично, а эта жалкая депутатская вертушка привела с собой столь выдающуюся личность.

— Мог бы не трудиться, мы наслышаны о работах профессора, — небрежно заметил он, лишь бы уязвить Шиворотова. — Вопрос только в том, какой в этом имеется практический интерес?

Его тирада хотя и не выглядела похвалой, тем не менее, оживила профессора. Тут он и понёс. Слова, словно ядра, вылетали из его глубоко спрятанного в бороде рта. Говорил он быстро и яростно, торопливо излагая, какую именно огромную пользу человечеству несёт его предложение. Грею трудно было постичь язык науки, но кое-что и он сумел уяснить. И молча ахнул, как это ужасно! Оказывается, человечество из-за своего расточительного дыхания производит огромные выбросы углекислого газа в атмосферу. И это легкомысленное всечеловеческое разгильдяйство повсеместно ведёт к неизбежному увеличению парникового эффекта в масштабах планеты.

— Нет, я не призываю поголовно каждого дышать вполонину объёма лёгких, — говорил профессор так, как будто с кем-то спорил. — Люди, занятые тяжёлым физическим напряжением мышц, должны

потреблять кислород в прежних объёмах. Но мы-то с вами, люди умственного занятия, просто обязаны даже из принципа интеллигентной деликатности дышать вполовину объёма лёгких. И знаете, какая это колоссальная экономия в планетарном масштабе? Триллионы и триллионы кубометров чистейшего кислорода останутся непотреблёнными! И уже одно это, — как бы кому-то грозя, занёс над головой палец профессор, — позволит буквально на глазах преобразить облик нашей старушки Земли. Чем это обернётся для мирового хозяйства? А вот чем. Сразу же уменьшится расход горючего автомобильного парка. Вы спросите, почему? — делая паузу, обвёл профессор застолье загадочным взглядом. — Вполне резонный вопрос. Поясняю. За счёт обогащения то-пли-вной смеси в дви-га-те-лях вну-трен-него сгорания, — по слогам произнёс он. — Резко увеличится техническая амплитуда самого двигателя. Вот так вот, господа хорошие, решаются проблемы научного прогресса!

Здесь и посыпались на профессора вопросы. Грей подумал: всё, закроют беднягу, не выпутается старик. Но, нет, выпутался. Да ещё как! Он лишь вертел головой и моментально давал ответы.

Один Цимбал потихоньку куксился и делал вид, что ему скучно от бурного научного гвалта. В конце концов, и он не утерпел, спросил с вкрадчивым подвохом:

— Позвольте, профессор, а как вы мыслите регулировать сам дыхательный процесс этого самого человечества?

И снова профессор заговорил так энергично, что даже метёлка его бороды запрыгала по животу:

— О, молодой человек, насколько глубок ваш вопрос, настолько ответу просто. Можно сказать, элементарно! Вам и не нужно ничего регулировать. За вас это сделает мой автоматический дозатор потребления кислорода.

— Позвольте, — сурово, даже с некоторым возмущением произнёс Цимбал, — это каким же образом он будет дозировать нас?

— Автоматическим, автоматическим, мой юный друг! — дивясь непонятливости хозяина квартиры, отчеканил профессор. — И потом, я же говорил, далеко не каждый индивидуум получит половинную дозу своего суточного потребления. Во время физических затрат возрастает и расход кислорода. Это предусмотрено самой конструкцией моего дозатора. Если вы, батенька, не стучите топором, празднословите, как теперь, то на кой чёрт вам нужен кислород? К чему это расточительное транжирство природного вещества? Вот здесь — стоп! — и краник закрылся на половину делений. Вы чувствуете себя почти комфортно, в то же время и атмосфера не засоряется отходами биологического сгорания.

Тут уже вся компания разом загудела, недовольная тем, что дышать придётся вполовину лёгких. Даже Шиворотов промышчал что-то нечленораздельное.

— А где же будет находиться этот дозатор? Как он устроен? — летало с разных сторон. — Это что же, вроде собачьего намордника?

Волосатый профессор завертел головой и стал похож на лесного филина, потревоженного на гнезде.

— Ну, вот, — взмахнул руками профессор, дивясь бестолковости своих слушателей. — это же совсем маленький прибор, не более респиратора.

— Представляю, как будем выглядеть в этих респираторах, — сокрушённо покачал головой Иван Иванович.

— Нет, а как в них целоваться станем? — весело спросил Верходуев.

— погоди ты со своим целованием, — поморщился Иван Иванович. — Тут вопрос государственной важности. Тут о деле надо говорить. Как, например, мы, государственный служивый народ, станем общаться с простыми гражданами? Ведь у нас официальные приёмы есть. Всё по часам расписано. А тут — респиратор!..

Иван Иванович обиженно скривился. И все засмеялись.

Профессор же этот застольный смешок отнёс на счёт недостаточного развитого технического мышления присутствующих. Вопросы, обращённые к нему, конечно же, казались мелкими, недостойными его научного интеллекта. И он откровенно забавлялся, видя собственное учёное превосходство, благодушно поглядывал на нетерпеливо ёрзающего Григория Наумовича и загадочно улыбался запрятанной в бороду щелкой рта.

— Кстати, а как с животным миром? Ведь они тоже дышат, — решил напомнить о себе хозяин квартиры. — Вот с этой собачкой, например? — указал он на Грея и даже саркастически усмехнулся.

— Да-да! — присоединился к хозяину Петин, поглядывая на профессора как на возможного партнёра по сбыту этих самых таинственных дозаторов.

— Не всё сразу, друзья мои, не всё сразу! Для начала нужно решить проблему в целом с человечеством. А там и до иных живых существ черёд дойдёт, — оглаживая бороду и поглядывая вокруг живыми плутотавыми глазами, добродушно ворковал Рюхин.

Грея тоже не оставил безучастным научный подвиг профессора, его дозаторы казались просто возмутительными для собачьего достоинства. Что же выйдет, если и на его морду накинута, как изволил выразиться Пырышкин, этот респиратор? Тогда даже самого завалящего мосла на улице не подхватишь! Это что же за наука такая? — молча возмущался он, лёжа возле ног хозяина. — Это не наука, а форменное издевательство над его собачьей породой!

И Грей от досады принялся грызть краешек половика, сплетённого из цветной заморской пряжи.

А профессор, воспользовавшись лёгким замешательством гостей, принялся жаловаться на своих коллег, среди которых лжеучёных, по

его словам, оказывается, больше, чем мух на городской свалке. Вот они-то, эти бескрылые невежды, и ставят подлинной науке палки в колёса. Если бы не они, жалкие завистники, столько новых научных достижений он бы наоткрывал! А вот не дают хода, собаки.

— У нас вся кафедра засижена ими. Живого слова не скажи, — с грустью ронял профессор в свою необъятную бороду. — Зависть — злостный порок современной научной среды. Если и дальше так пойдёт, то и живых Менделеевых не останется.

Он склонил голову и принялся теревить бороду в ожидании встречного сочувствия. Но его не последовало.

Молчание компании показалось профессору обидным. Он досадливо скомкал бороду и засобирался домой.

25

Хозяин Грея в разговорах обычно придерживался гладких языковых оборотов. Однако в порыве вдохновения, когда его заносило, мог сплести такой замысловатый словесный узор, которому и сам потом дивился, откуда это у него? И, закрывши глаза, бормотал возбуждённо: «Ах, ты, шоколадом тебя умой, до чего же складно!».

Но подобное настроение выпадало редко, говорил он всё-таки мало, старался больше слушать, памятуя о том, что молчание есть золото. И надеялся выудить для себя нечто необыкновенно умное, свежее и такое полезное, что он тут же и обратит его в настоящее золото.

Но, к досаде Клима Савельевича, не было этого необыкновенно умного. Гости часами молотили бог знает что и, выходяло, говорят вроде бы ни о чём. Тут даже Грею становилось тошно от их речений.

А сколько было рассуждений о том, что случится со страной, если вдруг недра нефтью оскудеют. Что станет с ними? С господином Скоропудовым? На какие шиши счастливую жизнь, в таком случае, устраивать?

Как-то до полуночи просидели, рассуждая о вреде сомнений. И с одной, и с другой стороны обсасывали эту тему, заходили и с конца, изжевали вдоль и поперёк. В конце концов, обсосали этот вопрос, как сладкий леденец, до самой палочки. А какие глубокие подкопы рыли. Тут и самая прочная бетонная стена рухнула бы, встань на их пути. И себе напрочь голову задурили, и Грею все мозги повывернули.

Цимбал утверждал, что не сомневаются лишь одни дураки.

Пырышкин, хотя отчасти и придерживался такого мнения, но, однако, не совсем, и тянул краешек одеяла в свою сторону.

— Нет, как можно сомневаться в том, что очевидно? — начал он рассуждения. — Вот, наша партия объявила: к двадцатому году полностью решим квартирный вопрос, разве могут быть в том какие-то сомнения? Это же глупо и нерационально.

— Смотря для кого, — не замедлил уцепиться его Шиворотов.

— Для всех, голубчик. Для всех без исключения! — ответил Иван Иванович и добавил: — Для любого из нас, если, конечно, сами того пожелаем.

Петин, обычно державший сторону Пырышкина, здесь самым неучтивым образом поскользнулся и с обыкновением простодушия ляпнул, не подумавши:

— Так это и нынешнее поколение должно бы жить при коммунизме.

— А мы и живём, — хохотнул Верходуев. — Если и дальше с умилением взирать на наш оффшорный бандитизм, будет нам и белка, будет и свисток.

Но Иван Иванович немедленно пресёк легкомыслие Георгия Наумовича, а на Петина посмотрел зло и недоброжелательно. Тот притих и виновато засопел.

— Есть вещи, которыми не шутят, — строго произнёс Пырышкин. — Сомнение как раз из разряда подобных явлений. Да оглядитесь вокруг, — расправил он руки так, что, будь они крыльями, непременно вознесли бы его в неизъяснимо-высокие синие дали. — Очевидность сама лезет в рот, а мы не замечаем её.

— Да-да, — подхватил Кошёлкин, — так лезет из каждого телеканала, то в виде преобразователя-чародея, то в образе матушки ясновидящей, по одному мокрому пальцу распознающей судьбу человечества!

Пырышкин обозлился.

— Что ты мелешь? — наливаясь багровой яростью, вскричал он. — Знаешь что, батенька мой, сомнения, если угодно, не только порочны по своей природе, но и антигосударственны! Они и заводят нестойких людей, подобных вам, в такие дебри, где любая польза от наших либеральных реформ выглядит сомнительным местом. А это уже дело политическое и крепче восклицания: «А всё-таки она вертится!». И пахнет чистой воды экстремизмом. А за экстремизм у нас, сами знаете, что бывает. Соответствующая статья имеется в уголовном кодексе.

— Нет, вы чего нас запугиваете? — возмутился Шиворотов. — Здесь дискуссия, а не судебный процесс. И вы, слава Богу, не Вышинский!

— Я не запугиваю, Боже упаси! — отчего-то пошёл на попятную Иван Иванович, прижавши руки к груди. — Я говорю в том смысле, что не сомнения, а человеческая вера в систему — наш вдохновитель и рулевой. У правды своя душа и она вся на виду. Правда ходит нагишом...

Грей лежал в углу за шторой, слушал их шумный спор и дивился: и ведь какие умные доводы выхватывают!

Часы пробили двенадцать, а они всё ещё спорили. Грею хотелось крикнуть: «Да уймётесь вы когда-нибудь!.. Э-хе-хе, время-то какое шальное. Не знаешь, на кого положиться».

Но, нет-нет, потихоньку умолкли и разошлись. Цимбал сразу же завалился в постель.

Посуда осталась неубранной до прихода Руты.

Этот вечер Грею показался на удивление спокойным. По случаю грибов спор не успел набрать должных оборотов.

— Что-то зарাপортовались мы, — с конфузливим значением произнёс Иван Иванович. — От ума, говорят, одни неприятности...

— И верно, — спохватился Верходуев, — это ещё Грибоедов отметил. А ну-ка, что нам жребий наш сготовил? — поднимая салфетку и принимаясь к тёплому духу из горшочка, проговорил он, широко улыбаясь. — О, не хочешь да съешь!

Грибной дух сразу напомнил о лете, за столом воцарилось тепло деревенского вечера, о котором у присутствующих были самые смутные воспоминания, оставшиеся от увеселительных выездов на шашлыки.

Про себя они знали, кто они и чего хотят. Расхожую житейскую премудрость «От работы лошади дохнут» ещё с подростковых лет усвоили.

Цимбал даже и в мыслях никогда не держал, чтобы стать жнецом, ковалём или кем там ещё. Только управленцем, только чиновником большой руки! В крайнем случае, пристроиться где-то у раздачи, ближе к товарно-продуктовым рядам.

Это у него считалось стремлением к высокому. «К высокому надо стремиться, высокое надо искать...» И здесь главные надежды возлагались на партию власти, на её неограниченные возможности. Для того и вступили в неё.

И он, и его приятели рассуждали исключительно в русле нового времени, по-житейски верно и прагматично. Без партии власти, без её решительной поддержки, говорили они, высоко не подняться, не достичь ни манящих властных вершин, ни золотых банковских бонусов.

И всё-таки главным рычагом успеха, упования на счастливый карьерный взлёт считались деньги. В своих откровенных рассуждениях, спорах о жизни они постоянно приходили к одному и тому же заключению, что партия власти — это сила. Но и без неё худо-бедно куда-то можно ушагать. А вот без капиталов — совсем безнадёга. Это всё равно, что ты без ноги. Может, и допрыгаешь до ближнего поворота, а дальше что? Ложись и помирай? Или вливайся в общую массу электората. Бегай, как Жучка, за куском предвыборных прельщений? Голосуй неведомо за кого, за олигархическую подставу. И оставайся ни с чем? Нет уж, хрен им в сумку! Не дураки.

Грей долго ломал голову, кому и что в сумку, но так ничего и не понял.

Непонятно было и другое. Как это люди могут сходить с ума из-за каких-то жалких бумажек? Добро бы, кусок говядины или сахарная косточка. А то ведь обыкновенная бумага, хоть и разрисованная!..

Денег приятелям хозяина, как и ему, хотелось иметь непременно много. Не меньше, чем у господина Скоропудова. И перед хозяином

возникала одна, как он говорил, трудноразрешимая дилемма: чтобы иметь много денег, надо обладать большой властью, а чтобы овладеть этой властью, опять же, требуются большие деньги.

Вот он и думал, как бы исхитриться так, чтобы одной шапкой сразу двух жар-птиц накрыть. И потому как они с Верхоудевым удручённо говорили об этом, Грей догадывался: не получается.

Наблюдая за гостями, слушая их рассуждения, Грей понял одно: меж людьми не так уж всё согласно. Тоже порой собачатся покрепче, чем собаки. Тоже не в святости живут.

Подрёмывая на коврике, он нередко вспоминал девочку Настю, старуху Сыпугину и её странную присказку: «Где темно, там нечисто».

В квартире Цимбала было и светло, и чисто. Большая круглая люстра под потолком переливалась хрустальными висяюлками, излучая радужный блеск. Шторы на окнах изливали оранжевую теплоту.

О чём хотела сказать старуха, Грею было непонятно и тогда, и теперь. Может, имела в виду свой низенький курятник с прохудившейся крышей, с единственной хромой хохлаткой, которая питалась тем, что во дворе находила. Наверное, потому и нестись не могла. Но зато громко кудахтала, забравшись на насест.

Вместе с хохлаткой они спали в этом худом курятнике. Курочка дремала на жёрдочке, а он — внизу под ней, на земляном полу. Тогда он ещё не знал другой жизни. И ему было хорошо и привольно.

27

Охотнее других о деньгах говорил Верхоудев. О нём было известно, и теперь не бедствует. Будучи продюсером эстрадной группы «Полевые дрозды», имеет определённый доходец. Держит кое-какой капиталец в коммерческом банке. Да и валютной наличностью располагает.

Но ведь как бывает с человеком широких запросов и кипучей натуры? Всё мало. Больше хочется.

Этого Верхоудева Грей ещё при первом знакомстве раскусил. Да и несложно его было раскусить, не в броню же закованный, весь на виду. К нему и компания относилась легко и весело. Говорил он часто не по делу, но пустой бочкой его никто не называл.

Черноволосый, ростом под два метра, в массивных роговых очках на тяжёлом лошадином лице, он и сам смотрелся породистым гривастым жеребцом. Среди гостей Цимбала это был настоящий исполин.

Одевался Верхоудев просто, без модных штучек: затёртые джинсовые штаны, белые кроссовки, красная рубашка без галстука, замшевая рыжея куртка.

Кто знал его в деле, говорили, что это — настоящий удав. И не заметишь, как придушит, а копейку выжмет.

Для концертной деятельности он предпочитал набирать писанных красавиц из числа деревенских простушек. Хотя и городские девуш-

ки, жаждущие эстрадной славы, легко покупались. Но с деревенскими было проще. А уж подъехать к ним он знал, с какого бока.

Покупались на одну и ту же приманку, на одни и те же слова: «Ба, милая, глазищи-то! А ресницы, бог ты мой! Да с вашими данными, девушки, разве позволительно киснуть в забвения глуши? Да разве вы созданы для этого пахнущего, извините, навозом поля? Да вы же уже сейчас суперзвезда! Да вам Пугачёва в подмётки не годится!».

Срабатывало безотказно.

Надо сказать, его «Полевые дрозды» гастролировали вполне успешно, но в основном в пределах губернских границ. За пределами региона были свои «дрозды» и конкурентов терпеть не желали.

У себя же в губернии Верходуев был всем продюсерам продюсер. Настоящий король местного шоу-бизнеса. А всё равно недоволен ни собой, ни своим положением. Человек имел сокровенную мечту и говорил о ней с тоской в глазах: «Эх, хапнуть бы миллиончик! Да зелёными! Вот было бы!..».

А что было бы, наверное, и сам не знал.

По его аппетитам ему бы в крупных финансистах ходить, но Бог не сподобил такой милостью.

С людьми влиятельного круга Григорий Наумович становился самой любезностью, а вот с подчинёнными был — огонь! Искусства он по-настоящему не знал, не любил и не учился ему. Просто выпало корчиться вокруг искусства, вот и делал на нём свой бизнес.

Певичек презирал, называл продажными девками, но и умело пользовался слабостями, разжигая в их сердцах извечный азарт сценического соперничества.

Эксплуатировал их нещадно и не только в левых концертах, которые лукаво называл благотворительными. Наиболее аппетитных и покладистых поставлял приятелям, богатым скорохватам, известно для каких надобностей. При этом не уставал похвастаться: «Этих звёзд у меня, как песка в детской песочнице. Я их словно глиняные свистульки леплю. Дайте мне любую глухонемую тёлку, хотя бы чуточку не уродину, главное, с длинными ногами, я её в два счёта раскручу до звёздного бума. Мужики штабелями будут валиться, вопя: «Звезда, звезда!». А эта звезда всё равно, что лоханка. И поёт за неё обыкновенная магнитная катушка. Под «фанеру» и медведь зальётся соловьём».

Эстрадная группа Верходуева размещалась в деревянном флигеле хозяйственного двора областной филармонии. Арендовал он этот неказистый флигелёк совсем задарма. Ну, директору ещё давал на лапу. Флигель был удобен тем, что находился недалеко от квартиры Григория Наумовича.

Помещение, ещё дореволюционной постройки, снаружи выглядело совершенной рухлядью, обшарпанное, с отвалившимися налич-

никами, оно вполне устраивало группу. Есть квадратный зальчик для хранения инструментов, аппаратуры, для репетиций музыкантов, вокалистов, для девушек-подтанцовщиц. Здесь же, за стеной, располагался кабинет самого Верходуева, крохотный, но по-домашнему уютный.

Обставлен он был, можно сказать, с аскетической скромностью, без теперешней показной роскоши и пышных изысков: письменный стол возле единственного окошка, холодильник «Саратов» ещё советского производства, утомлённо погромыхивающий в углу, два стула, фанерный шкаф, оклеенный золотистого цвета обоями, облезлый кожаный диван за шкафом.

Ещё висела большая фотография за спиной Верходуева. На ней была запечатлена безумно популярная примадонна в затейливо широкой кацавейке до пупа, с толстыми умасленными ляжками, втиснутыми в тесные голенища высоких сапог. И сапоги, и ляжки — всё это было дано крупным планом.

Девицы, давно работающие у Верходуева, прошедшие, как говорится, все эстрадные огни и воды, знаменитый диван в кабинете продюсера окрестили «диваном для прослушивания». А сам флигель с некоторых пор стал называться «Ла скалкой».

Пошло это с одного памятного и довольно скандального случая. Певичка Кистана (впоследствии изгнанная из группы), замеченная в давних связях с продюсером, в один из дней совершенно неожиданно узнает, что на вечер её любезный обожатель назначил «прослушивание» восходящей звезды Руты Печёрской, длинноногой блондинки с невинным, мягко обволакивающим васильковым взором.

Кистана, не будь дурой, в нужный час набирает телефон Майи Андреевны, жены Верходуева, и докладывает: так, мол, и так, не знаю, чем вы занимаетесь, голубушка, в этот славный вечер, а вот ваш любезный супруг, известно точно, в данный момент собирает клубничку в своём кабинете с одной юной прелестницей.

Жена Верходуева, женщина серьёзная, нрава крутого и вовсе не робкого, бросает лепить пельмени на ужин, берёт скалку, обёртывает её газетой и решительно торопится по известному ей адресу. И, надо же, подгадывает к самой высокой ноте пикантного «прослушивания».

Дальше можно и не рассказывать. Трепали длинные языки, будто бы полуодетая Печёрская, словно мячик, летала из угла в угол под скалкой Майи Андреевны и всё визжала: «А не было ничего!».

Досталось и Григорию Наумовичу. Неделю не сходила шишка с его лошадиной головы.

Вот с того и пошло — театр Верходуева «Ла скалка». Диван для прослушивания.

Но с Григория Наумовича, как с гуся вода. Никакая шишка не лишила его горячего желания иметь денег и много, и чтобы сразу. Манящий хруст валюты в его мозгу порой рождал такие причудливо — не-

обузданные комбинации, что оставалось лишь удивляться: и как только подобное могло придти на трезвую голову?

Грею и припомнить теперь трудно, сколько раз довелось наблюдать одну и ту же картину.

Ещё утро. Цимбал нежится в постели, а Верходуев уже шаровой молнией влетает к своему другу, чтобы насмерть перепугать очередным прожектом мгновенного обогащения. Иные из них так пугали хозяина, что заставляли хвататься за голову.

Верходуев, например, предлагал заняться торговлей таинственной «красной ртутью». Предлагал в содружестве с афганскими талибами наладить производство героина для дальнейшей перепродажи в студёные скандинавские страны.

В его планах была и организация поисков золотых кладов хазарского каганата где-то в бескрайних просторах Калмыкии.

Цимбалу нельзя было отказать в иронии и он не преминул предложение Верходуева встретить злорадной насмешкой:

— А может, сразу примемся за копи царя Соломона?.. Да твои хазарские клады давно Алимжанов на шахматную корону переплавил.

Однажды Григорий Наумович прибежал к Цимбалу с детально разработанным планом ограбления коммерческого банка. Он, оказывается, уже и необходимые химические компоненты закупил для производства десяти взрывпакетов.

— Почему десятка? — с немалой долей злого сарказма спросил Цимбал. — Почему не пять, не восемь?

— Для большего шумового эффекта, — отвечал Верходуев.

Клим Савельевич и обрушил на него свой праведный гнев. Он с такой сердитой страстностью принялся отчитывать друга, что Верходуев растерянно попятился. Встал у порога и топтался, бессмысленно пуча глаза.

— Вот скажи мне, Григорий Наумович, ты в своём уме или совсем уже того? Ты думаешь что-нибудь своей башкой, когда предлагаешь? — заглядывая в лицо Верходуева и вставая при этом на цыпочки, дрожащим голосом отчитывал Цимбал. — Да мы и кашлянуть не успеем, как нас повяжут, словно баранов, вместе с этими деньгами! У тебя что, может, депутатский иммунитет в кармане?.. Ах, нет иммунитета?! — издевался Цимбал. — Тогда заткнись и сопи в тряпочку!.. Нам нужно совсем не то, — и доверительно понизил голос: — Нам нужно иное, что-то вполне легитимное, юридически невинное...

Не прошло и недели, как Верходуев нашёл именно это «юридически невинное и легитимное».

— Эврика! — вскричал он ещё с порога, вскидывая над головой большие волосатые руки. — Ура, Климчик! Ура! Не поверишь, мы создаём фирму по оказанию помощи инвалидам и безнадежно больным старикам. Начнём, так сказать, культурно обслуживать пансионаты и

дома престарелых. Моя музыкальная группа хоть завтра готова на подвиг! Дело за юридическим решением. А для рекламы нашего альтруистического действия создадим журнальчик. Ну, скажем, «Врата рая»... Здорово ведь? И, главное, гламурно. Вполне в духе времени.

И Верходуев, потирая ладони, радостно хохотнул.

— Ты что, не рад? — удивился он, глядя на медленно вникающего Цимбала. — Вот увидишь, Климушка, какие социально бесхозные капиталы потекут в наши кузова. И, главное, всё, как ты пожелал, совершенно легитимно, на законных основаниях! Старики живут, как и положено, умирают, мы с музыкой торжественно хороним, отхватываем свой кусок дохода!.. Может, что-то прихватим из личных сбережений. Не тащить же на тот свет им бренные пожитки свои?.. Не жлобы же, в конце концов, тоже честные христиане!.. Отбарабанили отпущенный срок и полетела душа к вечным пределам! Тут для них и ритуальные услуги, и музыка для улады праха. А ныне здравствующим обеспечим надлежащее культурное обслуживание. Как без этого человеку, пусть даже старику? Мои куртизанки зададут им такого трепака, что и безногие воспрянут.

Верходуев был так взволнован и так возбуждался, что его массивные очки при каждом вскрике, кажется, радостно взбрыкивали на широкой переносице, а сияющее лицо приобрело цвет оранжевого апельсина.

Цимбал стоял, молитвенно прижимая ладошки, и думал, мелко шевеля губами. В халате до щиколоток он походил на цветущего католического монаха, озабоченно творящего молитву.

Но вот он успокоился и его лицо просияло.

— Это и есть то звено, которого давно искали! — объявил он, стараясь быть спокойным, хотя глаза его блестели, как только что вымытое стекло. — Вот эту идею и следует хорошенько проработать. Думаю, проект имеет полную перспективу на успех.

И Цимбал задумчиво принялся ходить по комнате. Затем остановился, огладил подбородок и остановил свой взгляд на Верходуева.

— Я вот что подумал, Григорий Наумович, проект хорош. Но без поддержки Скоропудова нам не обойтись. Придётся в ножки упасть, попросить замолвить, где надо, словечко. Ему ничего это не стоит, а нам — верная подпорка... Ну и на лапу придётся кое-кому дать. Ныне, сам знаешь, и чихнуть без этого невозможно. Так что придётся потратиться. Создадим фирму, отыграем своё... Одним словом, жребий брошен, как говорили древние! — засмеялся он.

— Дай-то Бог! — истово произнёс Верходуев, хотя все знали, что он не верит ни в Бога, ни в чёрта.

Они сели за стол и принялись обговаривать план проекта в деталях. Организационную сторону брал на себя Верходуев, юридическое обеспечение ложилось на Цимбала.

Верходуев довольным и весёлым ушёл домой. Цимбал сел за бумаги. Работал он всегда неторопливо, любил основательность во всём, не позволял себе скакать шальным аллюром. Он же не Верходуев, в конце концов. Тот и сам всегда на рысях, а уж мысли постоянно пускает в галоп. Если же намечалась пожива, тут никакого удержу. Тут и сами мысли неслись таким бешеным карьером, что ветер свистал в ушах.

Но и спотыкался Верходуев довольно часто.

28

Вот и на новом проекте споткнулся. Нашлись люди поушлее, похлеще да порасторопнее его. Буквально на следующий день Цимбал узнаёт: опередили их с проектом. И опередила не кто-нибудь, а сама царица кирпичного производства мадам Дятлова. Она успела прибрать к рукам не только пансионаты, но и соответствующего направления журнал открыла. Уже пробный экземпляр в областной думе у Скоропудова лежал на столе.

Весёлый получился журнальчик, глянцевоый, нарядный, как весенняя бабочка. Цимбал увидел его, полистал и едва не заплакал от досады.

Мадам Дятлова организовала и контору ритуальных услуг, не упустила и культурный досуг стариков. Вокально-танцевальная группа «Огневушки-посакавушки» теперь, оказывается, работает на её фирму.

Девушки объезжали губернские пансионаты и своими огневыми номерами зажигали стынувшие старческие сердца!

Ох, и вскипел Цимбал, обозлившись на мадам Дятлову. Будь такая возможность, на месте разорвал бы. Так и придушил бы эту пронырливую щуку. Но вспомнил, кто за ней стоит, и сразу поостыл.

«Вот профсоюзная шлюха, с криминалом путается! — уже дома рычал он, не находя себе места и пиная подвернувшиеся Рутинны тапочки. — И когда только успела?..»

Ещё больше рассердился на Верходуева. «Остолоп, горлопан! — это самое нежное, что было сказано в адрес друга. — Носится, как жеребец, и всё мимо!»

Он набрал номер Верходуева и выдал ему на гора, вылепил всё, что можно было вылепить.

Неизвестно, как дальше повёл бы себя Клим Савельевич, не пробейся светлый луч в пасмурное царствие его души. Пробылся он самым непредвиденным образом.

Был будний день, Клим Савельевич, проснувшись, долго нежил-ся в постели. Его хозяин с группой олигархов и правительственных чиновников развлекался в Куршевеле, и незачем было торопиться в офис. В десять утра он собрался с Греем на прогулку. Был уже одет, снял поводок с крючка, как вдруг снизу позвонили в домофон. Мужской уверенный голос спросил, чётко выговаривая слова:

— Это квартира адвоката Цимбала? Мне по личному делу.

Клим Савельевич не очень охотно принимал посетителей у себя дома. Делал это крайне редко, потому немало удивился неожиданному утреннему визиту. Он недоумённо пожал плечами и уточнил:

— Извините, вы по какому вопросу? Если по депутатским делам, прошу в общественную приёмную господина Скоропудова по вторникам и четвергам с 11 до 18.

— Нет-нет, — заторопился голос, — вопрос у меня сугубо личный, касается исключительно нас с вами.

Это ещё больше удивило Клим Савельевича. Он потоптался в полном недоумении, разочарованно повесил ремешок на крюк и, пробормотав: «Вот ещё!» — нажал кнопку домофона.

— Поднимайтесь! Второй этаж, дверь справа! — бодро крикнул в трубку.

Не прошло и минуты, как на пороге выросла мужская фигура ладного, в спортивной курточке брюнета, с тонкими чертами лица, с правильным хрящеватым носом и еле приметной полоской шрама над аккуратно подбритой бровью.

Мужчина огляделся быстрым шарящим взглядом и вежливо представился:

— Шурыгин, если угодно.

Цимбал и без того видел, кто перед ним, и стал похож на лист бумаги, скомканный одним движением руки. Пожаловал не кто-нибудь, а признанный авторитет криминального мира сам Шурыга, он же предприниматель и держатель казино господин Шурыгин.

Город был хорошо наслышан о нём. И Цимбалу были известны кое-какие подробности из жизни столь примечательного человека. Ему нередко доводилось сопровождать хозяина на общегородские тузовки деловых людей. Вот там и лицезрел этого Шурыгу. И не только лицезрел, но и слышал презрительные шепотки в зале: вот, дескать, с какими людьми приходится общаться теперь.

Шурыгу явно побаивались. Рассказывали, что ещё в подростковом возрасте он в составе банды известного уголовника Палыча участвовал в вооружённом ограблении инкассаторской машины. Были жертвы. По малолетству он тогда получил минимальный срок, а главаря расстреляли по приговору суда.

Наказание Шурыга отбывал в Сибири. Там же снова был осуждён и коронован за необыкновенные криминальные доблести.

Затем в самый разгар митинговых страстей возвратился в город, по слухам, в качестве смотрящего, и сразу же включился в бизнес. Получил официальное добро на организацию спортивных клубов по подготовке мастеров боевых искусств. Лишь узкий слой посвященных знал, что это за клубы и каких спортсменов готовят. Из своих подвальных качков Шурыга сколотил несколько бригад, промышлявших рэкетом. Они и взяли под свой контроль городские торговые точки, про-

изводственные кооперативы, подобно моллюскам, облепившие корму государственных предприятий. Шурыгинские братки с успехом доили, как старых красных, так и новых правых директоров, жиреющих на воровстве и построении рынка на отдельно взятом производстве. Непонятливых, тех, кто пытался артачиться, учили уму-разуму, а попросту — отстреливали.

Директор параколесного производства Жернов оказался человеком и жадноватым, и до глупости принципиальным. Не захотел делиться нажитым, ну и поплатился. Шлёпнули прямо на пороге его доходного кооператива. Коллеги-кооператоры устроили ему пышные похороны. Могилу выкопали на том же участке, где хоронили «братков». Только у тех надгробия были вроде статуй в полный рост, а Жернову привезли огромный валун с выбитой на нём надписью: «Здесь покоится славный герой перестройки, павший от бандитской пули за демократию и наше светлое будущее. Покоя тебе, дорогой товарищ». Фамилия и дата.

Сам Шурыга в милицейских сводках не засвечивался. Он сидел, как паук в гнезде, и скрытно плёл тенёта. С виду это был более чем добропорядочный гражданин. В отличие от тогдашнего губернатора, малиновый пиджак если и напяливал, то к месту, на сходку или «забитую стрелку». Золотыми цепями тоже не обвешивался, как иные паханы. Одевался чисто и даже изысканно, был в меру вежлив, щедр на спонсорскую раздачу, в бизнесе успешен. Пристроившись к городскому бюджету, занялся поставкой импортного инвентаря для спортивных обществ. Поговаривали, засевшей тогда в кресло главы города Свистушкин был у него на содержании.

И Цимбал теперь гадал, зачем понадобился столь опасному человеку? Его глаза выражали готовность услужить.

— Вы несколько удивлены? — вежливо произнёс Шурыга, стоя поборцовски на крепко расставленных ногах с пронизательным прищуром ощупывая Цимбала.

— Нет-нет, ничуть, — заторопился хозяин.

Шурыга прошёлся по ковровой дорожке, внимательно огляделся, заметил дамские принадлежности на туалетном столике, женскую шляпку, небрежно брошенную на трюмо, едва приметно усмехнулся. Губы у него были тонкие и сухие:

— Надеюсь, мы одни в хате? — уточнил он, продолжая оглядывать квартиру.

Цимбал неопределённо пожал плечами и посмотрел на Грея.

— Ничего. Собачка промолчит, — насмешливо произнёс Шурыга. — А не будет молчать, мы ей сделаем чик-чик.

Не ожидая приглашения, гость прошёл в зал и по-хозяйски бухнулся в кресло.

— Я, собственно, ненадолго, — с наигранной вежливостью произнёс он, вскидывая глаза на бестолково топчущегося Цимбала. — У меня

к вам одно, как это у вас, юристов, говорится, конфиденциальное поручение от вполне уважаемого человека.

— И от кого, если не секрет? — с испуганной поспешностью спросил Цимбал.

Он чувствовал опасность, исходящую от гостя, и волновался так, что пересохло в горле.

Шурыга испытующе посмотрел на него и, помедлив, ответил:

— В общем-то, это не так и важно. Но, если хотите, я здесь по просьбе предпринимателя Нины Егоровны Дятловой. Слышали, наверное, владельца кирпичных заводов, кондитерской фабрики и прочая, прочая?

Произнесено это было с небрежным безразличием и каким-то даже барственным самодовольством.

Взгляд у гостя был тяжёлый и вязкий. Глаза серые, с тревожным блеском.

— Да вы присядьте, — предложил он хозяину. — Мы же не в ментовском отстойнике. И сразу давайте к делу.

Шурыга расстегнул молнию курточки, извлек из нутряного кармана пачку долларов, совсем новых, гладких, хрустнувших в его пальцах, как свежий капустный лист, и небрежно бросил на стол.

Цимбал, вобрав голову в плечи, смотрел на доллары с робостью и опаской. Они притягивали своей заманчивостью и были по-особому привлекательны, отражаясь коричневой тенью на полированной крышке стола.

— Здесь ровно двадцать кусков, — сухо объявил Шурыга. — Это лишь аванс. Вам каждый месяц будут платить столько же при одном совсем мизерном условии. — Он свёл два пальца, большой и указательный, не оставив между ними никакого зазора, и показал, каким крохотным выглядывает этот мизер. — Нам известно, что вы работаете с документами фирмы Скоропудова, — снова вскинул гость испытующий взгляд на хозяина.

Тот помялся и нехотя выдал:

— Случается...

— Вот и отлично! — одобрил Шурыга. — От вас требуется всего-то ничтожный пустяк. Вы будете отшлёпывать на ксероксе эти ксивы и передавать нам. Вот и вся маленькая услуга. Но зато какие деньги!

И Шурыга быстро поднялся с намерением распрощаться.

— Даже не знаю, — смущённо произнёс Цимбал, искоса поглядывая на доллары и переминаясь с ноги на ногу. — Возможно ли это?

— Возможно, возможно! — убеждённо подтвердил гость и похлопал хозяина по плечу. — Это лишь аванс, — повторил он, указывая глазами на доллары. — А услуга совсем пустячная. Но, если будет соблюден наш интерес, вы тоже не останетесь в пролёте. И вам отпилим кусочек трубы. Дело-то для вас совершенно беспроектное. Так что дерзайте!

И Шурыга, взяв в свою твёрдую руку безвольно вялую ладонь Цимбала, крепко сдавил её.

Прежде чем уйти, он ещё раз осмотрел квартиру и похвалил:

— А у вас недурно. Вполне уютно. Ба! — удивился он, заглядывая на кухню и рассматривая длинный стол. — Совсем, как в морге. Думаю, до этого не дойдёт, хотя все мы смертны. — И, наморщив лоб, предупредил: — Надеюсь, обойдёмся без глупостей. Очень не хочется, чтоб они были... Надеюсь, понимаете, о чём говорю?.. И никакой связи по телефону... Вы же с собачкой гуляете? Когда нужно, мы сами найдём вас... И будьте осторожней, переходя улицу, — напоследок недвусмысленно посоветовал гость и легонько засмеялся.

Проводив Шурыгу, Цимбал закрыл дверь на ключ, побежал в зал, схватил доллары, засунул глубокое в ящик стола и остановился, соображая. Затем подхватил на руки Грея, подбежал с ним к окну и осторожно стал смотреть на улицу.

Увидел Шурыгу в сопровождении двух спортивно подтянутых молодых в цветных шароварах. Уверенной походкой человека, знающего себе цену, Шурыга шагал к чёрной иномарке с затенёнными стёклами. Прежде чем сесть в машину, пошарил глазами по окнам, видимо, догадываясь, что Цимбал наблюдает за ним. Клим Савельевичу даже показалось, что Шурыга лукаво подмигнул ему.

— Вот бандитская харя! — невольно вырвалось у него и он, бросив Грея, отпрянул от окна.

Вернувшись в зал, достал доллары, аккуратно пересчитал их и задумался. Что же такое замыслил Шурыга? Уж не рейдерский ли захват скоропудовского хозяйства? А пусть захватывает. Снимет жирок с этого Скоропуда. Ходит, земли под собой не чувствует. Совсем забронзовел, жирный боров!

И Клим Савельевич, потирая руки, радостно хмыкнул.

С этого дня хозяин стал бережливее к себе, сдержаннее и безразличнее к Грею. Даже с Рутой стал более холоден.

А жизнь текла своим чередом. По-прежнему по пятницам в квартире собирались шумные мальчишники, назначались деловые встречи, были и праздничные застолья, и ночи любовных утех.

Всё это близко касалось Грея, не могло пройти мимо, каким-то краем задевало, становилось частью его жизни. Он наблюдал, не наблюдая, учился, не учась. Просто само запоминалось и оседало в мозгу. В его памяти застряло множество словечек, диковинных по своей загадочности, порой недоступных пониманию не только передового собачьего разума, но и пониманию далеко не каждого человека. Среди своих собратьев он запросто мог щегольнуть такими модными выражениями, как «пиар», «инвестиции», «электорат», «гастарбайтер», «менеджер», «экстремист». Даже бесконечно дорогое сердцу иных политиков понятие «консенсус» накрепко засело в его хватком мозгу. И, когда предстояло выяснять отношения с чужой враждебно настроенной сворой, он вкрадчиво спрашивал Джека: «А стоит ли драться? Может, на консенсус пойдём?».

Но не знающий ни компромиссов, ни страха в битвах за подвластную ему территорию боксер окидывал спаниеля презрительным взглядом и уже одним своим видом посылал его подальше: «Пошёл ты со своим консенсусом! Пусть твои депутаты играют в эти дурацкие игры, а мы будем драться».

Грею в подобных случаях хотелось выругаться самым откровенным матом и бросить с презрением жожаку что-нибудь эдакое в духе общечеловеческих ценностей: мол, видел я этих депутатов в гробу в белых тапочках! Они такие же мои, как и твои, сволочь!

Но, вспомнив поучение Цимбала о том, что с начальником ссориться, всё равно, что против ветра дуть, он покорно отводил глаза и отходил в сторону.

Клуня однажды, послушав Грея и поразившись его необыкновенным познаниям, виляя хвостом, заметила не без дамского кокетства: «Да тебя, милый мой, хоть сейчас сажай в депутаты!».

Разумеется, она не могла знать, что такое — «депутат», но определённо догадывалась, что слово далеко не простое и не может не быть приятным, если столько людей стремятся в эти самые депутаты.

Ничего, должно быть, не бывает печальнее воспоминаний о минувших днях, особенно если они были радостны. Подобные воспоминания без конца толклись в чуткой душе Грея и, словно мыши, подтачивали его пылкое сердце. До чего же щемительно и сладко было думать о днях, проведённых у Цимбала. До того щемительно, что слёзы навёртывались на глаза. И он всякий раз, пряча их, отворачивал морду от своих собратьев. И думал, как глупо рухнула, оборвалась, разом кончилась его прошлая жизнь, и всего-то из-за какой-то нечаянной оплошки.

А ещё думал о том, как быстро бежит время и сколько важных упущений сделано им. Вот поживи он ещё хотя бы годик-другой у Клима Савельевича, до каких необъятных высот мог бы развить свой необыкновенный ум! А сколько бы ещё новых невероятных историй услышали его друзья под заунывный вой зимних вьюг и долгих метелей. Да, видно, не судьба.

Он давно заметил, что не только ему, но и его сожителям по берлоге из прежней жизни помнится лишь самое лучшее; то, что заставляет горько печалиться по безвозвратно отлетевшим дням, молчаливо тосковать и украдкой по-собачьи плакать. На виду же, щеголяя друг перед другом показной удалью, они делали вид, что даже самая тяжкая грусть-беда им нипочём. Они с удовольствием бравировали этой удалью и свои рассказы намеренно окрашивали в насмешливо-радужные тона.

Историю о том, как он оказался у господина Цимбала и какая жизнь у него там была, стая слышала от Грея, наверное, сотню раз и даже успела выучить назубок.

Началось же всё с этого арапистого Верходуева. Захотелось тому порадовать дружка в его день рождения. Вот он и приволок Цимбалу молодого спаниеля, кучерявого, с блестящей текучей шерстью, как взбитый шоколад.

До этого памятного случая Грей обретался в гнилом углу у вечно пьяной старухи Сыпугиной, похожей на одряхлевшую неповоротливую черепаху. Её завалившуюся избушку, с глухой стены подпертую двумя дубовыми вагами, можно было бы назвать избушкой на курьих ножках.

К Грею старуха относилась с полным безразличием, чаще всего просто не замечала. Живёт у неё собачка, ну и ладно.

Занималась Греем старухина внучка Настя — сирота, можно сказать, при живой матери, заблудившейся где-то в распутных дебрях молодой бесшабашной жизни.

Настя и подобрала Грея на улице, когда он был ещё совсем глупым щенком. Как он оказался на улице один, этого Грей не знает и не помнит. Скорее всего, вышел за хозяйские ворота погулять да и потерялся.

Внучку старуха жалела, потакала ей. Будучи во хмелю, смотрела на девочку умильными глазами и молча плакала.

Вот у этой старухи в подземном переходе за бутылку водки и был куплен спаниель господином Верходуевым. Григорий Наумович быстренько запрятал собачку в большой хрустящий пакет и поспешил к Цимбалу.

Грей морщил свой вихрастый лобик, растерянно хлопал глазами и не понимал, куда и зачем его несут. Дядька был чистый, огромного роста, одет опрятно и не должно быть у него худых замыслов.

Живя у старухи, он испытывал одно постоянное неудобство. Она без конца спотыкалась об него в крохотной избе, больно задевая своими рваными башмаками. Он взвизгивал и тем пугал старуху.

— Вертишься тут под ногами, — недовольно ворчала она, когда он, визжа, отскакивал.

И грозила:

— Выкину, как шелудивый репей, и лети на все четыре стороны.

Теперь её угроза, кажется, начинала исполняться.

Явившись к Цимбалу, Верходуев торжественно извлёк Грея из пакета и не менее торжественно произнёс:

— Со светлым днём появления тебя на свет, мой бесценный друг! Прошлый раз, помнится, подарил тебе ласковую кошечку-мурлышечку, на этот раз вручаю замечательного кобелька! Посмотри, какой красавчик! Весь словно шёлковый, колечки мягче бархата. Будет ноги греть тебе в постели.

Несколько позже Грей понял, про какую кошечку говорил Верходуев. Это он так называл певичку Руту Печёрскую, подружку Цимбала. Только какая же она кошечка, эта сладкая Рута?

Цимбал хотя и принял подарок, но должной радости не выказал. Не выказал и неудовольствия. Однако всё-таки изобразил положенное в подобных случаях приятное изумление, взял пёсика на руки, потихоньку погладил.

Грей настороженно осматривался, прижавши уши, и прислушивался к биению собственного сердца.

Похвалив собачку, хозяин вместе с Верходуевым тут же сотворили ей имя. С их лёгкой руки дворовый Шарик превратился в Грея.

У Верходуева, как у всякого суетного человека, имелась привычка вечно куда-то спешить. Он влил в себя две рюмки коньяка, походил по комнате, громко высасывая мякоть апельсина, попаясничал, похотел, размахивая большими руками, и отбыл по своим неотложным делам.

Не успела за ним закрыться дверь, как новый хозяин Грея резко швырнул его на пол и разразился крепкой бранью.

— Сволочь! — вскричал он, сверкнув глазами в сторону спрятавшегося под кресло пса и затягивая на животе пояс мягкого восточного халата. — Надо же, лошадиная голова, додуматься до такого!.. Ну, погоди, горилла, ты у меня тоже попрыгаешь, сволота! Уж я тебя умою!.. Получишь от меня презент! Тропическую жабу в ядовитом соусе!.. Уж запомнишь свой день рождения!..

Он, словно раненый зверь, метался по квартире, рыча и кляня приятеля, гневно дрожал румяными щеками и свистал голосами свежей грудной простуды.

Грей хотя и глупым был тогда, но уже кое-что понимал в человеческих отношениях. Чтобы не раздражать хозяина, он тихо сидел, прижав уши, и ждал, что станет дальше.

Мысли одолевали самые мрачные. Даже пришлось погоревать о том, что не довелось родиться человеком. «Вот она, пёсья доля, — вздыхал он, грустно уткнувшись мордой в лапы. — Никогда не знаешь, к кому попадёшь и что с тобой сделают».

Не прошло и получаса, как появилась та самая «кошечка» Рута Печёрская, подружка Цимбала. По правде сказать, она была никакая не Рута и не Печёрская. В деревне её звали Нюркой Козловой, а в школе дразнили Козлихой. Но Верходуев дал ей такое сценическое имя и она теперь гордилась им, иногда даже произнося вслух, стоя перед зеркалом: «Ру-у-та!..».

И вот эта Рута нарядной внешней бабочкой впорхнула в квартиру, наполнив помещение тонкими запахами духов и кремов.

Грей, как только увидел её, так и ахнул, молча, по-собачьи: до чего же прелестное создание! Длинноногая, с пепельными, по-русалочьи распущенными волосами. И одета необычно: зелёные шорты, малиновая безрукавка, расшитая серебряными нитями. Сплошь увешана слепящими глаза побрякушками.

Грей смотрел на неё с изумлением собачьего восторга и даже на мгновение позабыл о самом себе, о своём положении, полном томительной неизвестности. Рута так благоухала, была столь свежа и аппетитна, что даже хотелось её съесть.

— Ой, а это что за зверь? — удивилась Рута, увидев торчащий из-под кресла кончик собачьего носа.

Её широко раскрытые глаза с большими изогнутыми ресницами выражали и детский восторг, и недоумение.

— Откуда такое сокровище? — заглядывая под кресло, спросила она наигранным голосом.

Цимбал стоял посредине холла и мрачно взирал на Грея. Не разжимая зубов, он глухо процедил:

— Верходуй припёр!

— Вот сволочь! — сразу всё поняла Рута и бросила на ломберный столик замшевую, расшитую бисером сумочку. — Найдёт же что дарить, дрянь!.. А я тебе, милый, табакерку принесла.

И, чмокнув Цимбала в щёку, подала ему маленький блестящий предмет.

— Сказали, у Екатерины Второй была такая же.

— Ну, если у Екатерины, значит, я — Пётр Третий, — лениво пошутил Цимбал, разглядывая безделушку.

— Между прочим, чистое серебро старой пробы, — разглаживая молодое свежее лицо, с розовыми, как у фарфоровой куклы щёчками, кокетливо сообщила Рута, пятясь от зеркала, чтобы полностью увидеть в нём свою фигуру.

Она не заметила, как тугими икрами упёрлась в кресло и неосторожно туфлёй задела Грея. Он жалобно пискнул и нырнул под трюмо.

— Фу, гадкая псина! — испуганно отскочила Рута. — Надо же, напугал, сволочь! — И, вскинув на хозяина свои голубые, обволакивающие манящей ясностью глаза, кивнула в сторону Грея. — Послушай, Клим, вообще-то пёсик милый, только на фига он нам?

— Не нам, а мне, — строго поправил её Цимбал.

— Ну, пусть тебе, — легонько засмеявшись, согласилась она. — Всё равно, на фига?..

— А что делать? — хмуро потёр переносицу Цимбал. — Выбросить? Но это же негуманно.

— Гуманно, гуманно! — приплясывая, захлопала в ладоши Рута. — Новорождённых детей, вон, и то выбрасывают, а тут, подумаешь, паршивая собачка. Их вон сколько на улице! Одним пёсиком больше, одним меньше...

— Детей выбрасывают молодые трясогузки вроде тебя, — медленно ответил хозяин, — а я не такой.

— Ну, я-то тоже не трясогузка! — обиделась Рута. — Меня вон как публика любит!.. Тоже, сравнил. Для чего тебе собака? Куда её?

— Вот и я думаю, куда, — озадачился Цимбал, не переставая ходить к окну и обратно.

Грей догадывался, речь идёт о нём, решается его судьба, сидел смиренно, из своего укрытия кидая настороженные взгляды то на хозяина, то на Руту.

— Может, Живодёру?.. — произнёс Цимбал загадочную фразу и не успел договорить.

Резко и требовательно зазвонил телефон, он поспешил к аппарату, поднял трубку и тотчас вытянулся в струнку, словно солдат перед генералом. Даже его лицо испуганно напряглось и тоже слегка вытянулось.

— Да-да, Семён Михайлович, я мигом! Я сейчас, — торопливо проговорил он и, бросив трубку, заметался по квартире, на ходу вылезая из халата и хватая одежды.

Сколько потом Грей видел эту лихорадочную торопливость, со временем привык к ней. Но тогда видел впервые.

Рута, занятая ресничками, только и спросила:

— Хозяин?

Цимбал не ответил, подхватил с тумбочки портфель и вылетел за дверь.

— А как же с обедом? — крикнула вдогонку Рута.

— Без меня, без меня! — донеслось из коридора.

— Ну, вот, слышал, песик? Будем одни обедать, — заглядывая под трюмо, весело сказала она.

Грей решил, что она совсем не злая, и осмелел. Он выполз из-под трюмо и, виляя хвостом, перешёл на половик к порогу.

Голод мучил его со вчерашнего дня, но он привык к этому и терпел, глотая слюну. Даже при слове «обедать» не показал своей радости. Лишь покорно вздохнул, поджал к брюху лохматый хвост, уткнулся в него носом, одним глазом наблюдая за Руткой.

Она и вправду оказалась доброй: достала из холодильника сардельку и угостила его. Он с удовольствием проглотил и сладко облизнулся.

Рута подняла коврик, расправила и снова бросила к порогу, строго наказав:

— Вот тут и будет твоё собачье место. Ещё бы эту сволочь Верхо-
дуя рядом с тобой уложить. Козёл!..

С этого и началась его новая жизнь.

30

Хозяин нравился Грею меньше, чем Рута. Он не уставал восхищаться ею по-собачьи искренне и простодушно.

Рута и сама-то, кажется, не уставала восхищаться собой. Часами не отходила от зеркала, любуясь и профилем лица, и фигурой, и бесконечными нарядами.

И всё ладно гляделось на ней. Грея особенно умиляло колечко в её голом пупе. Такое маленькое, сверкающее при каждом движении, оно прямо-таки завораживало его.

У девочки Насти, когда-то подобравшей его, не было такого колечка. Как не было у неё и удивительных Рутиных нарядов. Они не могли не восхищать Грея. И порой, чтобы не показаться слишком назойливо любопытным, он делал вид, что не интересуется ею, что ему безразлична и сама Рута, и её восхитительные наряды, что он занят только собой, тем, что усердно вылизывает свою лохматую лапку. На самом деле очень даже интересовался и Рутой, и её украшениями.

Со временем он освоился, осмелел. Подробно исследовал каждый уголок квартиры, которую он нашёл и богатой, и просторной. Поражали не только её размеры, но и обстановка, какой не было в избушке старухи Сыпугиной.

Долго рассматривал шкуру неизвестного зверя, брошенную посреди зала, не решаясь к ней подойти. А когда любопытство взяло верх, подошёл, тщательно обнюхал и вздохнул с грустью и завистью. Шкура пахла лесом, травой и дикой звериной волей. Стало даже тоскливо оттого, что у него нет этой воли и гулять приходится на поводке под присмотром хозяина. У старухи он гулял сам по себе, когда вздумается. А здесь надо было ходить по часам дважды в день.

И всё-таки в его новой жизни появилось много хорошего. Живёт в тепле, спит на мягком коврикe. К тому же, далеко не каждой собаке выпадает случай вращаться среди интересных и важных гостей, слушать их речи и открывать для себя что-то новое, доселе не известное.

Слово «живодёр» он впервые услышал тогда же, живя у Цимбала, и оно насторожило его.

Грей и прежде подозревал, что в грубых, рычащих звуках людей есть какая-то тайная угроза. И теперь не без удивления открыл для себя, что эта угроза присутствует во всех предметах, связанных со словом смерть: ружьё, дробь, топор, заряд, верёвка. И в слове «живодёр» был этот смертный рычащий звук.

Тогда же узнал, что живодёром, даже страшно подумать, называют человека, занятого убоем животных. И такой человек существует и совершенно свободно живёт в их городе. Гости Цимбала называли его Василием Андреевичем Хлюстовым.

Хотя Грей никогда и не видел этого человека, да и, кажется, большинство гостей Цимбала никогда не видели его, но много были наслышаны и отзывались о нём с откровенно брезгливой миной. И только один Иван Иванович Пырышкин говорил об этом человеке в превосходных и даже восторженных тонах. Правда, и о себе он говорил восторженно и почему-то во множественном числе: «Мы, державные чиновники, единственная реальная опора рыночной демократии. На нас всё и держится. Остальное — мура, тряхни и полетят, как птичий пух по ветру».

Им было рассказано о Хлюстове немало забавного и поучительного, по мнению Ивана Ивановича. Свои рассказы он передавал с весёлыми подробностями, горячо и увлечённо. Но от этих его весёлых рассказов у Грея порой холодела кровь, ему хотелось завыть и даже укусить кого-то.

— Чудак-человек этот Василий Андреевич, — рассыпчато посмеиваясь и похрустывая пальцами, говорил Пырышкин внимающим ему гостям. — И чего может в нём не нравиться? Живодёр да Живодёр! Тоже выдумали кличку. А он, доложу вам, милейшей души человек! И какой это живодёр, если гражданин имеет к тому свою служебную обязанность? Почему мы палача не называем живодёром? — ставил гостей в тупик Иван Иванович, поблёскивая прозрачными линзами очков. — Да потому, дорогие мои, что каждая профессия по-своему важна и благородна. В стародавние времена даже имелось удовольствие человеку, осуждённому на казнь, большими милостями одарять своего палача. Ибо люди с пониманием относились к значению его профессии и видели большой государственный резон в том.

Палач, если он — настоящий палач, обязан, прежде всего, надлежащим образом исполнять свою работу. Не забыть, скажем, верёвку вовремя намылить, правильно наточить топор.

Профессионализм, други мои, в каждом деле не просто имеет место быть, но и по инструкции быть обязан. Вот к чему я вас призываю. И оплата здесь должна быть надлежащим образом отрегулирована, и отношение соответствующее.

А у нас что? Можно сказать, своего первейшего санитарного друга, экологического защитника, истребителя бродячих тварей готовы во всех смертных грехах обвинить! За что, спрашивается? За его профессиональную сметливость? Собака, она и есть собака. Что о ней толковать? Пнул её, и пошла вон!..

Иван Иванович на мгновение замер под упорное молчание гостей, загадочно сощурился и, как бы подмигнув гостям, заговорщически сообщил:

— А то, что Хлюстов с чудиной человек, — это верно! Но, опять же, кто из нас без чудинки?

И Пырышкин обвёл примолкшее застолье хитро прищуренными глазами, улыбаясь и заранее торжествуя.

Присутствующие, не выдержав его ликующего взгляда, хмурились и смущённо опускали глаза. И это невольное их смущение служило доказательством того, что и они в той или иной мере чувствуют в себе эту непременную чудинку.

— Вот и то-то! — торжествующе воскликнул Иван Иванович и радостно захохотал. — Нема слепых! Одни хромые...

Аптекарь Петин, молчаливо сидевший с отрешённо-задумчивым видом, тут вдруг подал голос и заговорил как о давно понятном и глубоко выстраданном.

— И правда, — начал он издалека, — здесь предстоит серьёзно разобратся. А что, если они — мутанты, эти собачьи особи? А что если с гуманоидами повязаны? Вон, даже крупные учёные не отрицают существования потусторонних миров. А теперь пусть и не во всю гласность, но уже заговорили о порочных связях наших женщин с представителями летающих тарелок. Сколько приводилось случаев подобных контактов! Десятки, сотни. Может, они и занесли к нам СПИД?

И Петин обвёл присутствующих вопрошающими глазами. Но, спохватившись, быстро сник под пристальным взглядом Пырышкина. Тот смотрел на него, как на помешанного, затем криво усмехнулся и пожал плечами. Остальные тоже усмехнулись.

С тех пор, как Иван Иванович ввёл в свой круг Петина, многое переменилось в их отношениях. Теперь он уже с трудом выносил аптекаря. Стал говорить, что никакой он не аптекарь, всю жизнь занимался сан-техникой, унитаза чинил в гостиничных номерах, а тут бросила жена по причине мужской неполноценности, он и загорелся аптекарским делом. Вот, пожалел его, помог с банковским кредитом и арендой помещения. Дело пошло на лад, теперь с жиру бесится, чудить начал.

Кошёлкин посмеялся, сказал, что свихнулся он вполне обоснованно на почве высоких прибылей по импорту лекарств.

У Петина, действительно, появилась чуждинка, которой прежде за ним не водилось. Он вознамерился создать собственную обсерваторию с мощным телескопом, начинённым современной электроникой, и завязать прочные контакты не только с представителями далёких миров, но и с миром тонкой материи. У него не было ни малейших сомнений по поводу воплощения его мечты. Дело стояло за капиталами, которые и сколачивал на продаже лекарств.

Разумеется, о его намерениях в компании говорили со смехом. Верховдеев делал это не только из-за того, что сама идея была бредовой, но отчасти из зависти. Он так и говорил:

— Чего не фантазировать с его наваром? Мне бы эти аптечные бабки, я бы и с планетой Венера контакт завязал.

И теперь все, кроме Верховдеева, смотрели на Петина с неловкостью и смущением.

Григорий Наумович, вознамерившись одним глотком махнуть свой коньяк, поперхнулся и закашлялся. Его лицо налилось кровью, из глаз выступили слёзы.

Петин догадался ладошкой постучать ему по спине. Верховдеев откашлялся, вытер слёзы, кинул в рот крупную ягоду белого винограда, раздавил языком, бумажной салфеткой вытер губы, скомкав, бросил на стол и немигающим взглядом вперился в лицо Пырышкину.

Вопрос с собаками ему показался гораздо интереснее петинских гуманоидов.

— Уж не знаю, как работает ваш благородный собачий рыцарь, —

со сдержанным недоброжелательством начал он, — но то, что у этого пигмея лицо злобного кролика, тут и сомневаться не приходится. Ему бы зайцев в мультфильмах играть. А он животных дерёт...

— Ну вот! — откидываясь на стуле и возмущённо морщась, шлёпнул себя по ляжкам Пырышкин. — Милый мой, если хорошенько посмотреть, все мы на кого-нибудь похожи! Надо чаще в зеркало смотреться. Ведь и сам ты не исключение. Тоже на кого-то похож...

Все заулыбались, зная, на кого похож их суетный продюсер.

— А насчёт работы Василия Андреевича извольте не сомневаться! — горячо продолжал Пырышкин. — Ещё раз доложу вам: она безупречна. По долгу службы мне очень даже часто приходится наблюдать его в деле. И знаете, — засмеялся Иван Иванович, — скажу, что это настоящий кудесник своей работы, поэт высокого искусства. Свежевание собаки для нас вроде бы грубое дело, а для него — исключительное удовольствие. Ни малейшей хмурости на лице. Напротив, всегда бодр и весел. А как в азарт войдёт, тут только держись, настоящую песню песней творит! Куда там до него мудрому Соломону! Даже со стороны любо наблюдать. Начнёт потряхивать головой, пританцовывать, необыкновенными телодвижениями взбадривать себя. И свет такой радости стоит в его глазах, будто небесное озарение нашло! А то ещё примется насвистывать что-то эдакое праздничное, залихватски-разудалое, разгульно-широкое, как сам народ наш.

Люба, Люба, Люба,

Любушка моя.

И ведь не пьёт! Трезв, как стёклышко, но до чего весел! Ножкой себе в такт пристукивает. Вот оно где, необъятное раздолье российской души!

Иван Иванович даже не заметил, как и сам для убедительности несколько раз притопнул туфлём под столом.

— Вот такой он человек, наш передовик и современник: и шкуру дерёт, и песенки поёт! Разве это пигмей? Сто раз скажу, нет! Это широкая российская душа просится наружу!.. Любить бы нам своё дело так же, как Василий Андреевич, тогда и демократия в стране пошла бы в стремительный рост!.. Нет же, нам только бы потешки! Хахушки да хаханьки!..

И за стёклами очков Ивана Ивановича мелькнула искра укоризненного неудовольствия.

— Вы ужасные вещи говорите, Иван Иванович, — не выдержал хозяин дома. — И вообще мы, кажется, не о том говорим. Сами отношения в обществе становятся скверными, как загаженный пустырь. А вы нас собачьим триллером потчуете.

— Верно! — поддержал его Шиворотов. — О душе, о душе надо думать! У самих в душах волки воют, а мы всё о собаках... Да, если угодно, без собак сам город зарастёт бытовыми отходами. В пищевых отбросах утонем. Крысы задушат.

— Нет, что вы тут нашли ужасного? Что за мистические настроения? Душа, крысы, триллер... Что за сантименты? — запальчиво заговорил Пырышкин, обращаясь, главным образом, к Цимбалу. — Извините, Клим Савельевич, но вы, как на облаке, живёте. Спуститесь, пожалуйста! Я ведь что говорю? Я говорю про настоящую жизнь, такую, как она есть. О человеке конкретного действия говорю, о его любви к делу, а значит, и о душе, если вам так угодно. Такое дело вряд ли можно исполнить бездушно... Вы вот кривитесь, вам не нравится. А кто же за нас будет дерьмо убирать? Что, опять, как всегда, Пушкин? Кто будет исполнять черновую работу?.. Вот мэрией принято решение в зиму город полностью очистить от бродячего поголовья, — по-хозяйски начал докладывать он. — Подлежат освоению около двадцати четырёх миллионов бюджетных средств. Кому прикажете осваивать их, как не Василию Андреевичу?.. Вам шуточки да прибауточки. А нам только одних ликвидационных машин нужно подготовить около десятка. Да ещё ответственных людей набрать, настроить их, обучить делу...

— Это что же за машины такие? Собачьи душегубки, что ль? — съехидничал Кошёлкин.

— Почему — душегубки? — возмутился Пырышкин. — Придумаете тоже, душегубки! Нашли сравнение. Никакие это не душегубки, — разволновался Иван Иванович. — Наши специалисты их называют просто и предметно: машины по устранению биологически избыточного сырья.

Сказав это, Иван Иванович замолчал, всем своим видом показывая, как мало они разбираются в сложностях городской хозяйственной службы, не знают ни самого дела, ни задач, возложенных на неё.

Цимбал только и нашёлся, что выдать из себя звук, похожий на многозначительное «М-да». Он догадывался, ради чего затевается вся эта грандиозная собачья война.

Довелось быть при разговоре Скоропудова с бизнесменом Абрашкиным, местным нефтяным бароном. Разговаривали о бизнесе нынешнего мэра. Семён Михайлович говорил Абрашкину, что личный бизнес Тарабрина прочно сидит на долговом шиле, ему колко и неудобно. «У меня клянчил десять миллионов, а то, говорит, без штанов останусь». «И ты, конечно, дал? — засмеялся Абрашкин. — Как не порадеть городскому голове?» «Сейчас, раскатился! — прогудел Скоропудов. — Да это было бы чистым безумием с моей стороны. Кто же станет вкладываться в мёртвое дело? Его фирма, как давно издохшая кляча, разложилась, её на скотомогильник надо бы срочно везти, чтоб заразы какой не вышло... Нет, уж пусть сам выкручивается. У него бюджетный карман под боком...»

Верходуев, как и Цимбал, тоже, наверное, думал об этих «собачьих» деньгах, но спросил другое:

— А как с крысами? Они уже сейчас пешком ходят.

— И крысы, и кошки — со всеми разберемся. Все подлежат утилизации. По белу снежку и выметём одним чохом. Сам народ об этом просит. А если народ запросил, тут некуда деваться. Тут уж самая горячая пора для нас, послушников народной воли. — И он по-особому посмотрел на Шиворотова, словно бы желая упрекнуть депутата в недостаточно упорном служении народу. — Здесь Василию Андреевичу — особая задача. Это, опять же, доложу вам, для него — настоящий праздник. Наконец-то от примитивно-избирательного лова и отстрела собак переходим к интенсивно-промышленному очищению города от живого биологического засорения. От этого бродячего мусора, фигурально выражаясь.

— А что, если их морить? Дешевле обойдётся, — подсказал аптекарь, видимо, в расчёте на личную коммерческую выгоду.

Но Иван Иванович даже не взглянул на него.

— Вы слышали, наверное, как директора оптового рынка Маклашева собаки покусали? — с озабоченностью вспомнил Пырышкин. — До сих пор язвы не заживают. Разве можно терпеть подобное? Здесь бы нам всем работать рука об руку с Василием Андреевичем. Нет же, мы ленивы и нелюбознательны, как изволил выразиться какой-то поэт. Препятствия чинить, палки в колёса вставлять — это мы мастера. А вот государственной мудрости мало в нас. Вон, Григорий Наумович увидел кролика в лице господина Хлюстова, а я вижу в нём замечательного бойца санитарно-хозяйственного фронта, подлинного защитника гражданского общества. Это вам не ля-ля разводить, турики-матурики играть, — Иван Иванович повертел растопыренной ладонью в воздухе и снова многозначительно посмотрел на Шиворотова. — Бороться за чистоту дома — дело чести каждого горожанина. И мы до весны ни одной бродячей души не оставим в городе. Всё выметем! Чище любой мусороборочной машины соберём, эти выделенные нам денежные крохи обязательно освоим до последней копейки.

За эти «денежные крохи» и ухватился депутат Шиворотов.

— Позвольте! — сказал он, вскидывая голову так, что половина его гривы легла на ворот рубахи. — А бюджетному комитету, между прочим, ничего не известно об этих тратах. Насколько я помню, не были у нас на утверждении эти миллионные средства.

Пырышкин захлебнулся на полувдохе, но тут же нашёлся, как выправить положение.

— А здесь и не требуется никакого депутатского обсуждения, — произнёс он, прищурившись и невинно разводя руками. — Всё это в параметрах годового бюджета. Мы лишнего и полушки не тратим, не выходим за рамки утверждённых сумм. Какие здесь могут быть сомнения?

Но эти миллионы уже встряли и в голову Верходуева. «Ни хрена себе! — думал он, легонько ёрзая. — И всё это Пырышкину с Хлюстовым?!.. Ну, поделятся с кем надо. Не без этого. А остальные-то, остальные-то?..».

Мысль была настолько обжигающей, что Григорий Наумович беспокойно завозился и, сделав корытцем рот, решительно опрокинул в себя содержимое очередной рюмки. Затем шумно пососал воздух, ладошкой пошлёпал по мокрым, собранным в трубочку губам и, глядя Ивану Ивановичу в переносицу, прямо в золотую дужку его очков, горячо выдохнул:

— А признайтесь, Иван Иванович, сами-то не в доле с этим потрошителем собак?

Пырышкин притворно закашлялся. Его неприметные усы тотчас возмущённо ощетились и собрались в щёточку над кисленько мерцающей улыбкой.

Он взял с блюда подрумяненное крылышко цыплёнка-табака, старательно вонзил в него свои сахарные зубы и сказал, жуя и оскорблённо похрустывая:

— А вот этого никак не может быть!

И объяснил, почему:

— Служба и бизнес — вещи несовместимые.

И, уже окончательно успокоившись, одарил застолье поощряющей улыбкой и торжественно сообщил:

— Вам, должно быть, известно, что говорит президент? А он говорит: «Котлеты — отдельно, а мухи — отдельно».

И Пырышкин вскинул голову с таким горделивым достоинством, как будто это он подсказал президенту, как и что ему говорить. И сам он причастен к таким государственным тайнам, о которых сидящие здесь и понятия иметь не могут.

В этот момент он был удивительно похож на ручную белочку, ловкую и увёртливую.

Гости, занятые едой, молчали, но по их лицам нетрудно было догадаться: не поверили Ивану Ивановичу.

Особенно это хорошо было видно по раздосадованному лицу Верхоудева. И даже нетрудно было знать, о чём он хочет спросить. А спросить его подмывало о том, на какие это шиши воздвиг Иван Иванович каменный дворец за городом? Побольше Таврического, пожалуй, будет.

Но спросить об этом — значит, навсегда потерять расположение Ивана Ивановича. А этого никак нельзя делать, особенно теперь, когда появилась возможность занять пустующее кресло начальника департамента городской культуры.

Иван Иванович — человек влиятельный и ссориться с ним — себе дороже.

О бизнесе Пырышкина, пожалуй, лишь только ленивый не знает. Весь город о нём наслышан. Но ведь все молчат, никто не копает. Хотя кому копать? Все чем-то замазаны. И сам он замазан доходами от левых концертов. Тоже подобно древесному жучку точит свою норку. У него и присказка на этот счёт давно отрепетирована: «Нам одно, что

ваш Шумейко, или Бене Моисейко, нам что Путин, нам что Буш, был бы лишь хороший куш!».

Вспомнив это, Верховуев быстро остыл и сменил тему, переключившись на своих певичек: какие они у него славненькие, свеженькие да вкусненькие! Хрусткие, словно огурчики с грядки!

Застолье ожило и развеселилось.

Грей лежал и думал: вот такой он, Верховуев. С одной стороны, и уважать вроде бы не за что, никогда обглоданной косточки не бросит, но, с другой стороны, всё-таки он приволок его в этот дом.

Больше всего Грея раздражали модные туфли Ивана Ивановича. От них всегда дурно пахло, и Грей едва сдерживал себя, чтобы не уку-сить и сами туфли, и мосластую ногу. Он не понимал, отчего туфли могут так дурно пахнуть? Не знал, что за запахи испускают они, но уку-сить ногу Пырышкина хотелось.

Откуда ему было знать, что не далее как утром Иван Иванович в своих тёмно-рыжих туфлях гулял по цеху выделки собачьих кож.

Он видел, какой значительный человек этот Иван Иванович. Ви-дел, как чтят его здесь, как волнуется компания, встречая именитого гостя. Он и сам начинал волноваться. И думал: «До чего славно быть большим начальником! Столько чести!». Ему порой и самому хотелось стать начальником, таким же, как Иван Иванович. Но разве это воз-можно собаке, пусть даже спаниелю?

Однажды случилось такое, чего никто и не ожидал. Иван Ивано-вич не прибыл на встречу.

Не было его и в следующую пятницу. Это обстоятельство ввергло компанию в полное недоумение. Цимбал несколько раз порывался звонить по мобильнику, но телефон Ивана Ивановича был заблокирован.

Звонки на работу тоже ничего не дали. Ледяной голос секретарши твердил одно и то же: «У господина Пырышкина важное совещание, позвоните позже». В другой раз тот же ледяной голос: «Господин Пы-рышкин отбыл на объект».

Неизвестность развеял всё тот же депутат Шиворотов.

— И не придёт, — загадочно посмеиваясь, сказал он. — Диспозиция поменялась.

Было необыкновенно интересно узнать, что же это за диспозиция вынудила Ивана Ивановича оставить их кружок?

И Шиворотов доложил, какая беда приключилась с их кумиром. Причина оказалась самой что ни на есть житейски банальной. Жена Пырышкина, почтенная Софья Андреевна, обошла мыслимые и немы-слимые инстанции, накатала жалобы, правда, пока на местном уровне, и пригрозила: не примете меры, не окоротите её плёшинка, пеняйте на себя. Всех выведет на чистую воду, обратится непосредственно к лидеру «Единой России», подаст жалобу в Генеральную прокурату-ру. Пусть поинтересуются, что творится на местах в смысле бытового

разложения? Кстати, пусть узнают, что за собачий бизнес создан под крылом городской мэрии и какая от него польза. Не тратится ли казна на эту мужнину узкоглазую мымру? По слухам, уже и квартиру выкупили для любовных свиданий.

— Она что, дура, что ль, совсем, эта его Софья Андреевна? — ужаснулся Верходуев. — Надо же додуматься, под собой золотой сук рубить! Нет, у этих чиновных жен соображения, как у разжиревшей утки!

— Не знаю, какая она там дура, — продолжал довольный произведённым эффектом Шиворотов. — Только Ивану Ивановичу его коллеги крылышки-то и обсекли. Призвали на свой политсовет и погрозили тесным кружком: не исправишься, из партии выгоним. И с работы полетишь. Не понимаешь того, что за собой других тянешь. С такими делами, дескать, аккуратней надо. Вот и нагнали страху, пришибился наш Иван Иванович, — тряхнув причёской, радостно заключил Шиворотов. — Тише воды, ниже травы теперь. Со службы прямиком летит под бочок к своей благоверной. Живут, не разлей вода! Опять медовый месяц!.. А его пассия, эта художница, локти, говорят, кусает. И мужа отшила, куда-то уехал, и хахаль сбежал. Вот и кукует одна. Такие вот у нас с Иваном Ивановичем пироги.

— Надо же! — удивился Цимбал. — Это что же, времена компартии возвращаются, не к ночи будет сказано?

— Свят, свят! — дурашливо перекрестился Верходуев, а Петин зябко поёжился.

За столом установилось тягостное молчание, какое бывает лишь при покойнике в доме.

Даже разговаривать стали ленивее и тише, без прежней страстности. И споров поубавилось.

Ивану Ивановичу искренне сочувствовали. Но и себя жалели, горюя о том, что лишились такого интересного собеседника и во всех отношениях замечательного человека, каким был Иван Иванович в их кругу.

31

Ожидалось, что их пятничные вечера без Пырышкина быстро рассыплются и сами собой заглохнут. Но, как ни странно, этого не произошло, не заглохли и не рассыпались, однако кое-что утратили — особую искру, воспламеняющую их. И сами завсегдатаи вечеров стали сумеречнее и заметно поскущнели. Не сразу, не вдруг их собрания обрели форму карточных ристалищ. Играли не по-крупному, но, когда сидишь до полуночи, при определённом невезении можно крупно проиграть.

Видно, правду говорят, сам род занятий налагает на человека особую десницу, влияя на его внешний облик. Интересно было наблюдать за игроками, как менялись их лица во время игры. Они становились необыкновенно серьёзны и сосредоточенны. Даже Верходуев не был похож сам на себя. Лицо его напрягалось, каменело и сам он напоми-

нал удава, засевающего в кустах. Да и остальная компания походила на таинственных заговорщиков, замышляющих убийство.

За проигрыш расплачивались нехотя и хмуρο. На игрока, которому везло, смотрели, как на уличного грабителя — растерянно и зло.

Одно было странным в этих пятничных вечерах. Они никогда не приводили женщин. Назвать их женоненавистниками вряд ли было бы справедливо. Они с удовольствием говорили о женщинах, о любви и женском коварстве, взволнованно обсуждали дамские прелести, без конца сорили сальными анекдотами. И сами радостно оживали при этом, даже глаза становились блестящими, словно натёртые ртутью. Но, чтобы женщину пригласить на свою тусовку, такого не водилось.

Это было настоящей загадкой. И Грей, кажется, разгадал её. Они же мыслящая элита. Сами о себе так говорят. А значит где-то есть ещё и не мыслящая элита. Вот там-то, среди той не мыслящей элиты, женщины, должно, и проводят свои вечера.

Сам Цимбал даже подружку Руту по пятницам из квартиры выдворял.

— Ты сегодня не нужна, — с нагловатой весёлостью говорил он Руте. — У нас чисто мужской раут. Твоё присутствие может быть неверно истолковано. Так что извини, до завтра, милая.

Рута молча проглатывала обиду. Лишь нервно вздёргивала верхнюю губу и деревянно усмехалась.

Куда она пропадала в эти пятничные вечера, Грей не знал. Да и сам Цимбал, наверное, этого не знал и никогда этим не интересовался.

И вообще он интересовался Рутой постольку-поскольку, лишь в определённом смысле. Было много странностей в его отношениях с Рутой. Особенно поражало отношение Верховдueva к ней, развязное и пренебрежительное. Но здесь оба они, и Цимбал, и Верховдуйев, стоили один другого: могли ни с чего грубо оборвать девушку, сказать гадость в лицо, отпустить сальную шутку.

Она молча сносила и грубость, и обиды, хотя при этом и заметно бледнела, и бессильно сжимала кулачки. Грею казалось, она для них что-то вроде забавы, красивой вещицы, живого приятного украшения.

Почему она терпела, не уходила от Цимбала? Что удерживало её, этого Грей не понимал.

Вообще-то она не была способна на долгую обиду. А обиды были. Да ещё какие!

Однажды Грей услышал, как Верховдуйев говорил Цимбалу:

— Слушай, старичок, это ничего, если я выкину нашу безголосую погремушку? Понимаешь, у меня две прелестные лебёдки наклонулись. Довольно волнительные, стервочки! А Рута отбарабанила своё. Молодёжь свеженького просит. На её это бесконечное «Барашка, кудряшка, кудряшка моя!» теперь уже мало клюют. Самое время обновить репертуар, американизированную штучку раскрутить. У Руты амплуа не то.

Цимбал постоял, помолчал, пошмыгал носом и сказал:

— Подождал бы ещё. Не люблю поспешных расставаний.

— Ну, только ради тебя, — не вдруг согласился Верходуев и чему-то тихонько засмеялся. — Как наскучит, сразу же брякни. Я её тут же и выкину.

Грей слушал и думал: «Вот оно что! Одинаковая у них с Рутой жизнь. Возьмут и выкинут, когда пожелают».

Рута часто пропадала. Вроде она на гастролях. Из поездок возвращалась довольная, заметно посвежевшая. Звонко смеялась, рассказывая, как хорошо народ её принимал в деревнях. Бабы курниками кормили, свежими сливками поили.

Послушать Верходуева, петь Рута совсем не умела. Но он сам же говорил, что петь и не обязательно. За таких дур, как Рута, нынче, дескать, техника поёт. Лишь бы умела вовремя рот раскрывать, губами шевелить да телеса демонстрировать.

Руту же он поучал:

— Что ты ползаешь по сцене, как черепаха? Живее надо. Твоё дело не голосить, а свой товар по сцене носить. Попкой, попкой больше работай!

— Я так и работаю, — с виноватым смущением оправдывалась Рута.

— Мало работаешь. Интенсивнее, интенсивнее вяляй! — коршуном нависая над ней, угрожающе поучал продюсер.

На самом деле к выступлениям Рута готовилась более чем серьёзно, даже с каким-то стоическим упорством, порой доводя себя до полного изнеможения.

Особенно страстно репетировала, оставаясь одна, вернее, когда оставались с Греем вдвоём. Ему, наверное, одному из всего собачьего поголовья и посчастливилось видеть, как эстрадная звезда готовит себя к концертам. Начинала Рута с того, что, встав перед зеркалом, проделывала такие замысловатые пассажи, так играла талией, что гибкостью своего тела могла бы поспорить с иной незадачливой эквилибристкой. Уж так изворачивалась, так изгибалась она, так мучила себя, что Грею хотелось искренне пожалеть её. Он подскакивал к ней с желанием лизнуть, но Рута этого ему не позволяла.

Было удивительно видеть, как она приседает, трясёт плечами, тугой грудью, голым пупом с мелькающим в нём колечком. Она вскидывала и разбрасывала в стороны руки, то заламывая их, вертела головой, водила глазами, лукаво прищуриваясь, широко распахивая накладные ресницы, изображая и пылкость молодой души, и пламя страстных переживаний.

Перед тем, как встать к зеркалу, вначале она облачалась в соответствующий наряд. Чаще всего натягивала куцую кожаную юбочку, влезала в красные сапоги с высокими голенищами, на грудь пристёгивала лиф с золотым шитьём, рассыпала по плечам светло-пепельные волосы

и указательным пальчиком трогала блестящее колечко в пупе, как бы желая убедиться, на месте ли оно.

Грею, глядевшему на неё, обычно говорила:

— Ну, что ты пялишься, дуралей? Это мой сценический образ.

Затем включала магнитофон, исторгающий вначале приглушённые звуки, похожие на шелест гальки о морскую волну. Затем этот галечный звук переходил в бешеную дробь, к которой примешивалось мартовское кошачье завывание.

И здесь почти сразу в стенку справа начинали стучать. Руту вовсе не трогали эти знаки соседского внимания к её репетиционному процессу. Она продолжала шевелить ярко накрашенными губами, медленно раскачивалась, словно лоза не ветру, и вдруг принималась бешено вертеть животом. Колечко в голом пупе по её велению начинало выделять такие замысловатые зигзаги, что у Грея рябило в глазах и перехватывало дыхание. Здесь и настигал его приступ безумного восторга. Он тоже прыгал и начинал радостно гавкать.

И всё-таки, как думал Грей, Рута чувствовала себя несчастной. И была настолько одинока, что, кроме Грея, ей и пожаловаться было некому. И она жаловалась порой.

— И зачем я, дура, полезла в эту грязь? — говорила, всхлипывая. — Погналась за красивым фантиком. Была чистой, как цветок, а кем стала? Грей, дорогой мой пёсик, ведь нет ничего, о чём мечтала. Одна мишура да глупое обожание. И всё насквозь лживое и подлое. И сама я подлая. Слышь, Грей, только тебе говорю. Вляпалась я! По самые уши вляпалась в верходуевскую тину. А теперь уж не отмыться.

Она тёрла глаза кулаком и размазывала по щекам чёрные от краски слёзы.

Но приступы подобных горестных откровений были редкими. После слёз и минутной слабости Рута вдруг встряхивала головой и говорила Грею:

— Ну, чего лопухи развесил? А ты и поверил?

И легкомысленно смеялась.

Про неё хотя и говорили, что она фанерно-безголосая, однако тут же и признавали, что приёмами публичного обольщения Рута вполне овладела и умеет обворожить публику. Молодёжь охотно ходила на её концерты.

Хозяину Грея это, кажется, было не совсем по вкусу. После каждого успешного представления он принимался изводить её. Точил долго и нудно. А начинал обычно с того, что вкрадчиво спрашивал:

— А не боишься, дорогая, публика однажды возьмёт да извозит тебя в смоле и перьях? Затем хорошенько поколотит за твоё так называемое искусство и выбросит на помойку? Вот задрючит в маге шестерню, что будешь делать?

И при этом торжествующе усмехался.

— А ничего! — со смешком безразличия отвечала Рута. — Вы со своим шефом и не такую лапшу вешаете на уши. Вас же не колотит электорат. А я барышня честная, работаю, как умею. Пританцовываю, задом кручу, прессом живота нагнетаю страсти. Фигуру показываю. Разве это не стоит денег?

— Фигура — да, пожалуй, стоит, — нехотя соглашался Цимбал, блудливо скашивая глаза на её длинные ноги, прямые, как две лунные дорожки.

Если бы Грей умел говаривать человеческим языком, он, пожалуй, сказал бы Руте: «Конечно, вы — девушка красивая и добрая, но очень уж легкомысленная».

Но Грею не дано было сказать этого.

Однако он был не прочь подражать Руте. Его тоже тянуло в артисты. И потому иной раз, едва за хозяевами щёлкал дверной замок, он соскакивал с коврика, летел к трюмо, вставал на задние лапы, некоторое время разглядывал своё отражение в блестящих квадратах зеркала и начинал вертеть хвостом, нежно поскуливать, раскачиваться и подпрыгивать, как это делала Рута.

Он даже пробовал сочинять песни для собственного удовольствия, исполнять их на своём пёсьем языке. И, надо признать, получалось у него порой совсем не хуже, чем у иных эстрадных звёзд.

Это и были его маленькие радости. Но были и огорчения. Были грустные раздумья, недобрые предчувствия. Ему казалось, что как-то очень уж хорошо он устроился, так не должно, не может везти дворовой собаке, будь даже она вежливым, умным спаниелем.

Были напоминания и о прежней жизни, о которой он совсем стал забывать.

Незадолго перед тем, как ему оказаться на улице без средств к существованию, без тёплого угла и кровя над головой, к ним приходил священник. Отцом Андреем назвался. Говорили они с хозяином о денежном вспомоществовании приходу храма Святых новомучеников.

Священник просил содействия Клим Савельевича и передал прошение на имя господина Скоропудова от прихожан.

Цимбал не отказал отцу Андрею в такой малости, бумагу принял.

Грей смотрел на гостя и вспоминал, где он видел этого человека с небольшой чёрной бородой, густо посеребрённой седым волосом? Глаза, глаза ему не понравились. Тоже чёрные, глубоко мерцающие под лохмато нависшими бровями, словно тёмная вода под обрывистым берегом.

Уже уходя, отец Андрей приостановился, пристально посмотрел на Грея и сказал, ощупывая нагрудный крест:

— Я, кажется, знаю эту собачку. Они со старухой приходили к храму, милостыню просили. Старуха явно нетрезвого обличия была.

Тут и Грей признал его, однако не подал виду, даже хвостом не шевельнул.

— Этого никак не может быть, — холодно ответил хозяин с заметной неприязнью. — Собака лично для меня приобретена в элитном питомнике.

— Странно, — сказал священник. — Точно такая была. За ними ещё девочка пришла. Бранила старуху и увела их... Извините, ошибка выходит, но, мне кажется, это всё-таки она. И сейчас не залаяла, должно, признала.

Цимбал пожал плечами и обиженно промолчал.

Грей помнил тот случай. Были они со старухой у храма. Она села на приступок паперти, поставила перед собой большую ржавую кружку. Он сидел в сторонке, на нижней ступени.

Проходили люди и время от времени бросали в кружку монеты. Потом появился вот этот старик с крестом. Посмотрел на старуху, остановился и сказал:

— Шли бы отсюда с богом, матушка. Нечего здесь сидеть да ещё с собачкой.

Старуха не пошевелилась. И тогда старик окликнул человека, подметавшего двор:

— Сидор Макарович, выведи их за ограду.

Сидор Макарович, волосатый мужик со спутанной льняной бородой, в синей рубашке навыпуск, с расстёгнутым воротом, взял старуху под руку, с силой встряхнул и повёл к калитке. Грей побежал следом.

Здесь и появилась Настя, принялась ругать старуху, но та молчала.

На выходе из квартиры отец Андрей столкнулся с Верходуевым. Он посторонился и, крестясь, произнёс:

— Христос спаси.

— И вас, батюшка, спаси, — насмешливо бросил Верходуев.

Затем спросил Цимбала:

— Чего хочет от тебя эта церковная крыса?

— Того, чего и всем желательно, скоропудовских денег. Приход, говорит, в крайней нужде.

— Горяч на деньги, горяч...

Цимбал, не слушая его, задумчиво смотрел на Грея, лежавшего с поджатым хвостом и решившего: всё, выкинут его теперь.

— Ты где эту собаку купил? — наконец спросил Верходуева хозяин и подошёл к нему вплотную, чтобы видеть глаза.

Верходуев увильнул от его требовательного взгляда и совсем по-мальчишески засуетился.

— Как — где, как — где? — фальшиво забормотал он, изобразив удивление. — Я же говорил! В частном питомнике по случаю приобрёл. Штуку зелёными отвалил.

— А вот священник утверждает, у пьяной старухи купил.

Верходуев с минуту смотрел на Цимбала оцепеневшим взглядом. Затем, словно бы очнувшись, забежал по комнате, изображая искреннее негодование и с возмущением кляня ушедшего священника.

— И ты поверил? Нашёл, кого слушать! Этот опиум для народа ещё и не то ради денег наговорит! Ты посмотри, на какой тачке катаётся этот твой святой дервиш! — указал он на окно. — Весной внучке квартиру купил в двух уровнях... Этот несчастный бедняк с советских времён известен. Уполномоченным по делам религий в облисполкоме задницу протирал. Рухнула партия, он в религию пошёл. Прежде приходы закрывал, а теперь народ от грехов спасает. У него в друзьях мой сосед по даче, тоже из бывших аппаратчиков. Вот и сходятся на чарку. Слышу, как-то похвально: «Вот, Иваша, когда жизнь-то настоящая началась! А что мы с тобой сидели в этом сраном партийном аппарате? Кисли, как в квасцах. Ну, ты-то хоть орден получил. А со мной и всего-то юбилейной медалькой обошлись!».

Верходуев говорил ещё что-то, но опять же фальшиво. Это чувствовал и Цимбал, и сам Верходуев, и даже Грей.

32

Самые неприятные стороны Рутино легкомыслия особо проявлялись с отъездом в командировку самого Цимбала.

Вот тут и начинались ужасные страдания Грея. Хозяин хотя бы дважды на день не забывал выгуливать его. А легкомысленная подружка Цимбала не только выгуливать, но и кормить порой забывала. Да и кормила, не приведи господь!

Рута боялась полноты, и тут кто-то из знакомых внушил ей, что для сохранения идеальной фигуры и развития мозгового вещества исключительно полезны морепродукты, особенно крабы и вообще ракообразные.

Она и взялась налегать на эти самые морепродукты — на дальневосточных креветок, сваренных в подсоленной воде.

Не только питалась сама, но и Грея потчевала этой собачьей отравой. Более противной пищи он не едал даже у старухи Сыпугиной. Креветки, как сухой песок, хрустели на зубах, обдирали дёсна, обжигали язык. Они пахли тухлой водой, раскисшей оберточной бумагой, запахами железа и казались такими отвратительными, что вызывали рвотные приступы.

Но захочешь есть, и камень будешь глотать. Вот и Грей давился, а ел.

С креветок болел живот и, случалось, он испытывал такие невыносимые муки, что начинал кататься по полу, скулить и рваться во двор.

Руте, занятой собой и туалетами, было не до него. Она как бы не замечала его страданий, всё так же увлечённо вертелась перед зеркалом, наводя красоту. А то и вовсе резво скакала под грохот первобытных барабанных ритмов.

Затем старательно протираала вспотевшее тело махровым полотенцем, смоченным туалетной водой, и, наконец, вспоминала о нём, воскликая с горестной укоризной:

— Господи, до чего же ты надоел со своим скулежом! Ну, что ты разнылся? Потерпеть не можешь, дуралей! Не видишь, я занята?..

Грей, унимая боль, на брюхе ползал в её ногах, преданно заглядывал в глаза, норовил лизнуть руку. А Рута кричала:

— Не прикасайся ко мне, паршивец заразный! Всю квартиру провонял своей псиной. То-то Клим терпеть тебя не может.

Он обессиленно ронял голову и в изнеможении закрывал глаза. В конце концов, сжалившись, Рута выводила его во двор.

Было и на этот раз всё то же, что и прежде. Скоропудов по своим газовым делам отбывал в Москву, взял с собой Цимбала. Рута осталась за хозяйку и, кажется, была необыкновенно рада этому. С отъездом Клим Савельевича сразу же зажила вольной жизнью разгульной пташки.

В субботний день, к несчастью Грея, Рута вернулась домой уже далеко полночь и была, кажется, навеселе. Размягченным, мурлыкающим голосом похвасталась перед Греем, что выступала с сольным концертом на корпоративной вечеринке коммерческого банка и выкрикнула с пьяноватой похвальбой:

— Порядок, Грей! Скоро изменится наша жизнь! Плевали мы на твоего самовлюблённого барчука и этого дурня Верходуя! Вот они где у меня!

И, вскинув над головой свой маленький крепко сжатый кулачок, зелёно блеснула колечком с изумрудом на безымянном пальце.

— Чего смотришь? Есть, наверное, хочешь, бедняга? — пожалела она. — Сейчас накормим.

И полезла в холодильник. Достала пакет с морожеными креветками, вывалила в Грееву миску и зашлёпала к постели.

Он ходил возле миски и пробовал языком смёрзшиеся креветки. Они были не только ледяными, но и отвратительными на вкус.

Грей знал, что бывает после подобной еды, и долго не решался есть. Но чувство голода, как всегда, взяло верх. Поборов отвращение, он зажмурился и, не жуя, стал глотать креветки вместе с ледышками.

Не прошло и часа, как всё повторилось — разболелся живот. Он терпел, как мог, но резь в брюхе не унималась. Его словно бы распирало изнутри. Он не выдержал и громко заскулил.

Затем с отчаянным лаем заметался по квартире, подбегал то к двери, то к постели Руты. Даже попытался стащить с неё одеяло. Разметавшись по кровати, она сладко причмокивала губами, сонно бормотала и пускала слюну.

Он вернулся к порогу, сделал то, чего никогда не позволял себе прежде. Сразу настало облегчение, боль в животе отступила.

Самое ужасное случилось потом, когда проснулась Рута. С мятым лицом, всклокоченными волосами, в ночной сорочке неуверенной

походкой она прошла к холодильнику, достала бутылку воды и долго пила прямо из горлышка. Шумно передохнув, вышла в прихожую, протерев глаза, увидела у порога то, что он сделал, и страшно рассердилась.

— Ах, ты, тварь поганая! — вскричала она, двумя пальчиками зажимая нос. — Ах, ты, сволочь непутёвая! Посмотри, что натворил! Ещё гадить он будет!.. Вон, тварь вонючая! Вон! Чтоб духу твоего больше не было! Не хватало ещё убирать за тобой!..

Она схватила Грея за холку, выволокла на крыльцо, тупым носочком шлёпанца поддела под зад и захлопнула за собой железно грохочущую дверь.

Грей, жалобно взвизгнув, кувыркнулся по ступеням, вскочил на ноги и принялся лизать ушибленное место.

Пока занимался собой, просмотрел свору дворовых собак, пробежавших мимо, во главе с крупной пёстрой сукой. Молодые кобели, худые, горбатые от недоедания, один злее другого, удивлённо остановились и уставились на хозяйку выводка. Она, в свою очередь, уставилась на Грея и не на шутку рассвирепела, признав в нём ухоженного домашнего пса. Стаю будто подстегнули, она бросилась на Грея. Побежали все: и дети, и многочисленные племянники.

Укрыться было негде. Кругом один бетон да голое кирпичное крыльцо. Грей метнулся за угол дома. Свора кинулась следом.

Они гнали его сначала дворами, затем переулками. Грей летел, ничего не замечая и не помня себя. Пересекли несколько перекрёстков, миновали три сквера, с десятков широких улиц. А собаки всё не отставали. Грей слышал у себя за спиной их свирепое дыхание и непрерывный топот лап.

У него стало темнеть в глазах. Силы оставляли его и он готов был упасть, когда, наконец, стая разочарованно повернула назад.

Грей сделал несколько шагов, в изнеможении рухнул под ствол первого попавшегося дерева и, вывалив язык, растянулся в тени. Дыхание было горячим, а язык — сухим. Шерсть по осунувшимся бокам превратилась в мокрые сосульки.

Отдышавшись, он поднялся, устало пошатываясь, огляделся и с ужасом обнаружил, что находится в совершенно не знакомом месте и теперь не знает, как найти свой дом.

Грей испуганно заметался, ловя запахи собственных следов, даже заскулил с отчаяния.

Стал бегать взад-вперёд, торопливо принимаясь к асфальту, к железу оград, к траве; метался среди чужих дворов, лазил в подворотни, но знакомых запахов не нашёл. Всюду пахло одним и тем же: чужой обувью, сухой горячей пылью, горелой резиной автомобильных колёс да смрадом дворовых помоек.

Окончательно запутавшись, он сел среди тротуара и обречённо заплакал. Прохожие с удивлением смотрели на одинокого воющего спа-

ниеля и проходили мимо. Лишь какой-то дядька с бескровно-вощаным лицом не поленился подхватить осколок щебня в жёлтую, похожую на резиновую перчатку ладонь, крепко сжал её и запустил в Грея. При этом ещё и крикнул голосом капризного ребенка:

— Воеет тут, сволочь, тоску наводит!

Он промахнулся.

Грей не стал ждать, когда дядька вновь запустит в него, вскочил и побежал, сам не зная, куда.

Мозг его был сильно расстроен, лишь природный инстинкт беспрестанно гнал вперёд.

Под вечер он набрёл на задичавший пустырь с густой чащобой во круг, с высокой травой по всей округлости светлого прогала. Подошёл к деревянной, почерневшей от времени бобине, обнюхал её и, не обнаружив опасных запахов, лёг и тяжело вздохнул.

Его быстро сморила усталость. Но спал он беспокойно, поминутно скидывал голову, тревожно прислушиваясь к незнакомым звукам и шорохам.

Поднялся рано, заря только ещё разгоралась. И теперь уже основательно огляделся. Подивился зелени вокруг, травам в цветах, небесному простору и своей неожиданной свободе. Всё показалось необычным в новом, обступившем его мире, а потому и загадочном. Даже воздух был каким-то новым, не таким, каким привык чувствовать его в квартире Цимбала. Этот воздух был полон необыкновенных запахов, таинственных звуков и птичьих голосов.

И Грей окончательно смирился с новой для себя долей. Теперь осталось подыскать место под убежище.

Скоро он набрёл на огромную кучу валежника, обследовал её. Обнаружил пустоты внутри с запасным лазом в кленовую чащобу, облюбовал лёжку для себя. Она пришлась на чугунный люк колодца теплопровода. Он нагрёб осыпавшихся веточек, полуистлевших листьев и облегчённо вздохнул. Ни Цимбала, ни Руту старался не вспоминать и не думать о них, чтобы не мучить себя ни горькой обидой, ни томлением тоски.

Прошло несколько дней, Грей обжился, привык к одиночеству, прилажился кормиться отходами с помойки межрайонного пищекомбината, расположенного в двух кварталах от пустыря, и стал забывать о прежней своей жизни.

Так и жил бы, наверное, один, но здесь появился Джек — сильный рыжий боксёр с короткой гладкой шерстью, и сразу показал, кто настоящий хозяин берлоги.

В совместном проживании с боксёром обнаружили даже некоторые приятные выгоды. Отпала нужда бояться больших окрестных собак, злобных чужаков с соседних территорий. Теперь за Грея было кому постоять, появился грозный покровитель.

Со временем оба поняли обоюдные выгоды совместной жизни. Если за Джеком стояла безрассудная отвага и недюжинная звериная сила, то за Греем оставался тонкий расчёт, сметливый ум и сдержанная осторожность.

Он был не из породы безоглядно беспечных кобелей, готовых сломя голову лезть, не зная, куда и зачем. В его памяти постоянно вертелся наказ пьяной старухи Сыпугиной, не устававшей вдалбливать своей глупой внучке: «Не торопись, коза, в лес, все твои волки будут».

Грей никуда и не торопился, с таинственными волками не желал иметь дела.

Помнилось ещё одно старухино поучение: «Прыткая вошь первой угодит на гребешок».

Это поучение старуха говорила, сидя обычно на кровати и пьяно раскачиваясь. Косматая, с нечёсанными волосами, распухшим носом, она походила на ведьму, но не злую, какие бывали в сказках из Настинной затрёпанной книжки, а всё-таки добрую.

Старуха постоянно поминала какого-то деревенского Игошку, за которого собиралась замуж. «Тоже, бывало, егозил, как егоза, — говорила она. — Всё порядки ругал, много хвастался: я-де первый бухаринец на селе. Ворот рубахи на себе рвал, правду-матку резал. Вот и дорезался. Начальство-то умнее оказалось. Взяло да и посадило на свой гребешок. Да и щёлкнуло ногтем сверху. Был Игошка — и нет Игошки...»

Это загадочный старухин гребешок был Грею тоже ни к чему. Поэтому и осторожничал. И эта его расчётливая осторожность не раз уберегала стаю от рискованных поступков, глупой дерзости и поспешных решений. Стая ценила его.

Вожак знал, что на сметливость спаниеля всегда можно положиться.

32

Возня на поляне, между тем, не смолкала. Сытные запахи, кажется, стали ещё острее, они дразнили обоняние, щекотали ноздри.

Джек нервно дёргался, виляя обрубок хвоста, и в любую минуту готов был сорваться с места. Его лапы пружинисто напряглись, кажется, ещё миг, он резким привычным прыжком подскочит вверх и понесётся навстречу непрошенным гостям. Но, покосившись на невозмутимо стоявшего рядом Грея, поостыл и расслабился.

Облизнувшись, сухо щёлкнул клыками, как это делал при ловле мух, снова посмотрел на Грея, теперь уже требовательно и властно. Повёл взглядом в сторону поляны.

Грей понял, чего хочет от него вожак. Он издал неопределённый звук, похожий на глухое урчание, прищурившись, снисходительно взглянул на Клуню и, пригнув голову, неслышной поступью прирождённого охотника бесшумно скользнул к полевой кулисе.

Прежде чем скрыться в ней, остановился и прислушался.

«Будет теперь жилы тянуть», — съехидничала Клуня.

Вожак тоже был недоволен излишней медлительностью спаниеля, но и торопить не стал. Задрал заднюю лапу, с ожесточением поскрёб у себя за ухом, тем и выразил недовольство.

Когда боксёр снова вскинул голову, Грея уже не было видно. Лишь слабое шевеление вершинок полыни указывало на его след.

И сам он, и Клуня тревожно замерли, вслушиваясь в голоса и звуки, долетавшие с поляны.

— Максим, а сотейник-то с окорочками где? — донёсся приглушённый женский голос.

— Нема сотейника. На реализацию оставил, — слышался грубый голос. — Надо же хоть клочок шерсти сорвать с этой богатой овцы!

И мужчина деланно рассмеялся.

— Смотри, голова, сядешь в галошу с этими курами. Дойдёт до Нины Егоровны, её цербер быстро башку-то снимет. Так урвёт, что небо с овчинку покажется, сам залезешь в сотейник.

— Не урвёт, не первый год замужем, — отозвался самоуверенный голос. — Знаем, как угол объехать.

Торопливо хлопнули дверки автомобиля, мотор натужно заурчал, раздался сухой треск молодой поросли под колёсами пикапа, и вскоре всё смолкло, растворившись в транспортном гуле уличной магистрали.

Ворона взмахнула крыльями, камнем рухнула вниз и тотчас взмыла, держа в клюве ношу, округлую и длинную. С этой ношей и унеслась в непролазные дебри задичавшего вишенника.

Истошнее и возмущённое застрекотали сороки совсем рядом.

Под их нахальный стрёкот и возвратился Грей.

Спаниель бежал машистой рысью, бережно подбирая под себя задние лапы, высоко задрал голову и что-то держа в своей крепко сжатой пасти.

Подскочив к жожаку, он бросил ему под ноги ношу и сел, горделиво расправив грудь. Его глаза радостно блестели, как бы возвещая: «Там столько еды, столько еды! И за день не поесть!».

Добычей Грея оказалась тонкая полукопчёная колбаса, не совсем обычная на вид. Клуня, мелко семеня, подошла к добыче, осмотрела и обнюхала её. Запахи исходили аппетитные, но сами колбаски были в налёте зелёной плесени и выглядела подозрительно. Клуня втянула в себя порцию воздуха, зажмурилась и кончиком языка потрогала колбаску, затем взяла на зуб, мелко пожевала и нашла её не только съедобной, но и достаточно вкусной. От удовольствия она даже сморщила нос.

Грей, кажется, только этого и ждал. Выхватил из-под её морды колбаску, сладко причмокнул и вгрызся в неё молодыми крепкими зубами. Его глаза случайно встретились со строгим взглядом жожака. Грей поперхнулся и колбаска сама вывалилась из пасти.

Он пригнул голову, виновато поджал уши и зажмурился, ожидая неминуемой трёпки.

Но Джек остался неподвижен и сидел, как изваяние. Грей осторожно потянулся к брыластой морде жоака, благодарственно лизнул его и лёг рядом.

Клуня смотрела на Грея с досадой и укором. Он и сам понимал, что виноват, нарушил закон стаи.

Ими, пожившими в хозяйских домах, затем — в стае вольных добытчиков, давно было усвоено, кто первым должен подходить к еде. Неписанное правило гласило: первый самый лучший кусок принадлежит жоаку стаи.

Помнили они и о том, что следует избегать зла, не совершать его беспричинно. Что всякое зло памятливо и коварно, и обязательно возвращается к хозяину, чтобы больно укусить его.

Свои правила и привычки они усвоили крепко, постоянно держались их. А вот поступки иных людей ими так и не были поняты, вызывали удивление, нередко ставили в тупик. Почему люди порой выбрасывают много еды и разные другие вещи? Вот почему выбросили теперь? Что хотели этим сказать?

Этого не мог объяснить даже высокопросвещённый Грей. Да, ему было известно, что у людей есть многочисленные конторы и конторки, пищеблоки, торговые точки, всевозможные продуктовые хранилища, склады и прочие питающие желудок заведения. Это известно многим собакам, постигшим тонкости бродячей жизни. А вот дальше — туман. Даже Грей, их разумный Грей не мог и предположить, что в конторах, торговых и пищевых заведениях обретается немало людей, всегда готовых припрятать особо ценные продукты, создать излишки, чтоб затем пустить их в доходный для себя оборот.

Конечно, они знали, что продукты могут гнить, со временем портятся. Но вот то, что их списывают и на этом имеют немалые деньги, этого они не знали. Как не знали и того, что в казённых заведениях принято устраивать плановые проверки, ревизии, обмеры, контрольные завесы, санитарные обследования, и что для творцов продуктовых излишков это самая настоящая беда. От излишков приходится избавляться.

В тот день и был именно такой случай. На межрайонном пищекомбинате, принадлежащем Нине Егоровне Дятловой, с часу на час ожидали контрольно-санитарную комиссию. Об этом по-приятельски хозяйку известил чиновник мэрии Иван Иванович Пырышкин. Тотчас же последовал приказ немедленно избавиться от просроченных продуктов и гнилого товара.

Заведующая пищекомбинатом вместе с кладовщиком загрузили порченным товаром пикап и вывезли на пустырь.

Еды было столько, что Джек растерялся от нежданно свалившейся добычи. Клуня тоже слегка ошалела от вида разбросанных повсюду колбасных колясок. Рядом валялись пакеты с какой-то прокисшей са-

латной смесью, чёрствые, лубочно-твёрдые кругляши кексов в картонных формочках, перемазанные почерневшей морской капустой, груды вздувшихся банок с зелёным горшком, с мясными и рыбными консервами. Одна из банок лопнула, видимо, от удара о дерево, и теперь испускала такое омерзительное зловоние, что даже непривередливый Грей поспешил убраться от столь невыносимого духа.

Они не знали, что делать с этим богатством, но оставлять еду на растерзание птиц, нахальных собак с автостоянки, а то и бомжей, привлечённых птичьим граем, — об этом и думать не хотели.

Как всегда, самым сообразительным оказался Грей. Он схватил несколько колбасок и понёс в логово. Затем вернулся за новой партией. Тут Джек с Клуней подхватились, тоже начали таскать.

Вороны, облепившие вершинки ближних деревьев, кричали, не переставая. Их истошные крики оглашали не только пустырь, но, кажется, и всю городскую округу.

Сороки же до того осмелели, что, перескакивая с куста на куст, прямо из-под носа Джека выхватывали добычу. Ему было не до их нахальства. Он думал, как бы на этот вороний грай не прибежали ватаги голодных свор.

Джек запалённо дышал, его широкий нос был влажным от пота.

33

Работа подходила к концу, когда из глубины зелёного массива донёсся треск гнилых валежин и сухого кустарника. Казалось, сквозь чащу ломится великан. Крикливый сорочий переполох сопровождал его путь. Треск кустарника и отмерших веток хотя и медленно, но приближался. Уже стало различимо чужое дыхание с хриплыми посвистами и близкие неуклюжие шаги.

Джек расправил грудь, вскинул голову и принял боевую стойку. Кисточки его чёрных бровей сошлись на собранном в складки лбу, округлые разрезы ноздрей беспокойно дёргались, ловя чужие запахи.

Но, едва из кленовой заросли вывалилась сначала огромная грязно-рыжая голова, а следом показалось и само лохматое туловище, напряжение стаи спало само собой.

Похоже, к ним пожаловала старая, величиной с доброго телёнка, кавказская овчарка. Шатким медвежьим шагом, путаясь лапами в траве, она выбрела на солнечный простор и остановилась, отдыхая и тупо разглядывая стаю.

Солнце к этому часу опустилось так низко, что, цепляясь за крышу дальней высотки, ярко высвечивало тусклые глаза овчарки, похожие на мутные бельма.

Шерсть торчком стояла на её широкой мосластой хребтине, грязными лохмотьями свисала с ввалившегося живота. Грудь и шея были густо унизаны гроздьями колючего репейника.

Запущенный вид собаки не мог не вызвать жалости.

Овчарка бессильно уронила голову и с голодным бессмыслием глядела на Джека. С её нижней отвисшей губы белыми хлопьями ронялась слюна.

Клуня залаяла на чужака, задрав морду и яростно подрагивая телом. У неё в животе то и дело шла беспокойная возня и это прибавляло ей агрессивности. Она хотя и лаяла, но с места не тронулась. И глаза её были не столько злы, сколь полны возмущённого любопытства. Они как бы вопрошали: «Это ещё что за чужак? Много тут вас ходит на чужое. Корми, пожалуй, ваших блох!..».

Грею одного беглого взгляда хватило, чтобы определить, что овчарка едва держится на ногах и не может представлять угрозы.

Он однажды видел эту собаку. Было это на волейбольной площадке в двух кварталах отсюда. Человек, который тогда был с овчаркой, очень походил на Кошёлкина. Грей даже обрадовался, увидев старого знакомого, но подойти не решился. Постоял, издали нюхая воздух и думая, тот ли это человек, за которого принял? Кажется, тот...

Хозяин овчарки тоже остановился, увидев Грея, но не поманил его, лишь прикрикнул с недовольным раздражением:

— Чего встал, бродяжка? Живодёра ждёшь?

Грей почёл за благо убраться, повернулся и ушёл. Однако представление, что он уже видел этого человека, и видел именно у Цимбала, так и не покинуло его.

Красная бейсболка, низко надвинутая на лоб, хотя и скрывала глаза и часть лица человека, но голос-то, голос-то никуда не денешь. И то, что человек не узнал его, ничуть не обидело Грея. К чему ворошить прошлое, то, что давно отболело?..

Джек, как и Грей, тоже встречал эту овчарку. И видел её гуляющей вместе с хозяином, малым в голубом трико и белых парусиновых кедах.

И теперь, признав в неожиданном госте старого знакомого, он присел и успокоился.

Эту овчарку, помнится, хозяин называл Эриком. Кобель и тогда выглядел неважно, и при встречах с ним у Джека всякий раз возникало недоброе предположение, что собаку, пожалуй, скоро выкинут.

Теперь, судя по запущенному виду Эрика, это, видимо, и произошло. Нетрудно было догадаться, что овчарка бедствует и уже давно. Её потухший взгляд, обращённый к ним, молил о помощи. В нём так и читалось: «Я голоден, стар и беспомощен. Люди бросили меня. Не оставьте, братья, на погибель в нужде».

И в глазах клубилось отчаяние.

Оно и тронуло Джека. Он набрал полную пасть колбасок, подошёл к кавказцу и молча положил перед ним.

Гость удивлённо пошатнулся и жадно набросился на подношение. Попытался целиком проглотить коляску и не смог, закашлялся и вы-

ронил еду. Но тут же снова подобрал, долго мял дёснами беззубой пасти, катая во рту, и наконец с трудом проглотил.

Его обед был долгим и трудным. Кавказец без конца ронял обмусоленные куски, вновь подбирая их, тычась носом в траву. И с печальной благодарностью смотрел на молча наблюдающую за ним стаю.

Мозг Джека сверлила одна и та же мысль: и с ним может произойти подобное.

Наконец, насытившись, гость тяжело развернулся и, треща кустами, побрёл в направлении автостоянки. Ему, видимо, хотелось пить.

Проводив его, стая вернулась к своему убежищу.

На поляне среди разбросанной еды остались пировать лишь сойки, вороны с галками да пара тощих грачей с обтрёпанными от старости крыльями. Обилие пищи не мешало птицам скандалить, злобно переругиваться и драться.

Собаки, отяжелев от сытости, лежали, кто где. Джек лежал у входа в убежище. В его глазах всё ещё стояла одряхлевшая овчарка, когда-то сильная, а теперь слабая в своей старческой беспомощности.

Клуня легла отдельно. Она теперь чаще искала уединения, думая о будущем потомстве.

Грей вытянул лапы, развалившись на побуревшей, но всё ещё мягкой, полной жизни траве, и время от времени почёсывал туго набитое брюхо.

Солнце успело свалиться за плоские крыши высотных зданий и жара потихоньку спадала. Было, однако, всё ещё душно. Воздух, насыщенный битумными испарениями, казался густым и плотным, хоть зубами рви.

Впереди была ночь. Город утихнет, утомонится, люди заберутся в постели. Тогда и у них появится возможность расслабиться, сбросить с себя напряжение дня, забыть о человеческих коварствах, злобных гонениях. И они, вздохнув свободно, могут стать по-детски беззаботными; скакать и валяться на мягкой траве, не скрываясь, не прячась, не печалась, ни о чём не думая. Будут слушать пение ночных сверчков, смотреть на луну, на весело переливающиеся звёзды.

А если пожелают, могут и запеть что-то своё, вольное, близкое, родное, полное древней звериной тоски и терзающей душу печали.

На какое-то время они забылись в бесхитростных мечтах, как вдруг разноголосый собачий лай и окрик зевластого охранника с автостоянки вывели их из забытья.

Они тревожно поднялись и прислушались.

Джек, вытянувшись, топориком ставил уши, стриг ими воздух и шевелил ноздрями. Он узнал голос охранника, которого собирался покусать. Этот охранник неприятен ему был не только тем, что не давал воды из колонки, но ещё и тем, что помогал Живодёру в иных его ночных облавах.

По окончании охоты они обычно угощались на поляне за столиком-бобиной. Выпивши, заводили шумные разговоры. Живодёр похвалялся тем, как отлично живёт он, катается, словно сыр в масле.

— Не каждый король живёт, как я! — звенел его голос.

Подвыпивший охранник, напротив, начинал жаловаться на свою жену, что бросила его, сучка такая, спуталась с соседом-ларёчником.

— Я его, сволоча, за человека принимал! — выкрикивал он густым гудящим басом. — Жили душа в душу. И на тебе, козёл! Узнаю, спит с моей стервой. Я — на дежурство, она — к нему под бок! Ну, разве можно терпеть? Застрелю обоих!

Живодёр утешал его, говоря, что дело тут простое, житейское, можно без глупостей обойтись: баба с воза, кобыле легче.

— Наплюй, не одна она такая, — бубнил Живодёр. — Все такие. Им лишь бы бабки срубить да жеребца помоложе. Олигарха метят подцепить, а цепляют триппер.

И принимался хохотать.

Грей, когда думал об этом охраннике, представлял его совершенно несчастным. И злоба в нём от его несчастий. Вот и вымещает на бедных собратях, прижившихся на автостоянке. Гоняет, сам не понимая, зачем. Колотит чем попадя и радостно выкрикивает: «Что, словила, шкура?!».

Собаки шарахались от него, лезли под машины, но автостоянку не покидали. И Грей презирал их за это.

Джеку больше всего запомнилось, как однажды, завидев его возле колонки, охранник выскочил из будки и выстрелил удушливой жидкостью, разъедающей глаза. Вот за это и намеревался покусать охранника.

Ишь, как злобится! Орёт на всю округу.

— Куда смотрите? — кричал охранник и его голос гулко разносился над пустырём. — Не видите лицо кавказской национальности? Бродят тут разные гастарбайтеры! Что, дармоеды, совсем обленились? А ну, ленивые твари! Взять его! Взять, говорю! Давите, давите, паршивые шакалы!

Беспорядочный собачий лай тотчас слился в один рычащий клубок и покатился с жалобным завыванием и скулящими взвизгами.

Не прошло и минуты, как всё оборвалось и смолкло. Даже сам воздух как бы онемел от этого невыносимого молчания.

Джек печально вздохнул и уронил голову на лапы.

Грей с Клуней тоже поняли, что произошло. По их блуждающему взору было видно, как страшно обоим.

В воздухе над ними зазвенел слюдяной шелест стрекоз, гонявшихся за мухами. И весь мир вокруг казался непрочным и хрупким, как тонкое стекло. Шелест стрекозых крыльев лишь усиливал ощущения этой хрупкости.

Откуда берётся зло? Почему бывают плохими люди?..

Думая об этом, Грей вспомнил, как однажды за столом у Цимбала зашёл разговор о природе человеческого зла и насилия. Шиворотов утверждал, что низменные качества человека растут из одного куста. И называется этот куст духовным отупением.

Грей тогда ничего не понял из того объяснения. А теперь догадался, что это за куст...

34

Много ли надо живой душе, пусть даже собачьей? И всего-то сытный кусок, покой да сухое тёплое жилище. Сегодня у них всё это есть. Сегодня выпал удачный день, они сыты, живы, здоровы и полны жизненных сил. Отчего им не быть довольными жизнью и собой?

А время течёт и течёт, как бесконечная речка, непонятно, куда и зачем. Вот уже ночь раскинула свои сумеречные крыла. Но улицы города ещё шумны и полны транспорта. Вдоль тротуаров зажигаются фонари. Один в прогале дерев бледно замелькал, мерцает и дрожит, словно густой яичный желток. Из окон высоких зданий квадратами ровных рядов льётся свет молочным неслышным потоком.

И так хорошо лежать на мягко заснувшей траве, свежей от влаги проступившего росного пота! И звуки сгущающейся ночи: соломенно-сухое пение цикад, сонная возня птиц в густой листве — всё это дорого, понятно и близко! Так близко, что хочется верить в счастливое завтра.

А теперь можно просто лежать, молчаливо смотреть в густеющее ультрамариновое небо и думать, бесконечно думать о чём-то светлом и хорошем.

У Клуни одна дума: о будущих детёнышах. Она почти улыбается своим мечтам, представляя, какие у неё будут славные малыши: слепые и совсем беззащитные. И как горячо и крепко она станет любить их!..

Одно плохо. Тесно будет со щенятами в их убежище. Да и прилично ли держать детей в одном помещении со взрослыми кобелями? Наверное, придётся подыскивать иное укромное место, более удобное для себя и семьи.

Грей лежит и по-хозяйски прикидывает, надолго ли хватит им припрятанных запасов?

Джек глядит на округлую сеть паутины, раскинутую между двух кустов, тяжёлую от матового серебра вечерней влаги, и вздыхает, вспоминая кавказца.

Но и ему хорошо! Только вот долго ли будет длиться их сытый покой на крохотном зелёном пятачке в окружении другого, более великого пустыря, заселённого людьми?..

Луны ещё не видно. Высоко в небе перемигиваются звёзды и, кажется, позванивают тоненько и серебристо. А, может, это не звёзды вовсе, а комар где-то тоненько звенит. Не всё ли равно?..

В полночь Джек вывел их на поляну к заветному столику-бобине. Перед этим они опять ели и снова очень даже аппетитно. Отчего бы не поесть, когда много вкусной еды? Сегодня у них настоящий праздник, пир, какого, может быть, уже никогда не будет.

Небо казалось необыкновенно высоким и чистым. Взошедшая луна была подёрнута призрачным оранжево-рассеянным пухом. Снизу к ней прилипла яркая полоска и висела, как хвост белой овцы.

Город давно спал. Далеко за деревьями журавлиной тенью проступали контуры строительного крана с косо застывшей стрелой. На её конце мигал и переливался крупный светлячок сигнального фонаря.

Дневной чад наконец пал и рассеялся. И луна, прояснившись, очистилась и светила так, что, казалось, её свет пронзает не только каждую травинку и стебелёк, но и что-то ещё, необъятно-великое, похожее на живую душу самой земли.

На прозрачном лунном диске хотя и размытыми, но достаточно узнаваемыми контурами проступила тень сцены убийства Каином своего брата Авеля. Печалью и грустью тревоги веяло от этой чёрной тени, разлившейся по всему подлунному миру.

Провалы окон высотных зданий стали похожи на огромные вытекшие глазницы, затенённые стены лишь усиливали это ощущение. Но с подлунной стороны окна играли тёплыми радужными переливами.

Луна переместилась в самый центр небесного круга и в полную силу осияла землю.

Рядом по-прежнему дремотно турлыкали сверчки по таинственным травяным укрытиям и загадочной ворожкой голосов томили августовскую ночь бесконечной тоской своего краткого земного существования. И сам очистившийся воздух, словно налитый серебром, сеялся прозрачно и незримо. Стало даже слышно, как звёздная тишина течёт и хрустально переливается из космического ковша.

И луна, и голубовато-молочное небо, и пугливая тень застывших деревьев — всё сливалось с волнением их крови, и было понятным и близким так, что невыносимо хотелось выразить это состояние древними звериными звуками.

Вот звезда сорвалась и скатилась, померкнув за пределами вселенского пустыря. И никому не дано было увидеть этого из окон каменных высоток.

Грей поднялся на задние лапы, передними упёрся в стол и стал смотреть на луну, на мириады звёзд, усеявших небо. По обыкновенной привычке к размышлениям, он застыл и задумался. И думал не только о себе, о случайности обжитого ими пустыря, но ещё и о том огромном пространстве, убегающем неизвестно как далеко и заселённом великим множеством живых существ. Он догадывался, что и за пределами их пустыря происходит, должно, то же самое, что и здесь, на их зелёном пятачке. И там, должно быть, есть свои нужды и заботы. Возможно,

там даже больше, чем у них, радостей, терзаний, мук и страха. И там, наверное, кто-то кого-то убивает, мучает, лишает воды и пищи, не даёт спокойной жизни. Кто-то, напротив, веселится, бесчинствует, радуется злу и неправде. И никто не думает о том, что необъятный пустырь самого человека, застроенный городами, израненный рвами и канавами, исхлѣстаный стальными лентами дорог, изувеченный огнём и железом, всего лишь ничтожная точка в бездонных глубинах вот этой небесной необъятности. И не случится ли так, что однажды великий смерч времени, подобно лёгкой песчинке, подхватит всё это и смахнѣт в пустошь межзвѣздной пропасти?

Джек неторопливо пошевелился, глядя на Грея, чавкнул пастью, проглотил слюну, издал первый негромкий звук. Грей очнулся, встал рядом с Клуней и они, запрокинувшись, одновременно подхватили голос вожака. И полилась в небо звериная песня тоски и воли, сначала неуверенная, затем голоса сладились, слились в один протяжный звук, долгий и древний, как сама необъятность, нависшая над ними. Звук, от которого не могло не трепетать ни одно живое сердце.

На балконе Сагаджи возник силуэт женщины в халате и застыл в тени, падающей сверху. Из серой полутьмы проступала лишь часть неподвижной фигуры, бесконечно загадочной и одинокой. И эта фигура внимающей им женщины казалась такой же печальной, как и само звериное пение.

Они пели, не думая, что их ждѣт завтра и каким будет новый день. Зачем думать о том, что неизвестно?

Декабрь 2007–ноябрь 2009 года

Содержание

Были родной околицы. Рассказы

Нюра-дура.....	4
Перелюбские волки.....	16
Шершни.....	30
Как мужик жену потерял	33
Жаворонки	39
Желанница	44
Глашина осень	47
В чужие руки	59
Пустырь. <i>Повесть</i>	61

Литературно-художественное издание

Иван Ефимович Никульшин

НЮРА-ДУРА

Повесть. Рассказы

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Руководитель проекта

Александр Громов

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 11.07.2011. Формат издания 60х90/16.
Объём 15 печ.л. Гарнитура PetersburgС. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии издательства ООО «Книга»
г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 310, телефон (846) 267-36-82